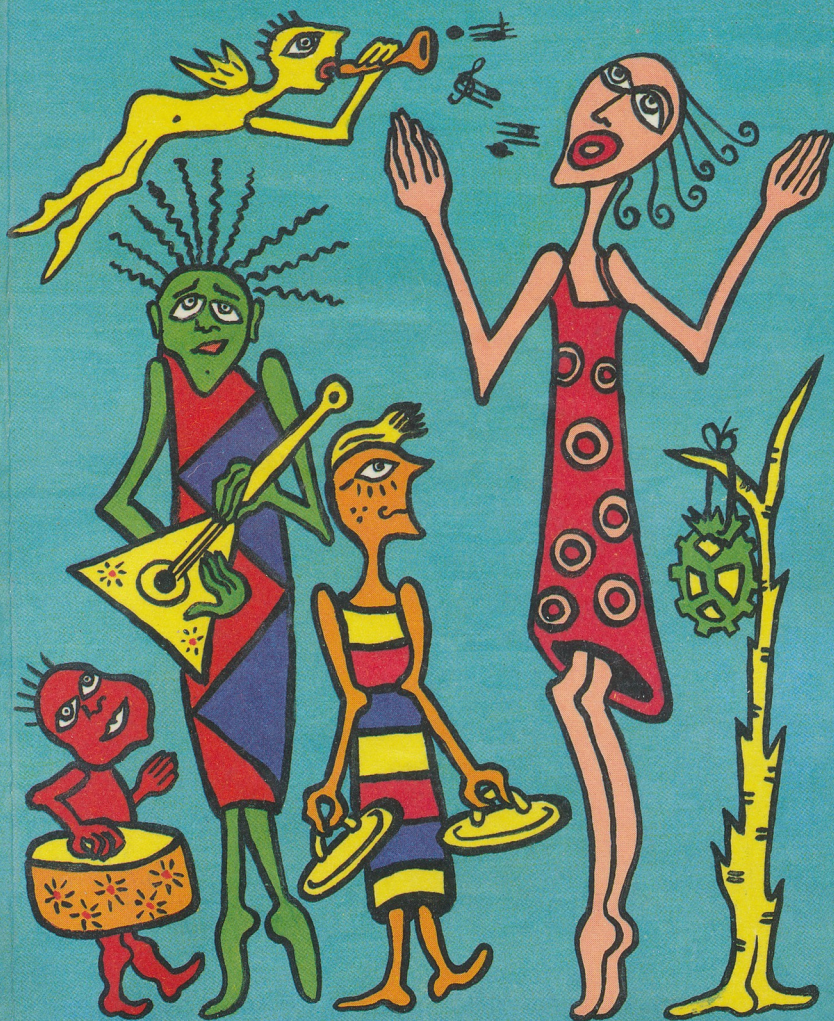


ХОББЛЕ АМАЗОЖК

ХОББЛЕ АМАЗОЖК



1991

НОВЫЕ АМАЗОНКИ

Сборник



• Московский рабочий •

1991

ББК 84Р7
Н72

Составитель
С. В. Василенко

Общественная редколлегия сборника:
*Зоя Богуславская, Лариса Ванеева,
Светлана Василенко, Валерия Нарбикова*

Новые амазонки / Сост. С. В. Василенко. —
Н72 М.: Моск. рабочий, 1991. — 367 с.

Сегодня в советской литературе появилось много ярких имен женщин-писательниц. Издательство «Московский рабочий» в 1990 году выпустило сборник новой женской прозы «Не помнящая зла». Опыт этот оказался настолько удачным, что решено было его продолжить. Продолжением стала книга «Новые амазонки», включающая рассказы, повести, стихи, сказки, пьесы как уже известных, так и совсем юных писательниц.

Н $\frac{4702010206-149}{M172(03)-91}$ 88-91

ББК 84Р7

ISBN 5-239-01383-7

© С. В. Василенко. Составление, 1991

Новая амазонка не воинственна, она хуже того — самодостаточна.

Мужчина, имеющий мужество простить ей этот порок, становится ее мужем. А не имеющий мужества — бывшим мужем. Таким образом, ее семейное положение всегда чревато и непредсказуемо.

Таким образом, новая амазонка — женщина с богатым будущим.

В прошлом у новой амазонки — главным образом схватки. Схватки, схватки, а затем роды. — Отсюда в настоящем у нее — дети.

Дети у амазонок не воинственны, а начиная со второго года жизни самодостаточны. На третьем году они уже нянчат младших братьев, а с пятого — присматривают и за матерью, подкармливая ее сушками и вычитывая рукописи.

Новая амазонка не верит мифам, которые слышит с детских лет, и потому творит новые, что иногда помогает ей вспоминать и хорошо забытые старые (см. «Фиванский цикл» и «Что ты ел, Адам?»). Ее девиз: миру — миф.

Привычка древних прародительниц скакать всегда в авангарде невольно влечет туда же и новую амазонку. Когда она в авангарде — она на коне! (Или «около эколо» него — см.)

Как женщина, амазонка мелочна и придирчива к каждому слову; как мать, она к нему же сострадательна и чутка; как воительница — рубит на полуслове.

Ведя свой род от Гармонии и бога войны Ареса, амазонка генетически предрасположена доискиваться гармонии, что-то круша, а что-то ломая. Эта же отягощенная наследственность обрекает ее ощущать меру и ритм там, где обычное ухо различит одну какофонию и скрежет.

Наивно полагая, что смерть — это та же амазонка на лошади и с косой, новая амазонка относится к ней без всякого пиетета: как рожавшая к нерожавшей. Это обстоятельство расцвечивает ее черный юмор в более радужные тона (см. «Красный парадиз»).

По причинам военно-полевой неналаженной жизни амазонка так и не вышла из гоголевской шинели. Все вот вышли, а она нет. Отсюда ее нечеловеческое SOСтрадание к отдельно взятому человеку в отдельно взятой стране (см. ...да что ни посм!).

Отношение новой амазонки к мировому коммунистическому движению по-прежнему остается загадкой, поскольку единственная монография, написанная на эту тему, до сих пор хранится под грифом «Сов. секретно».

Амазонками не рождаются, однако ими и не становятся. Это нисходит вдруг, это может случиться с каждой, если инь и ян, Анима и Анимус, мужское и женское, будто две неприютные птицы, вдруг забьются в грудную клетку и выведут там свое потомство. Чуть оперившись, оно станет рваться наружу — амазонгами или иными текстами.



Αποκαμπίσις
Πο-αμάζονηκυ

НИНА ГОРЛАНОВА: О себе. Мне 41 год. Филолог. Работала над составлением словаря на кафедре, потом стала писать, ушла в библиотеку вечерней школы. Сейчас не работаю. Замужем, 4 детей. Муж увлечен языками; писатель-фантаст; он русский, наполовину молдаванин. Я тоже русская. В последнее время начали меня издавать (в Перми есть книга, будет три в Москве). Один из рассказов, напечатанных в «Октябре», переведен на языки: английский, немецкий, французский, испанский, польский, чешский. О «Покаянных днях»: кажется, я мало описала покаяний? Не хочу понапрасну обижать, обобщать. Будет ли понятно, почему — «покаянные дни»?

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ: Родилась в городе Касли Челябинской области. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книги «Предлагаемые обстоятельства».

— Оглядываясь сейчас на своих ровесников и друзей и думая об их судьбах, судьбах разных, счастливых и не очень, я понимаю, что никого нельзя сбить с пути, если только он сам этого не захочет. Изначально всякий из нас понимает, «что такое хорошо и что такое плохо», и что главное — это сохранить гортань, а слова уж как-нибудь завяжутся. Главное — писать хорошую прозу. И неважно: укладывается она в традиции русской литературы или нет, несет душе свет или работает на тьму, нравственна или без,— главное, чтоб была *хорошей*, чтоб была — *прозой*. Поэзией, а настоящая проза всегда поэзия, преодолевается проза жизни.

ТАТЬЯНА НАБАТНИКОВА. Родилась в Алтайском крае. Окончила Новосибирский электротехнический институт, потом — Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг «Рассказы», «Домашнее воспитание», «Каждый охотник» и др.

— Интуиция для людей искусства — основной инструмент познания и взаимодействия с миром. Лет до тридцати я добросовестно, как Екклезиаст, занималась в качестве специалиста точными науками. И больше ими не занимаюсь.

Нина Горланова

ПОКАЯННЫЕ ДНИ, ИЛИ В ОЖИДАНИИ КОНЦА СВЕТА

— Мама, ты мне купишь гусенка? — опять умоляет Агния.

Скоро ей исполнится пять, видимо, она намекает на подарок в виде гусенка, но у нас уже есть кошка с четырьмя котятами на данный момент, но у Гумилева Коли вообще были белки, птицы, белые мыши и морские свинки — все сразу, а у моих детей только кошка... Обещаю купить.

— Ура! Значит, я надую гусенка и поплыву, спасусь шестьдесят второго числа, да?

Боги! Речь-то шла о надувном гусенке! В Перми ожидается катаклизм в виде землетрясения и последующего за ним наводнения (прорвет плотину). Паника, видимо, распространилась уже и в младших группах детского сада. Говорят, что в магазинах раскуплены все плавающие средства: надувные круги, матрацы, игрушки.

— Даже среди крыс есть люди, жертвующие собой ради спасения всей популяции, а мы... — Я закурила. (Люда Ч. предлагает вместе с ней послать телеграмму Горбачеву: «Если не закупите одноразовые шприцы, мы вас проклянем». И хотя мы давали уже телеграмму — Сахарову в поддержку, — сейчас я испугалась такой формулировки.)

Два гения (гости), сидя на кухне и распечатывая бутылку водки, бормочут:

— От СПИДа лучше не одноразовый шприц...

— Слушайте, у нас нет бокалов, только стаканы!

— В такую жару — водку, гранеными стаканами?! С удовольствием!

Муж в бешенстве:

— Накурились так, что дым идет из всех отверстий тела.

Жаль, что только среди крыс есть люди, которые жертвуют собой ради спасения всей популяции. Пришла Галя К. и по секрету сказала, что в Пермь завезли мясо из Чернобыля. Радиоактивность жуткая. Но никто из начальства не захотел взять на себя смелость спасти от вымирания популяцию пермяков.

Впрочем, первый секретарь обкома даже семью сюда из Москвы не перевез, он не считает себя пермяком, и бояться ему нечего.

«Из руин» — репортаж специальных корреспондентов.

«С тех пор как содрогнулась земля Армении, заставив

размахом и силой трагедии содрогнуться весь мир, еще не прошел первый шок. Мы побывали в сегодняшнем эпицентре восстановительных работ — Спитак, Лениакан, селение Джаджур... Города раскорчеваны, особенно Спитак, сплошные пустыри, и только заставленные вагончиками ленты мостовых да провалы на месте подвалов показывают, что здесь стояли жилые дома. Большинство развалин уже нет, вывезли, но экскаваторы еще рычат там и тут, рвут железную путаницу арматуры и грузят в самосвалы бетонный прах».

Оказывается, не только среди крыс есть люди... Две девочки семнадцати лет сорвали флаг на здании КГБ. Их арестовали. А что ОНИ думали: что можно изо дня в день печатать правду о пытках в застенках КГБ, а потом ни слова покаяния самих КГБистов. И люди будут терпеть это?! Нет, конечно. Особенно — молодые люди, не испорченные страхом, как мы.

Я предлагаю выйти с плакатами на улицу, но родители девочек не верят в реальность демократии. Они хотят поехать в Москву, там у них влиятельные родственники...

Мой муж говорит:

— Приходишь даже к какой-то элитарности. Оказывается, за годы тоталитаризма нравственное чувство сохранили единицы. Сахаров и т. п. Большинство либо было равнодушно, либо — пыталось, либо — ломалось на допросах, либо доносило.

Два гостя (гении):

— А когда мы вам ранее говорили об этом, вы в штыки нас встречали, мол, нет-нет, народ — хранитель нравственности!..

Неожиданно пришла наш участковый врач:

— Нина Викторовна, я к вам! Надо давление померить, что-то я давно вас не вижу у нас.

Давление у меня, конечно, с моими-то почками... Но я потрясена ее любезностью! Где это видано, чтобы советский врач, загруженный-перегруженный, нашел время навестить без вызова свою больную, пациентку! От потрясения у меня даже давление упало. Воспользуюсь приходом: выпишу рецепт на шприц, а то соседи сломали мой прежний.

— Шприц можно, вы к нам приезжайте на прием, я выпишу... А вот... Что вы, Нина Викторовна, думаете о землетрясении?

Все понятно. Она зашла, чтоб у меня, как умной (по ее мнению) женщины, узнать про катаклизм, ожидаемый в Перми. Кое-как успокаиваю врача, рассказываю: якобы наше водохранилище уже начали спускать, потому что трещина под дамбой уже сильно разошлась...

После суда девочек выпустили, приговорив к штрафу. Оказывается, на суде они сказали, что хотели этот флаг водрузить на вершине горы Ермака, что они — альпинисты и прочее. И им поверили. Или решили сделать вид, что поверили. Родители от удивления такой находчивостью не могут прийти в себя, заболели бессонницей. Видимо, эта молодая популяция пермяков будет погибче нас...

«Штабеля гробов на рисунках детей Спитака. Выставка подготовлена активистами детского фонда им. Ленина Армении».

Знакомые звонят в областную партийную газету: узнать о прогнозах по землетрясению. Им отвечают, что ничего не знают.

Муж говорит, что даже если катаклизм и мы обречены, то все равно все мысли наши в ноосфере написались, отпечатались, а она не умирает, не то что тела.

Решила позвонить Беликову в «Молодую гвардию» — они наверняка лучше информированы.

— Это, Нина, знаешь, кому выгодно — такие слухи? Ворам. Многие же уедут из города на эти дни, вот и будут ограбления...

— Хорошо сегодня поработали, пописали, обогатили ноосферу. — Я решительно ложусь с газетой на диван, чтобы отдохнуть.

— Нина? — пришла соседка-приятельница. — Ты мне поставь пять уколов через час, а?

Она — беременна и уколы — чтобы скинуть.

— Слушай, мне совершенно нельзя ничего безнравственного делать! Я ж себя хорошо знаю. А решать жизнь твоего ребенка — не мое это право.

Соседка смотрит на меня умоляюще, и я прокручиваю в голове: деньги у них непрерывно занимаю — раз, за солью-содой-лекарствами часто забегаю — два, по телефону от них в Москву звоню — три... Беру пилку и подпиливаю ампулу. Раз! Отломила и располосовала себе руку. Кровь хлещет, соседка бледнеет, а я объясняю:

— Мне же ничего этого нельзя, у меня с ноосферой слишком тесные отношения. — Я пальцем показываю наверх.

— Да? Так ты спрости у своей ноосферы: будет землетрясение или нет?

Кооператор Андрей получил зарплату (тысячу рублей) и принес нам в подарок роскошный букет гладиолусов, палку копченой колбасы, два ящика пива, приемник за

сто с лишним рублей и еще шестьдесят рублей так дал. Первая моя мысль при этом: ему-то от хорошей жизни страшнее ждать катаклизма!

Купила книгу Льва Гумилева, и тут Оля Марлина привозит книгу Николая Гумилева. Поставила их рядом. Встретились отец с сыном.

— Теперь понятно, почему чукчи так добры и доверчивы — это старый этнос, — потрясая книгой Льва об этногенезе, говорит муж (он читает ее беспрерывно и уже совершенно огумилел).

Вернулся (деобилизовался) знакомый с китайской границы. Говорит, что студенты каждый день по сто человек переходят границу. Их не останавливают ни с той, ни с другой стороны. Что это значит? Скорее всего то, что есть договоренность с Горбачевым, который распорядился этих китайских студентов переправлять обратно, в автобусе, без шума...

— А Запад верит, что Горбачев — демократ!

— Запад — это чукчи! Старый этнос. Поэтому он доверчив и добр.

— Возможности человека! Да кто их измерил! Вон на пожаре поездов под Уфой — читали? — один солдат выбрасывал в окно детей, спасал. Много спас. А потом и сам выполз, но когда его увидели, никто не мог понять, как он стоял, ведь остались одни обгоревшие кости вместо ног! А он на них еще стоял и детей выбрасывал!

Это пьяные гости восхищаются мужеством и героизмом советского человека. Если будет катаклизм в Перми, опять столько возможностей для геройства!

Вывихнула руку, когда в бешенстве тушила сигарету. И все этот съезд! Сегодня последний день. Сто тридцать делегатов предложили немедленно принять их программу помощи малообеспеченным. Горбачев отвел все это. А Даша в это время ревом просит вишни (увидела у соседки на кухне). Но денег нет. И я тоже чуть не плачу из-за этого подлого съезда, который не помог малообеспеченным. Мне бы вишню демократии.

— Хоть немного! — умоляет Даша (ей 6 лет, она не умеет терпеть).

— И мне хоть немного, — говорю я.

— Я сейчас хочу! — повторяет она.

— И я сейчас хочу! — чуть не плачу я, вполне понимая, почему детей не удовлетворяет «потом».

Муж:

— От твоих криков съезду «Тундра!» ноосфера ведь

не обогащается, она, наоборот, бледнеет, так как тратит силы на поддержание тебя, а ты во время криков подражаешься.

Встретила коллежанку. Разговор, конечно, о катаклизме.

— Я приготовила все золото и ношу с собой: цепочку, серьги, кольца. Если начнется и я спасусь, то всегда есть жадные люди — купят у меня. И я на эти деньги первое время буду жить...

У мужа в магазине директриса сохраняет два тома Брежнева.

— Зачем вам?

— А вдруг снова его будут чтить?

— Не надейтесь! Это был преступник, который сумел ускользнуть от наказания. И все его речи — обращения к таким же преступникам.

Директриса недоверчиво отворачивается. Будет она слушать какого-то грузчика!

Перед тем как сдавать в закуп Вознесенского, я перечла кое-что, Пастернак ему писал: «вековая преемственность счастья, называемая искусством»... Вот потрянет нас, и все — никакой преемственности...

Только из «Советской молодежи» (Латвия) можно узнать все подробности о преобразованиях в Польше и в Венгрии. Наши центральные газеты пишут сквозь зубы что-то невразумительное.

— Буш поверил Ярузельскому, что тот — демократ! Ну и ну!

— Чукчи. Старый этнос, — один ответ у нас.

Все знакомые лечатся по телевизору у экстрасенса Чумака. Многим это помогает. Умереть здоровенькими хотят — никогда эта формулировка не была так верна, как нынче...

В Спитаке среди груд битого камня вся жизнь, похоже, развернулась вокруг нескольких десятков вагончиков, в которых разместились райкомы партии и комсомола, городские организации и учреждения. На одном из вагончиков вывеска: «Кабинет политпросвещения». Многочисленные плакаты призывают не вести беспорядочной половой жизни...

Да, нельзя вести беспорядочную половую жизнь посреди руин после землетрясения! На дворе страны социализма 1989 год. А вот строки из бунинских «Окаянных дней».

«20 апреля (Одесса, 1919)

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? — тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?»

Вся разница в том, что Бунин пишет «совершенно невероятно», а мы уже этого не пишем. Привыкли.

Встречаю приятельницу. Первый ее вопрос: Ты плаваешь хорошо? — Неважно. — А я вообще не умею. Что делать-то?..

Пришел Р. У него умер внук трех дней от роду. В роддоме матери занесли желтуху, при родах ребенку сломали позвоночник. Хватило бы одного чего-нибудь, но у нас ведь любят вредить на все 200 процентов. Р. хотел, чтобы я отвлекла чем-нибудь его сына и невестку, но у всех у них такой вид, что никакой катаклизм не страшен, жить-то не хочется. Как в этом случае развлекать?

Структура повседневности. Иду мимо хозяйственного и вижу: валяется красный флаг. Почему? Потому что я должна написать где-нибудь об этих девочках, сорвавших флаг. Это напоминание — голос свыше меня.

Котенок красивый, как обложка книги «Тысяча и одна ночь». Узор подробный такой на спине, вздрагивающей спине. Кристина спрашивает:

— Теть Нина, куда вы котят от Мирзы деваете? А то мама этого котенка с работы принесла, пожалела, мужики их там в печь бросают (металлурги), а мама пожалела.

Наташа: — Как можно такого красивого в печь!

— А некрасивого можно? — спрашиваю я, любуясь котенком, который спит и вздрагивает — снится ему эта печь?

— Прямо их в печь, — повторяет недоуменно Кристина.

Это наши советские люди.

Р. видит мое подавленное состояние:

— Пойдем к цыганам. Я там одну леплю. Ты посмотришь, как цыганка доверяет земле, когда садится на нее...

— Ты чего — не знаешь, что ли? Погром цыганский был недавно, их побили сильно, разогнали.

— Я слышал, что погром был на рынке, торговцев южных били, но про цыган... нет, не слышал.

Передача по пермскому телевидению о землетрясении и наводнении, то есть опровержение. Очень слащавая, то что называется «Позвольте вам не позволить». Мол, и Ванге — прорицательнице — звонили, она заверила, что ничего такого не прорицала, в общем, только с пришельцами из Кишerti не связались, а так — со всеми. И все говорят: спокойно! Ничего не будет.

После передачи народ еще сильнее запаниковал. У нас так привыкли: власти опровергли, значит, точно будет...

Н. приехала из Ленинграда. Говорит, что там начались массовые выходы из партии.

Даша: — Приснилось, что Маринка, которая внизу живет, стала королевой, позвала нас в сад, а там волшебные яблоки, ветки наклоняются и говорят человеческим голосом: «Залезай!» Там наверху гнездышки, мы в них забрались и ели яблоки — сколько хотели...

В этом сне вся тоска моих детей по фруктам. Конечно, нужно выходить из такой партии, которая даже детям фрукты не может дать. Но Слава мой еще три года назад вышел в знак протеста. Очередь за другими.

Стоим в очереди на отоваривание многодетных. Я ворчу, что гречу опять не выдают. Слава старается отвлечь меня: ну откуда эта греча, ее и не сеют, разве уж в Кремле только делянка есть — для членов Политбюро... Ну, и наша рабская очередь тут же начинает нас осуждать.

— Молодые, сами можете выращивать, — говорит старушка.

— Можем, конечно, только вот не знаем, с чего начать; гречу выращивать, колбасу делать или мыло варить? — отвечаю я.

Старушка невозмутимо рассказывает:

— А что, я варила мыло, не мыло, а подмылье. Собаку дохлую найдешь, кишки сваришь — подмылье. С ним стираешь. Вонь, конечно, но мыла не было тогда...

Всюду в СССР разыгрывается пьеса Петрушевской, одна большая пьеса Люси...

«Ребятам, которые потеряли только мать или только отца или не потеряли родителей — нет путевок ни на какие курорты... А ведь многие из них по 3—4 дня провели под руинами, боролись со смертью».

Это лето после землетрясения. О, Бунин бы, добрая душа, тут столько желчи вылил! А журналист наших дней уже ничему не удивляется...

— Мама, говорят, спичек не будет, я купил сто штук на всякий случай.— Антон кладет на шифоньер грудку коробков.

Пришедшая в гости Т. Т. издевается: да-да спички очень пригодятся во время наводнения: можно плотик сделать или соскоблить селитру и фейерверк — знак подавать спасателям, что мы здесь...

— Ты ничего не запасаеть? Честно?

Т. Т.: — Я как интеллигентный человек не поддаюсь панике, поэтому купила не десять пачек соли, а только две. Хотела три, но не смогла в себе истребить интеллигентность до конца...

До катаклизма — ровно неделя!..

Ночью проснулась от грохота. Началось? Что делать в первую очередь? Вскочила, смотрю: это кошка уронила со шкафа наши сто коробков спичек. Вечно она рыщет по верхам в поисках места, куда нужно перепрыгивать котят, это у нее в генах заложено.

А нам, советским матерям, где спрятать своих детей, чтоб спасти? Закурила на кухне, на всякий случай проверив запас соли.

Анекдот. Приближается новый этап социализма. Этап, стройся! В лингвистическом отношении гениально подмечено единство партийной и гулаговской лексики.

Опять в гостях Т. Т.

— Горжусь, что мне за десять лет работы в вузе прибавили двадцатку, стала получать 185 рублей, а сын говорит: «Мама, ты так много работаешь, а так мало получаешь!» Он вообще все время возмущается: «Проклятый город — некуда пойти! Проклятая страна — нет детских книг в продаже. Мне странно это, мне б хотелось, чтоб он возмущался: нет свободы, а он все из-за потребления (ему, впрочем, десять лет). Но мы сами теперь поняли, что свобода возникает на основе потребления, это все связано, оказывается, а нас учили с детства: не потребляй, главное — духовное...

Сын принес почту, в том числе журнал «Вопросы истории». На его обратной стороне чернеет яркая реклама книги «Великий Октябрь. 70 лет. Научно-технический и социальный прогресс. Цена: 3—90».

Т. Т. чуть не плачет:

— Прогресс... Что и говорить. Студенты так изменились. Нет, я устала, хочу уволиться, я еще Оруэлла читалась, принимаю экзамены, а студенты такие тупые, словно

вышли со страниц романа Оруэлла, мне хотелось повеситься прямо в аудитории — последнего я бы принимала прямо уже стоя на табуретке и намыливая веревку, но вспомнила, что мыла нет...

Она же:

— Когда-то Ася привезла из Польши новость: нет сахара. Я подумала: разве может такое быть? А теперь я думаю: разве бывает, что сахар есть? Что его сколько угодно! Да всегда он был по талонам. «Пусть всегда будут талоны!» Вот как быстро перестроилось наше сознание!

— Перестройка ведь сейчас.

Идем с Дашей в магазин. Вдруг она остановилась перед фонарем:

— Мама, вот такой точно высоты была та яблоня! (Имеется в виду та волшебная яблоня в ее сне — значит, она все время о фруктах думает!)

Встреча с депутатами. Обкомовская дама выступила с обвинением Виниченко (главы «Диалога»). Тотчас народ ее освистал, сгоняя с трибуны. Она вдруг им ответила:

— Вот так же и Сахарова сгоняли с трибуны!

О, Бунин, где ты?

Оказалось, что только один депутат К. вступил в меж-региональную группу. О. и Н. стали тут же звонить в обком и жаловаться на главу «Диалога»: опять-де Виниченко тут с них много требует, а они не хотят быть как все, они хотят оставаться личностями! Это будет почище, чем сравнение обкомовской дамы (самой себя!) с Сахаровым. О, Бу...

Недавно я обнаружила, что это не просто случай — целое явление! Вот осудил Рассадин в «Огоньке» за антисемитизм Ст. Куняева, а тот в ответ взял да и погрозил в «Московском литераторе»: если Рассадин не извинится, то Куняев даст ему... пощечину. Вот как! Все хотят быть как Сахаров. Сахаров дал пощечину своему обидчику, — так тот на всю страну оклеветал жену Андрея Дмитриевича. А Куняев хочет быть как Сахаров, но только даром. Нет, чтоб сначала выступить в одиночку против войны в Афганистане, поехать в ссылку и проч. Чтобы быть «как Сахаров», надо быть Сахаровым!

Пора понять, никакой Бунин на помощь ко мне не придет, надо обходиться своими силами, хотя они и подорваны советской властью. Но ведь власти у Советов не было! Не было. Значит, никаких антисоветчиков быть не может, если и Советов-то у нас не было...

Мила Х. устала от съездовской формулировки «как правило». «Депутаты могут работать в Верховном Совете как правило». На самом деле значит — изредка.

Власть, как правило, Советам!

Такой плакат написала она для этого митинга. Смеялись даже милиционеры. А Мила просто рассуждения из одного сосуда перелила в другой — более просторный...

Приступ за приступом. Почки. И телевизора у нас нет, чтоб у Чумака лечиться, и денег на него нет. Аптеки пустые — ни невирамона, ни нитроколина.

— Толя, я к тебе, что ли, буду ездить лечиться по телевизору?

— У Чумака? Ты думаешь: он лечит? Да он внушает всей стране любовь к Горбачеву, а вы поверили: лечит... Святая простота!

Чем выгодно сдавать в закуп книги, так это тем, что их я перед сдачей перечитываю. Пришел черед и Герцена. Вот князя Долгорукого ссылают из Перми в Верхотурье (за проказы). Он сзывает всех чиновников на прощальный обед, обещая угостить неслыханным пирогом. Чиновники не устояли, приехали, пирог оказался действительно божественным. Когда его съели, князь патетически заявил:

— Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего Гарди для пирога. — И велел тут же принести шкуру Гарди — внутренности были в пермских желудках.

«Полгорода занемогло от ужаса», — пишет Герцен.

Вот вам царские чиновники. Их свергли. И что? В Перми нынче на выборах прокатали первого секретаря обкома, но он не только не занемог от стыда, но еще и выступил по ТВ и сказал: зря вот вы меня не избрали, ибо, будучи в Верховном Совете, я смог бы больше сделать для города, а так — не смогу...

— Она работает зав. отделом в райкоме партии. И вот у нее страхи, что их будут обливать бензином и поджигать, как в Фергане, — так было, именно райкомовских почему-то поджигали...

Я содрогаюсь. Воспитывали народ в нетерпимости к инакомыслящим, теперь, когда терпеть их уже у народа нет сил, опять та же нетерпимость и жажда крови, крови. А к чему это приведет! К замкнутому кругу...

«Окаянные дни» Бунина я очень ценю: правдивая и великая книга. Но сколько личной ненависти! «Революции не делаются в белых перчатках» — что ж удивляться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах».

Но кровавый круг должен же когда-нибудь разомкнуться?

В очереди за курами. Стою второй час. Очередь злее ста Буниных, вместе взятых.

— Дожили, три недели курицу в городе не видели! Ничего нет, двадцать пять граммов колбасы в день по талонам... И в магазинах больше ничего...

До катаклизма осталось трое суток.

Радиостанция «Свобода» передает интервью корреспондента «Вашингтонпост» с Ниной Андреевой. Она сначала говорила о том, какие принципы были у ее поколения и почему с ними не нужно расставаться. Потом говорила, что письмо в «Советскую Россию» она написала сама, правда, под влиянием статей Проханова. Правда, и редакция добавила несколько цитат, но они только прояснили смысл.

Потом Нина Андреева угостила гостя обедом. Как заметил американский журналист: все русские консерваторы, как правило, хорошие кулинары. Судя по бедности ленинградских магазинов, все это было не с прилавков. (Откуда? Мой вопрос: кто кормит Нину Андрееву?)

Потом Нина Андреева и ее муж провожали гостя по улице. Она сказала, что письмо, прежде чем его публиковать, газета дала прочесть не только Егору Лигачеву, но и Михаилу Горбачеву, и он совершенно ничего не имел против.

Мы с сыном чуть не упали, как та старуха у Хармса («Старуха так и повалилась»). Когда-то моя подруга сидела у нас в гостях и ругала Лигачева, противопоставляя ему — Михаила Сергеевича. А муж мой: да что, они ж просто договорились, что Лигачев играет консерватора, а Горбачев — либерала, чтоб будто бы плюрализм.

И тут моя подруга серьезно обиделась за Горбачева. А вот и пожалуйста! Мы-то думали, вылазка против Горбачева — это письмо Нины Андреевой... И не только мы! Рой Медведев на съезде сказал, что всегда без Михаила Сергеевича случаются такие вещи!

Все газеты печатают материалы о пришельцах и летающих тарелках в Пермской области. Под Кунгуром. Там много было лагерей с политзаключенными. Почему именно там?

— Известно ведь, что инопланетяне летают над теми местами, где много нравственно чистых людей.

Кооператор Андрей с очередной зарплаты дарит две десятки: новенькие, как накрахмаленные.

— Наши обесценивающиеся деньги. Все время в банке выдают новые купюры. Станок, видимо, печатает и печатает. Во всем банке нет ни одной старой купюры.

Выбрасывала старые газеты. Вот статья Карякина о том, как били академика Сахарова в КГБ. «Старика били!» — возмущается Карякин. И потом — ни одного ведь письма в «КО»: кто это конкретно бил? Как фамилия? Фамилию бывшего Вавилова мы, видите ли, знаем: это Хват. Даже знаем с заседаний Верховного Совета, что сын Хвата прекрасно пристроен в высшем эшелоне власти. А вот недавно, на нашей памяти, били академика Сахарова, и никто не спрашивает фамилию...

И тут я подумала: а меня соседка по кухне Люба как была! И сковородкой в меня кидала, и кофейником, и просто ногами пинала. Да кто ж из советских людей не бит-то? Где он, такой человек?..

Выбрасываю «Молодую гвардию», там интервью с Куняевым. Местный писатель — Тюленев — съездил и взял интервью. Как же: крайняя необходимость в мудрости Куняева. Мудрость вся в том, что виноваты масоны и евреи. Еще — рок-музыка. Вот он возьмет двух людей, один любит рок, а у другого сердце щемит от песни: «Меж крутых бережков Волга-речка течет». Кому из них он поручил бы: например, очистку великой русской реки Волги? Конечно: тому, у кого сердце щемит.

Я села за машинку и напечатала: «А нет ли статистики, сколько было любителей русской народной песни в Министерстве водного хозяйства, загубившем Волгу? А среди администрации Чернобыльской АЭС? А вот в Гулаге, по слухам, вообще не было ни одного любителя рока, но не спасло нас это...»

Муж ворчит: неужели Залевская напечатает твое письмо, ты же одиозная личность. Тогда я подписываюсь: слесарь Ильичев.

Приходит «Молодая гвардия», и там напечатано мое письмо...

Встречаю своего участкового врача.

— Так вы приезжайте за рецептом, Нина Викторовна!

— Почему приезжать? Вы же — рядом.

— Вы разве не знаете? Нас затопило. В пятницу вечером вскрыли крышу для ремонта, а в субботу дождь, ливень... Весь паркет встал дыбом, обои сползли, аппаратура полетела... Мы сейчас переехали на Юбилейный... ремонт года два продлится.

Никаких масонов нам не надо. Сами себя загубим.

Покупаем Даше форму — в первый класс. Муж ворчит:
— Как подумаю, что Дашу примут в октябрюта, что она должна петь: «Так назвали нас не зря — в честь победы Октября!»

Даша: — Папа, я не буду петь, я буду только рот открывать.

В гостях друг дзен-буддист. Он спокоен. Провал перестройки не должен мешать счастью. Карму-то нужно и можно улучшить. Выбрать объект любви (дети, творчество и так далее). Чем сильнее связи между собой и им, тем...

— Ну вот ты так говоришь, а как же те две тысячи, что взорвались под Уфой? Они ехали мирно в поездах, кого-то любя, улучшая карму. А тут — бах — смерть! Газ взорвался. СССР и карма, знаешь...

— Но конца ведь нет. Их души пойдут по новому кругу, но уже будет учтено, о чем эти люди подумали в последний миг. Все им зачтется.

Поистине, пора переходить в дзен-буддизм.

Муж забрал последние деньги и уехал на похороны отца. Я пыталась купить нитроксолин у спекулянтов, но это не по карману. Лежу, наложив руки на почки, чтобы хоть немного было легче. Приходит подруга. Говорит, что приехали из Финляндии. У них дача в Ветлянах. Они называют: дача в Ветляндии. Значит, продвинулись еще: Финляндией окрестились... Но оказывается, она была в самом деле в Финляндии, по путевке. Там в парламенте приставные места — для гостей. Мы тут кайфуем, что нам по ТВ показывают Верховный Совет, наш парламент, — какова, мол, гласность-то, а! Верх всего! А там можно любому прийти и послушать. Так вот в данный момент на повестке дня два вопроса: как понизить производительность труда и с восемнадцати или с семнадцати лет выплачивать каждому финну прожиточный минимум.

— Меня больше всего возмущает, — восклицает подруга, — почему нас-то не спрашивают, какой мы строй хотим!

— В Польше вот... прокатили коммунистов на выборах. Победила эта... Ссс...

— Что с тобой? Что случилось? Почки? Ты из-за смерти Славиного папы?

Со мной случилась истерика. И не из-за смерти Славиного папы. А из-за смерти иллюзий.

Подруга ушла, пришли другие гости, третьи, истерику не могли остановить. Стало плохо с сердцем, в аптеке не оказалось ничего сердечного. Вызвать «скорую» — нет одноразового шприца, а их шприц рискованно-грязный... К счастью, помогла одна сигарета, которую предложил сосед.

Читаю в «Советской молодежи» про митинг «Памяти» у памятника Свердлову в Москве. Как они надели на него венок из колючей проволоки, обвиняя во всех грехах евреев. Значит, плохи дела, если в ход пустили эту «Память», отвлекать народ от бед, натравливать на инородцев. Известно всем, что правительство материально поддерживает издания «Памяти»: «Наш современник» и «Молодую гвардию».

Иду на почту по Комсомольскому проспекту. Черные облака из труб, слева, за остановкой Чкалова, какой-то очередной пожар, дым, на всех парусах плывут «пожарные». Насколько счастливее нас Бунин! У него всей этой крови, крови, крови и глупости революции противостоит природаматушка: в каждой записи то лазоревое небо, то чистые облака. А у нас полная гармония: и общество прогнило, и природу загубили.

Вот среди привычного потока мыслей, параллельных бунинским «Окаянным дням», вдруг вижу: демонстрация «Памяти» идет к памятнику Свердлову (он у завода Свердлова, за моей спиной). Человек тридцать, все в черном! Среди бела дня, по аллее Комсомольского проспекта! С плакатами все. Впереди кто-то руками размахивает, митингует. И две метлы несут. Видимо, рядом с плакатом: «Выметем евреев из СССР».

Лихорадочно соображаю: засесть в кустах и закидать их грязью (благо ее навалом вокруг) или подбежать и крикнуть что-нибудь им вызывающее, вроде того, что выгоним евреев и совсем Нобелевских премий не будет. Такой генотип, радовались бы, что есть талантливая нация, можно скрещиваться...

А сама между тем бегу навстречу, ну и они тоже не стоят на месте. Вдруг вижу: это домоуправша ведет отряд дворничих куда-то со скребками, что-то срочно очистить нужно, кажется, овощной летний магазин, который за зиму зас...ли. Дворничихи идти не хотят. Домоуправша размахивает руками, убеждает. Все в черных халатах, как водится. Ну и две метлы. Проклятый дым от пожара! А если б я не побежала, а засела в кустах и обстреляла их грязью! Утром областная газета бы сообщила: «Преступность растет. Вчера известная экстремистски настроенная писательница Горланова закидала из кустов грязью группу дворников, мирно идущих по своим очистительным делам».

До катаклизма осталось два дня.

Кур нет. Есть в кулинарии голубцы, но по 40 копеек штука. Для моей семьи это дорого. Но делать нечего, покупаю всем по одному — шесть. Положила в холодильник,

лежу, почки болят. Входит Соня. Говорю: купила голубцы, надо пожарить. Полуфабрикаты...

— Да? А их жарят? А я так съела — очень мяса захотелось.

Пришла Галя К. и сказала, что будет не природный катаклизм, а погром. Еврейский. Ну, уж если был цыганский, был погром южных народов на рынке, то, конечно, следующий — еврейский. Даже если это слух, то какая подлость по отношению к евреям.

— Если начнется заварушка, нужно делать ноги, — говорит мой муж, преподаватель иврита.

Я выронила бутерброд с маслом, конечно, маслом вниз. Муж начинает голосом «Памятника»:

— Закон э-э бутерброда! Евреи его открыли. А что это означает, ээ-э? Что у них-то всегда есть хлеб с маслом, которым они к тому же и бросаются!

Все знакомые разделились на две группы. Одни — нормальные, другие — антисемиты. Бесконечные споры.

— Нина Викторовна, а у Дзержинского все руки в крови! — говорит Оля Г.

— А у Сталина не в крови? А у Берии? Тем не менее они не евреи.

Муж мой бормочет: Дзержинский — тоже не еврей, поляк он, причем дворянин.

Ну вырежете вы всех евреев, потом кого? А вот молдаван! Они одни учатся по облегченной программе — обычная им не по плечу. Мой муж — наполовину молдаванин — считает, что причина этого — кириллица, навязанная молдавскому языку, насильственно введенная... Покончив с молдаванами, за кого приметесь, на ком отыграетесь? На толстых. А дальше? Маленького роста людей? Ну а потом? Потом — через одного...

Так я бормочу, идя по улице в магазин. Видимо, со мной что-то не то, потому что боковым зрением вижу, как на сохе пролетел по небосклону Василий Белов. А ведь был вроде писатель.

— Он и Распутин — оба определенного типа. Писатель-чувствователь, а есть писатель-мыслитель. Маканин, например. Он никогда не станет антисемитом, — говорил как-то муж. — Почему? Потому что ум нужен в один момент... Как в той молитве? «Дай мне, Господи, силы — вытерпеть то, что нельзя изменить, дай мне силы изменить то, что можно изменить, и дай мне ум, чтобы отличить одно от другого».

Ума, чтобы отличить, им не дано? А может, кому-то

выгодно, чтоб народ был отвлечен от основных проблем, чтобы в этой мутной воде половить рыбку...

В магазине все разговоры о погромах. Женщины настроены за.

— А то что, куда ни приди — везде одна нерусь!

— А может, рыжие во всем виноваты, — пытается пошутить один мужик.

Юмора не понимают. Хотя тут же рассказывают анекдот, очень тонко пародирующий стиль отчетов о поездках Горбачева.

Вот он:

— Как живете? — спросил Михаил Сергеевич у рабочих.

— Хорошо! — дружно ответили рабочие.

— Будете жить еще лучше! — пошутил Михаил Сергеевич.

В гостях Оля Мерлина. Рассказывает о знаменитом хирурге (костный онколог). Его сына дразнили жидом в первом классе, и папа хотел пойти побить дразнителя. Но жена умолила не делать этого, она уладила все путем мирных переговоров. Прошло десять лет. На прием к костному онкологу пришел юноша, рука которого торчала за спиной: такого дикого выверта кости даже профессор еще не видел. И он начинает лечить юношу, носит ему из дома фрукты, обработанные его другом-психотерапевтом. Без конца говорит о мучениях этого несчастного у себя дома, и жена наконец не выдерживает: чего он носится с этим подонком, который в свое время обзывал их сына жидом и только за десять рублей, врученных его родителям, перестал... профессор слушает, кивает, а потом отвечает: да-да, что-то вспоминается, но ведь теперь это самый тяжелый больной в его отделении, нужно вылечить.

— И таких людей мы будем называть врагами, — начинаю я бегать по комнате — завелась.

— Это что, — говорит Оля. — Недавно жена уговорила пойти хирурга в хозяйственный магазин, что-то для кухни купить. И там он увидел позолоченные ложечки. Надо, говорит, купить его пациентам-детям, они так долго лежат в отделении, надо их чем-то порадовать. Купили двадцать ложечек. По четырнадцать рублей каждая. Через три дня жена по каким-то делам зашла к мужу на работу, ложечек не было. А где они? Ну, пожал плечами профессор, наверное, на кухне моются... В то время как их давно растащил персонал. Больные-то, лежащие, не могут ничего поделать...

Друзья мужа — евреи — звонили в МВД Перми, спрашивали, готовы ли те спасти от погромов жителей города.

— К нам не поступало никаких сигналов! — был ответ.

— А если уехать на дачу! — спрашивает Люся Г., жена еврея. — Может, там отсидимся?

— Это еще хуже, там ни телефона, ни больницы... — говорю я. — Я собираюсь позвонить друзьям-евреям и пригласить их ночевать эту роковую ночь у нас. Может, вместе-то отобьемся.

— Что меня в евреях раздражает, так это их умение использовать любой малюсенький талант на полную катушку, — говорит мой приятель-журналист. — Русскому человеку в голову не пришло бы это реализовать.

Муж мой морщится:

— Ты Льва Гумилева-то читал? Это пассионарный этнос, вот и все.

— Чем какие-нибудь монголы хуже их? — не сдается приятель.

— Не хуже, но у них уже позади пассионарная стадия, когда они шли на нас полчищами, они были пассионарии, а сейчас этот перегрев позади. Евреи же экономно тратят запас энергии, долго будут активными.

Я просто не могу вынести таких сугубо теоретических доводов, когда есть такие жизненные. Вот наш союз писателей взять. Пермский. У всех таланта чуть-чуть, почти и незаметно. Исключения? — одно-два. Ну, какой талант у Т.? Да 0,0001 процента. Но они все русские. И все используют эти 0,0001 процента так, как если б было сто процентов! Все стали членами союза, живут на гонорары и прочее. А все русские! Как это объяснит Вася?

Вася молчит. Нечего сказать. Действительно, говорит он, у некоторых нет даже и этих долей процента таланта, совсем ничего нет, а они жизнь из этого сделали.

— Это даже какие-то сверхевреи, — кричу я, заведясь и размахивая руками и роняя вазу с цветами...

Т. подал заявление в партию.

В «союзе» он повесил огромный рекламный плакат о «Товариществе русских художников». Под сенью МВД они собираются. Так и написано. Тут люди борются против существования министерства культуры, против союза писателей с его казарменными порядками. А другие в это время ищут себе казарму в начальники! МВД в качестве Музы! Это могло прийти в голову только «поминкам» (так у нас сейчас зовут членов «Памяти»). Такое гнусное поле исходит от всей этой смеси МВД, «Памяти» и чисто русской души.

— Почему вы вступаете в партию, когда все бегут из нее, как крысы с корабля? — спросили Т. в горькоме.

— Потому что Распутин в нее вступил.

Читаю младшим вслух про Ростроповича. Воспоминания Вишневской. Соня пришла, включила утюг, гладит и тоже слушает. В том месте, где Вишневская прощается со сценой Большого театра, мы все зарыдали. Агния от перевозбуждения даже заснула, а Даша все гонит меня: «Читай дальше, читай!» Прочли. Спрашиваю: что больше всего запомнилось! Даша говорит: как она со сценой просталась. И тут Агния проснулась, собралась гулять — уже дерутся из-за плащика!

— Даша, вот Ростропович дачу Солженицыну отдал, ничего не пожалел, их за это и с родины выгнали, а ты плащик родной сестре жалеешь!

Вы думаете: это подействовало на мою шестилетнюю дочь! Ничуть. На ее лице появилось выражение примерно следующего содержания: одно дело Солженицын, он почти бог, для такого не жалко дачи и даже родины, а для Агнии — мой плащик, почему я должна жертвовать?!

— Зря, значит, я все это читала вам. Больше не буду читать.

Это ее серьезно проняло. Отдала плащик Агнии.

Как стать антисемитом. Рассказ-алгоритм. Пройти мимо «Мест нет», «Пива нет», «Мыла нет», «Песка нет», «Тетрадей нет». Войти в свою квартиру и обнаружить, что воды тоже нет. Забыв закрыть кран в ванной, выйти в булочную и обнаружить, что хлеба в ней уже нет, пойти в другую, в третью, вернуться и понять, что вода есть. И есть уже счет от затопленных соседей снизу. А фамилия у них еврейская. У адвоката фамилия русская, но морда — точно еврейская. У второго адвоката и фамилия русская, и морда русская, но «р» еврейское...

Кто виноват во всем?

1. Дьявол.
2. Империализм.
3. Инопланетяне.
4. Евреи.
5. Экстрасенсы.
6. Мафия.
7. Бюрократы.
8. Неформалы.
9. Кооперативы.
10. Гласность.
11. Исторические корни.

В гостях Виталий К. Гений есть гений. Он рассказывает, что подошел к Т. и сказал: если только подтвердится, что тот имеет отношение к слухам о погромах, К. возьмет у деда двухстволку и лично разmozжит череп антисемита. Хотя бы так сказать, и то нужна смелость. И вдруг

спохватываюсь: круг мести покатится, и ничего хорошего из этого тоже не выйдет...

В гостях два гения-алкоголика. Они принесли водку. Изумляются, что мы чем-то озабочены, когда есть семья-взаимопонимание (их давно бросили жены).

— Ну о чем вы говорите — такая жара, — смущенно бормочет мой муж.

— Мы все в поту, — не менее смущенно говорю я, чтобы хоть что-нибудь сказать, подавая гостям стаканы.

— Теплая водка, стаканами, в жару! С удовольствием. Потные женщины, в жару, летом, — с удовольствием!

— Почка моя беспрерывно болит, — перевожу я разговор.

— А это уж, матушка, сама виновата. У нравственных людей ничего не болит. Где-то проштрафилась перед... (жест вверх).

Все совпало: призыв государства (толитарного) к покаянию (тоталитарному) и презрение двух друзей-философов. Начинается трехчасовой период покаяния. Безостановочно:

— Соня, возьми картошку в том ящике, который я украл с молокозавода, — говорит мой муж.

— Я масло облепиховое так и не достала, медицинское, — рассказываю я.

Письмо о масле опубликовала «Советская молодежь». Женщина два года лежит в параличе и криком кричит от боли, когда ее переворачивают. Пролежни. А масла нет. И я решила: надо достать. С этим письмом отправила Антона в наш административный отдел аптеки. Нет, не дают. На следующий день послала посылочку с пропоциумом. Приложила книжку (красивое издание «Манон Леско», мало ли, кто-то ухаживает за женщиной, возьмет себе в компенсацию...)

На следующий день пошла в горздрав. К заведующему. Это мужчина с широкоэкранный, хорошо насиженной задницей. Понимаю: к такому можно и не обращаться: бесполезно? Но там — женщина кричит от боли. И я обращаюсь: по милосердию, вот заметка, надо помочь.

— Да мы сами обращаемся в аптекоуправление!

— Но мы с вами не парализованы! Кроме того, я такой человек; что это масло все равно достану! Придется ли для этого мне поднять всех журналистов города, выступить ли на клубе «Диалог», устроить ли демонстрацию, но масло эта женщина получит!

— Идите к С. в аптекоуправление...

— А может быть, вы ей сначала позвоните? Одно дело, я приду, другое дело...

- Я вам сказал, что сам туда звоню, вот сегодня звонил...
- Ну позвоните еще.
- У меня нет права.
- Что за фашистская страна,— говорю я в сердцах и иду к С.

Ее нет, а почка у меня болит, ждать не могу. Поэтому все рассказываю ее секретарю, снова громко про демонстрацию, которую я устрою, но... В общем, оставляю газету, беру телефон С. и начинаю бегать звонить через каждые полчаса (из дому). Секретарша отвечает, что С. у начальника. Мне уже ясно, что она скрывается от меня, но на другой день я иду к Н. и снова звоню от нее. Нет С. Вот так. А прежде чем оставить вырезку от газеты, я спросила секретаршу: «Ваша С. как — слово «милосердие» слыхала хотя бы?» — Да, она у нас ничего.

Вот точное слово. Она — ничего.

Заняла у Люды Ч. десятку на подписку «Молодой гвардии». К нашей местной молодежной газете дают приложение из двухтомника Пикуля. Пикуль-то мне на дух не нужен, но его можно поменять на фантастику. Валюта для дураков. Иду на почту, сидят частники и продают... облепиховое масло. Но как узнать: не подделка ли? Продавец — старик лет семидесяти пяти. Прикидываю: прошел коллективизацию, репрессии (не прошел, так пережил), войну, снова репрессии. Какая может быть совесть у такого человека! Ведь все уперлось в совесть рядового советского человека. Советский человек, слышишь меня? Нет ответа.

Купила маленький пузырек за шесть рублей, приложила прелестно изданный томик Лермонтова и послала. А разве это помощь? Надо было все-таки дать взятку старшей сестре любой больницы и купить медицинское масло! Каюсь, не смогла занять денег. И сейчас их негде взять. Но срочно хотя бы послать посылку с другими нужными дефицитами: бросаю в посылочный ящик импортный стиральный порошок, индийское мыло, зубную пасту, сахар, все, что есть дома. Но на душе не становится легче.

Бунин возмущенно пишет в «Окаянных днях» о молодом писателе Катаеве: тот за тысячу рублей готов убить человека, потому что хочет быть хорошо одетым, носить шляпу.

А сейчас во главе «Памяти» все писатели, поэты да критики. И они не за тысячу рублей, а совершенно бесплатно готовы убить всех евреев в нашей стране. Вот что значит 70 лет советской власти. Какой «прогресс»!

И все это члены компартии, а те, что не члены, срочно вступают в нее, как Т.

На заводе им. Великой Октябрьской революции висит плакат: «Перестройка — продолжение дел Октября!» Нашли что написать. Толя К.: «Хоть бы переназвали как-нибудь, плюрабль, что ли...» Для основной массы мыслящего народа перестройка — продолжение дел Февраля, а уж никак не Октября...

Покаяние продолжается. Пришла вечером машинистка и говорит:

— Знаете, Нина Викторовна, ведь мой муж ездил в Грузию восьмого апреля, он же перешел в спецназ. А наши пермские главные вояки что заявили на всю область: никого из области не было послано!

Ну, что врал и врут, никого не удивишь этим. А вот что я должна ответить машинистке. Она совестью мучается, ее муж, еще не совсем дерьмо, преддерьмо? Я не нахожусь, что сказать. Если про преддерьмо, чтоб ушел из спецназа, а вдруг машинистка взбрыкнет и потребует пятьдесят рублей, что я ей должна?

Она уходит, а я начинаю мучиться: из-за пятидесяти рублей струсила сказать, что думаю. Но если нет у меня денег?..

Бездна покаяния... Нет ей конца...

Самое неожиданное покаяние! Пришел Н. Н. Как будто между прочим кладет на стол мне бумажку: — Может, вам в творчестве пригодится. Это черновик... мой...

Разворачиваю и глазам не верю. Донос на нашего общего знакомого. За антисоветские разговоры. В КГБ. От июня 1984 года. Стиль-то каков: «И тут он с пафосом, достойным радиокomentarиев зарубежных клеветников, начал говорить о том, как нарушаются права советского человека. А ведь сам недавно получил квартиру, женился, казалось бы, жить да жить...»

Чтобы написать про «пафос зарубежных клеветников», надо самому хоть раз их услышать! Проговорился... Ну и ну! Как прикажете реагировать?

— Ты беловик-то послал?

— Нет.

Но я в этом как раз не уверена. Спрашиваю:

— Почему? Почему не послал-то?

— Да как-то... Почему-то несовместимо это с моим образом жизни.

Таня К.:

— Наконец-то я купила 25-й том Достоевского, где он против евреев! Ты знаешь, евреи ведь и скупают его и сжигают.

— Из чего ты это заключила?

— Так его невозможно достать!

— Много чего невозможно у нас достать! Тем более и остальные тома Достоевского мне никогда не попадались в продаже.

— Но я тебе скажу: остальные тома все-таки иногда бывают, а 25-й — почти никогда.

— Так, может, ярые антисемиты типа тебя себе его оставляют, не сдают в закуп.

Муж бормочет: зачем это слово «антисемит», нужно прямо: расист.

А Достоевский просто путал евреев с буржуазией. Мол, всегда найдется еврей, который споит русского человека, так это просто означает, что у буржуа часто помощниками были евреи. Кроме того, после концлагерей фашистских уже и Достоевский бы не стал таких опасных тем касаться, он-то не знал, каков итог всего антисемитизма. Но сам-то он стоит за ассимиляцию, смешение евреев с другими народами (браки). Он не за погромы, как вы... расисты советские.

До катаклизма остался один день. А ночь? Ночью начнется?

Нурия, маленькая девочка, дочь моей знакомой:

— Теть Нина, а в городе образовали общество, которое ловит евреев (так и говорит: ловит).

Ш.: — Все-таки эта нация считает себя слишком умной, поэтому они стремятся к мировому господству.

— У меня столько друзей евреев, что-то никто из них не стремится.

— Ну, они маскируются.

Сильно, видно, очень замаскировались. Моя подруга, еврейка, умница из умниц, не защитилась к 45 годам, ее просили сделать Сомса («Сага о Форсайтах») негодяем, она недостаточно, мол, его, проклятого капиталиста, обличила. Но она не стала поступаться убеждениями. Теперь работает на полставки, за что ее третирует заведующая, на что моя подруга не умеет хамски возразить, как та хамски ругается. Но, оказывается, это все маскировка, подруга моя просто сильно замаскировалась таким образом, а на деле она уже близка к мировому господству!..

И Сталин, и Мао, и Наполеон, и так далее... Сколько было любителей мирового господства, начиная с татаро-монголов. И все — не евреи.

Наташа с утра принесла воду, «освященную» Чумаком. И мне сразу же стало помогать. Через час ни одна почка не болела! Еще страшнее умирать.

Вторым пришел Андрей. Рассказывает: мать его выписали из психушки. Она встречает на улице коллежанку, та трещит без умолку:

— Вот мы над вами смеялись, а теперь таких, как вы, показывают по телевизору, каждый день, людей экстрасенсы лечат... Не можете ли вы проконсультировать больного ребеночка?..

Мама Андрея:

— Вы ведь не только смеялись надо мной, вы меня в психушку определили. И теперь я не могу никого проконсультировать! Меня от этого вылечили.

Следующие гости: два гения с лосьоном. Пьют на кухне. Почему-то разговор о КВН.

— Хуже всех, конечно, институт международных отношений. Лучше всех — харьковчане...

— Неужели МГИМО всех хуже?

— Ну, отдаленно на людей они похожи, но на нормальных харьковчан не тянут. Там ведь все учатся дети номенклатуры, а кого может произвести номенклатура — даже нормальных детей не могут произвести.

— А вот эти дети спасутся во всех катаклизмах.

— Если ВЦ им позволит.

Какое ВЦ? Ах, внеземная цивилизация! Ну вот, верили в бога, в коммунизм, теперь в буйстве увлечения инопланетянами мы опять весь мир обгоним.

Дочери пришли из садика.

— Мама! Мама! Ты читала в газете, что в пионерлагере были инопланетяне? И воспитатели их видели!

Оказывается, уже неделю, как в Пермской области тут и там видят инопланетян. Я пошла к соседу за газетами и прочла массу интересного. Один ребенок бросил в пришельца камнем, в ответ тот погрозил («прицелился») чем-то похожим на расческу. Ребенок испытал страх, побежал прочь, а трава под его ногами в это время горела огнем...

Вот это самое страшное.

Почему?

Потому что в Древнем Риме перед гражданской войной (сторонников и противников Цезаря) тоже тысячи людей видели разгуливающих по городу мертвецов.

Муж объясняет:

— Когда существует социальное напряжение, любое

природное явление может стать спусковым крючком. Какая-то природная аномалика есть в Пермской области сейчас, это точно, она и послужит спусковым крючком.

— Милый, значит, пионервожатые и дети не видели инопланетян? А кого они видели?

— Они видели то, что хотели увидеть. Или, по Фрейду, то, чего боятся...

Полночь. Мужа нет дома. Он уехал к Бруштейнам обсуждать, как заниматься самообороной. На лестнице шаги, много мужских ног. Бегом обратно от нашей площадки. Почему бегом? Потому что бомбу подложили и спешат убежать, чтоб не подорваться. Значит, началось. Я — дрожа — выхожу в коридор, включаю свет всюду (на кухне тоже зачем-то) и протягиваю руку к замку. Страшно. Но я должна быстрее открыть, схватить бомбу и скинуть на головы тем, кто сейчас будет выбегать из подъезда, тем, кто ее подложил. Выскакиваю на площадку — ничего нет. Поднимаюсь на чердак — лужа мочи. Ага, это всего лишь анонимные алкоголики заходили по своим интимным делам... А я-то... Тут и муж вернулся. Рассказываю. Он мрачнее тучи:

— И все же лучше погибнуть от погрома один раз, чем много раз мысленно. Ложись спать.

Сон. Будто бы мы уже переехали в квартиру Соколовских, нам обещанную. Там из коридора есть дверь в кабинет, ее мы закрыли стеллажами с книгами, словно нет тут дверей. И там спрятали всех своих друзей-евреев и моих детей. Входят из «Памяти» (все мои знакомые) и мимо двери-стеллажа, но тут вдруг оттуда смех моей Агнии... Проснулась.

Поплакала в туалете, чтоб никого не разбудить. Покурила и снова легла. Утром увела младших в сад и встала в очередь в «Сельхозпродуктах» — за помидорами. Вдруг страшный грохот. Вилы грохота проткнули мне уши. Но сильнее того — крик женщин, стоящих в очереди. Как страшно все закричали.

Оказалось, пьяные грузчики просто уронили ящик с банками тушеного кролика (стеклянные). А мы-то... Но ведь сегодня то самое, «шестьдесят второе число»!

Обе посылки из Фрунзе вернулись с пометкой: «Адресат умерла». Поздно...

За весь день ничего более не случилось. Прошло какое-то время. Я успокоилась, хотя и не очень: в газетах каждый день сообщения то о взрыве атомной подлодки, то поезд с хим. веществами загорелся, то... Да и этих... инопланетян видят все чаще и чаще, целая экспедиция в Пермс-

кой области работала, входила с ними якобы в контакт. Об этом пишет... «Советская молодежь»! А где еще пермякам узнать свои новости? Конечно, в латвийской прессе!

И вот 18 августа открываю «Комсомолку».

«Одним недобрим апрельским утром жители Прикамья проснулись от неясного, грозного гула... Разразилось шестибалльное землетрясение. Очередной природный катаклизм был бы обречен затеряться в длинном ряду преследующих нас стихийных бедствий, если б не одно обстоятельство. Именно в районе землетрясения в 100 км друг от друга возводятся две АЭС...»

Неужели не все позади?

ЧИСТАЯ ЗОНА

Не успела нянечка в приемном покое унести на плечиках куда-то в глубь коридора мою одежду, как со мной произошла странная метаморфоза, возможная только во сне, когда одна реальность легко переливается в другую и между ними не возникает никакого зазора: я впервые за долгие годы почувствовала свободу и безопасность, смиренное торжество над жизнью, оставшейся поджидать меня у входа в больничное здание. И я пошла за другой нянечкой, не оглядываясь, сложив с себя наконец все обязательства и ответственность, сосредоточившись на себе, на своем существе, свободном, как во времена младенчества, понимая, что тут никто не достанет меня, что я надежно ограждена своею болезнью и что я оказалась как бы на горной вершине, на которую наложено табу. Давно пора было уйти сюда, ибо на так называемой воле тяжесть все накапливалась и накапливалась, и некуда было ее спихнуть, понедельник застревал в пятницу, октябрь в сентябре, ни одно дело не удавалось довести до конца, и все мое существование прочно оплела растущая, как снежный ком, неправда, в которой невозможно было отдать себе отчет, когда человек, чтобы выжить, подделывается под одного, другого, третьего, под всю систему существующих отношений, теснящих его существо, и мается бесплодным желанием куда-нибудь нырнуть, свернуть, нащупать боковое ответвление жизни, чтобы, метнувшись туда, пропустить мимо себя толпу других бегунов на длинную дистанцию, а самому пойти совсем в другую сторону, в неизвестном направлении, в полном одиночестве, неприкосновенной независимости, на одном лишь обеспечении личного времени, собственной судьбы, не слыша больше ни топота ног, ни ликующих криков победы, ни зубовного скрежета раздоров и ненависти.

Действительно, что делать, когда ложь разлита в воздухе и не знаешь, где кончается общественная и начинается собственная, которая, впрочем, и не ложь даже, выраженная напрямую такими-то и такими-то словами — слова только огибают основную мысль, чтобы она могла существовать, невинно внедряясь в сознание собеседника, пусть самого случайного, ибо и от него, случайного, существует

томительная зависимость. Только в детстве всякое чувство окроплено искренностью, этой росой жизни, но чем дальше живешь, тем властнее вбирает в себя хитрый вымысел, лукавая игра, в которой страшно сделать неверный ход, поскольку кто-нибудь этим да воспользуется. Искренностью искрят одни лишь истерики, но и те точно знают, на ком можно сорваться, на ком — нет, так вот со мною — можно, для удобства врага я поджигаю хвост и мечусь в поисках своей кое-как сляпанной раковины, которая от легкого дуновения вражды может все равно рассыпаться песком. И вот я нырнула в свою болезнь, которая чем не раковина — она даст возможность окрепнуть и собраться с душевными силами.

Усталость и страх измучили меня. С одной стороны, это страх постоянного ожидания, что меня вот-вот разоблачат, выведут на чистую воду, догадаются, что я все время боюсь кому-то наступить на ногу, толкнуть локтем, с другой стороны, страшно, что меня толкнут, мне отдавят ногу, и я все это проглочу, как, впрочем, глотаю каждую минуточку своего существования, будь то поход к сапожнику или простой разговор с соседкой по квартире. Накануне мы столкнулись с ней в коридоре. Все-таки столкнулись. Она точно выслеживает меня. У нее развито чутье на слабейшего, перед которым можно поиграть своими мускулами. Уж я ли не делаю все, чтобы миновать встречи с нею, ощущая, как Акакий Акакиевич, заблаговременно чувство надлежащей робости, я ли не прислушиваюсь, прежде чем нырнуть в коридор к кухне или ванной, я ли не делаю занятый вид и не мычу, зажав рот рукою, изображая зубную боль. Но она — она безбоязненно разрывает завесу моей мнимой боли и впивается в меня, как клещ, заставляя топтаться на месте в тоске, развивая передо мной свиток своих жалоб на жизнь. Увы, она видит пустое место в моем лице и тут же с животной яростью начинает откладывать в него свои змеиные яйца, а я потом, вырвавшись от нее, воюю со всеми своими задавленными, змеящимися в сердце чувствами. Из ее комнаты доносятся бодрые звуки радио. И я выскальзываю, приняв меры предосторожности, в коридор, и снова она вырастает передо мною, как колдунья в дурацкой сказке: выросла и впилась в меня всеми своими присосками, холодно поблескивая очками. Оказывается, и причина у нее серьезная для исповеди: горе, сын женится.

— Взял не из нашего — вы меня понимаете? — круга; там — нищета, теснота, безотцовщина, где он ее только выискал, но твердит — женюсь. Что делать, я согласилась, пусть немного подженится, если мальчику надо. С природой не поспоришь. Во всем надо искать свои плюсы: всё не по шлюхам трепаться будет, а эта девица хотя бы имеет пропуску, так что здесь сюрпризов ждать не приходится.

Ну потрачу на них тыщу — все лучше, чем он будет с проститутками.

Так говорила она мне, сверкая стеклами очков, погружая меня по горло в мое же помойное ведро, которое тяжелою руку, и чтобы освободиться от этого чувства, надо было немедленно надеть ей ведро на голову. Но я стояла по стойке «смирно» и слушала завывание заносающей меня вьюги, скорбя в душе, пугаясь гладкого, серьезного, плоского лица, до тех пор, пока она величественно меня не отпустила, и я с полным ведром в руке метнулась в свою нору. А ведь я от этой женщины ни в чем не зависела: ее сыну со мной не надо, не она моя начальница на работе и прочее значительное лицо, но укоренившийся во мне страх не спрашивает, страх, как цвет глаз, от него так просто не избавишься.

В палате как по заказу оказалась свободной кровать у окна: поздоровавшись с соседками, я уложила вещи в тумбочку, потом подошла к окну и обратилась лицом к природе, состоящей из соснового леса, подернутого пеленой снега вдали, и группы темных, высоких елей.

Когда-то в этом городе жили мои родители. Собственно, города тогда еще не было, был поселок, куда отца, полуживого, привезли на санях; чуть позже ему разрешили выписать к себе маму, с которой они не виделись почти семь лет. Как они здесь жили, не знаю, знаю только, что отец, дорвавшись до своей любимой работы, ожил, ушел в нее с головой, закрывшись ото всего другого, что в молодости составляло его жизнь, и в непрерывных трудах провел многие годы, а когда очнулся от работы, получив передышку в виде тяжелой болезни, то увидел, что жена его состарилась, а дети выросли.

Моя сестра оказалась в этом городе случайно, по распределению — она и уложила меня в больницу, где работала сама.

За спиной прятался тихий разговор тихих, как и я свернувших свое существование, женщин. Когда я обернулась, перед моей кроватью стоял врач, как посланец снегов, из них и явившийся, он задал мне несколько вопросов, на которые я ответила с радостным чувством человека, наконец-то говорящего правду.

— Вот тут болит, — утвердительно сказал он, — не бойтесь, я держу...

Я не боялась, я рада была отдать в его руки давно надоевший груз. С первого взгляда мне стало ясно, что врач мой, Алексей Алексеевич, человек совсем другой породы, чем я. Глаза его смотрели спокойно и ясно, молодое его лицо казалось одновременно доброжелательным и безучастным, видимо, он умел держать дистанцию в отличие от меня. Только на больничной территории мы с ним могли существ-

вовать не суетно и на равных, так как собирались делать одно общее важное дело, на свободе я бы обходила его стороной, инстинктивно опасаясь уверенных в себе, доброжелательных людей.

— Но что ж, в понедельник прооперируем, — легко сказал он и, накрыв меня до подбородка одеялом, ушел.

— О, вам будут делать операцию, — почтительно проговорила одна из женщин, и тут я поняла, что здорово могу проехаться на этой своей будущей операции. Она дает мне право рассеянно смотреть в окно, не участвуя в общих разговорах, читать себе книгу, и при этом никто не упрекнет меня, что я дикарка и ставлю себя выше других.

И я радушно распаковала в палате гостинцы, которые дала мне с собой сестра, это была моя плата за счастливую возможность одиночества. Мол, я всей душой и своими пирогами с вами, но мысли моей да будет позволено блуждать в сосредоточенности и покое.

Одну женщину звали Галя, другую Мария. Мария с недоумением держала в руках книгу, которую я с любовью выбрала для себя. А я уже извинялась за эту незнакомую ей книгу, объясняя ее наличие в своей сумке крайней спешкой, в которой проходили сборы в больницу, а я уже печалилась, ибо и сейчас, даже сейчас не оправдала открывшихся мне возможностей поступать так, как хочется, и читать то, что хочется.

На другой день мы уже подружились и многое узнали друг о друге. Мария оказалась веселая, разбитная, но с мечтой в душе, как героини наших многочисленных кинолент, которые тоже были разведены, имели случайные связи, пока не набредали на настоящего человека, в конце концов не замедлившего явиться. Мария говорила, что такой финал — большая неправда. У нее в конторе все веселые, все добрые, все незамужние или замужние как-то странно, и все ищут счастья — а в ответ лишь частые гудки. Маша так и изобразила: «Алë-ë?» — А из трубки доносится «ту-ту-ту»...

Галя сказала, что у нее было как в кино. Она совсем недавно вышла замуж за человека, с которым много лет трудилась в одном коллективе. Бывшая жена Петровича, Галиного мужа, тоже трудилась в этом же коллективе, и ее не любили за въедливость и ретивое отношение к работе, но тем не менее, когда Петрович развелся и тут же женился на Гале, все вдруг приняли сторону его бывшей жены и создали для Гали и Петровича невыносимые условия, после чего оба уволились и устроились на работу в разные места. И все, что Галя ни говорила, она начинала с праздничных слов, к которым ее губы никак не могли привыкнуть: «мой муж Петрович» или «лично мой Петрович», и основная информативная нагрузка ложилась именно на

них, а не на последующее сообщение. Галя чувствовала себя как новоиспеченная герцогиня и не могла нарадоваться своему титулу замужней женщины. «Мой муж» с утра до вечера жужжало в палате, «мой муж» впивалось в незамужнее Машино ухо, и Маша, которая могла похвастаться всего-навсего «одним человеком», исправно навещавшим ее в больнице, делала вежливое лицо и подмигивала мне. Узнав, что я тоже замужем, Галя всем сердцем переметнулась от Маши ко мне, как к человеку, с которым можно говорить на равных, обсуждая семейные проблемы. В любой ерунде она искала повод произнести заветные слова — пел ли Серов свою Мадонну — оказывалось, что муж Петрович этого певца уважает, давали ли на обед гречиху — выяснилось, что ее Петровича хлебом не корми, дай только гречневую кашу, заросло ли стекло морозными линиями — надо продышать глазок, а то не увидим, как идет по тропинке Петрович. Пел Серов, пел Алибек Днишев, пела Ротару, и мне хотелось вытащить из радиотрещотки все ее внутренности, намотать на поганый веник как паутину все эти невозможные, скребущие слух песнопения, которые благовейно слушали мои соседи, и разом вытряхнуть их в форточку. И где, скажите, скрываются изобретатели этих песен, где берут, из какой действительности черпают все эти завалинки, старые мельницы и малиновые звоны, причем даже сама музыка охотно идет у них на поводу — эти чистые криницы!

И мне, раздраженной, озлобленной, хотелось сказать соседкам: женщины, ложь разлита в воздухе, в музыке витает, в облаке плывет.

Вот один обольститель с невинной, должно быть, физиономией, выводит: «Я сажусь в машину, еду за тобо-ой!», а другой ему вторит: «Вслед за мной на водных лыжах ты летишь!», а третий, четвертый, пятый приглашают вас на карнавал, которого сроду никто не видывал. Какое, скажите, все это имеет к вам отношение? Ну какие из вас мадонны? Не наш печальный силуэт отпечатывается на их расшитых морозными королевскими лилиями окнах, не наш, сутулый, с сумкой на колесиках, которую мы, пыхтя, вталкиваем в автобус. Зачем вы позволяете делать себе прямое переливание из эфира, кишашего микробами, вирусами, смертоносной инфекцией? Они так надежно забаррикадированы от нас нашими же сумками, авоськами, тюками; разве можно сочинить песню про нашу великую радость, когда ухватишь десять пачек «Лотоса», а в руки дают только пять, но мы лихорадочно-умоляющими голосами кричим кассирше знакомый припев: у меня там ребенок стоит, и машем рукой в сторону действительно стоящего, уже измученного нашим стоянием ребенка. Создайте гимн про радость починки зубов, которая все откладывалась за недосугом,

пока кушать стало нечем. Отдельно — про битком набитый троллейбус с припевом: ездий на такси, раз такой умный-ый. Много таких тем можно подбросить умникам, описывающим в наше время снегирей на снегу, зябликов на ветке и прочее великолепие. Но лучше заткнуть уши воском, дабы не слышать голосов этих сирен. Ан нет — музыка конвоирует наш слух, барабана в перепонки, сохраняя внутри себя все это бесстыдство, пропитываясь им. И ты, музыка, и ты, Брут!

По утрам женщины готовили себя для врача, как наложницы для своего господина. Пристроив в кроватях на коленях зеркала, клали тени на утомленные веки, красили ресницы и снимали свои верные бигуди, рассыпавшиеся по склону одеяла, как стадо овецек. Чирикала радиоточка. Кто-нибудь высовывал голову в коридор: посмотреть, в какой палате сейчас Алексей Алексеевич. И дальше — все разговоры о нем, Алешеньке: какой внимательный, молодой, но настоящий, и жена, наверное, хорошая, вон рубашечки какие накрахмаленные. Как о любимом повелителе верные служанки: чисто, любовно, с заботой. Единственный для нас теперь мужчина: Петровичи наши и «одни человеки» там, на воле. К тому же мы знаем, чувство наше не безответно: Алексей Алексеевич влюблен в свою работу, в наши болячки, следовательно, и в нас. И любовь эта лишена корысти, не то что на воле. А реснички-то у него длинные! Как у девушки! А ногти чистые! Голос строгий, но добрый. Кофейку бы ему сварить на дежурство. Галя, скажи Петровичу, чтобы пирожка принес. Человек всю ночьку глаз не смыкает. Знаете что: на радио надо о нем написать, чтоб передали песню «Люди в белых халатах». И в газету тоже. Говорят, им это зачитывается, хорошее отношение больных, глядишь, какую пятерку Алеше к зарплате прибавят. День и ночь, не жалея сил, сидит в больнице, душой за нас болеет, умничка!

Я слушала их разговор, принужденно улыбалась, думая: где найти мне такую обитель, куда закатиться, чтобы какое-то время ни в чем не принимать участия, дать отдохнуть лицу, горлу и душе, куда уйти, в какие снега?..

Но и это, и то, что я как бы чувствовала в те первые больничные дни, все это оказалось выдумкой, обманом внутреннего зрения, принятым мною за некую открывшуюся истину.

Больница, поменяв мое городское платье на халат, предлагала дальнейшее разоблачение, ибо на операцию человека везут голым, голым, укрытым по подбородок чужой хрус-

тящей простыней, и вот к этому я еще не была готова, и вот в день операции на смену житейскому отвращению к мелочам жизни пришел чистый, я бы сказала, бескорыстный страх.

С наступлением страха ушла в тумбочку моя книга, рассыпалась на ненужные страницы, растеклась по буквам, и слова, умные, тонкие мысли и слова в ней уже не могли быть опорой моему смятенному сознанию; окно затянуло морозным рисунком, спрятавшим ненужный теперь пейзаж, и вошли люди — первые, точно увиденные после долгого пребывания на необитаемом острове люди, последние люди, которые проводят меня до лифта, передадут из рук в руки стерильным ангелам; ангелы вознесут меня на лифте до стеклянных врат, на которых будет написано: «Чистая зона», и передадут меня в руки самого бога, чтобы я вкусила наконец непредставимого, стерильного сна от черной резиновой маски. И что будет потом, я не хотела знать, не хотела опускать глаза на то место, которое сделает мое тело еще более голым, где раскроют его и расквасят. Всем своим существом я прикинула к этим первым и последним моим людям, соседкам, охотно поддерживала разговор, который вчера еще казался мне невыносимо скучным, вынуждала Галю лишний раз произнести «мой муж» и выпытывала у Маши подробности про ее «одного человека». Тогда же я вспомнила свою старуху-соседку, вспомнила о ней с ощущением раскаяния, точно она, не я, завтра поднимется в чистую-чистую, озонную зону, и я дала себе слово, что, вернувшись из своей головокружительной высоты, распахну перед ней свою дверь и уступлю ей право любить своего сына так, как она его любит, потому что в конечном итоге всех нас ждет еще более чистая, чем моя завтрашняя, зона, и уж она-то наверняка очистит нас ото всех заблуждений жизни, потушит наши громкие, режущие ухо голоса, развеет тщеславие и обман, и наступит всеобщая братская искренность.

...Сегодня, как всегда, был обход. Налетела стая белых халатов, повитала над соседними кроватями и спланировала возле меня. Наш Алексей Алексеевич стоял впереди, как вожак, представляя меня остальным, но я уже смотрела не на него, я с надеждой вглядывалась в добродушное, бородастое лицо заведующим, который и будет меня оперировать, косилась на его короткопалые, поросшие темными волосками спокойные руки, и ближе его для меня сейчас человека не было. Он выступил вперед, я приподнялась на подушках, и он положил мне на плечо свою добрую руку.

— Как чувствуете себя?

— Хорошо.

— Ваша сестра говорила, что она родилась здесь, в этих местах. Кажется, ваши родители работали в Центре?

— Можно сказать и так.

— Они не попадали под облучение?

— Отец попадал, кажется, в 51-м. Произошла какая-то авария, несколько человек хватили рентгена. Их прямо из могильника, куда сбрасывали одежду все, кто работал в шахтах, подняли на крышу и оттуда уже вывезли вертолетом.

— Ну да, я что-то слышал об этом случае. Вполне возможно, что этим и объясняется ваше заболевание. Значит, сестра родилась до того, как отец попал в аварию?

— Да, нам с братом повезло меньше.

— Про брата я знаю. Очень вам сочувствую... Ну что ж, вы готовы? — улыбаясь, легко спросил он, как будто речь шла о небольшом путешествии. И тут прежняя жизнь, въевшаяся в кровь бравада отозвалась на знакомый сигнал. «Всегда готова», — произнесла я, занеся над головой руку. «И славно», — как бы не замечая моих потуг, серьезно сказал он. Тепло, исходившее от его руки, было так убедительно и проникновенно, что хотелось потереться о нее щекой. Завтра несколько часов подряд он будет безраздельно принадлежать мне, а я ему, а потом мы расстанемся навсегда, и это достойно удивления. Он снял с моего плеча свою спокойную руку и, отвернувшись, сразу забыл обо мне, заговорил в дверях с Алексеем Алексеевичем о каком-то шведском препарате, и то, что он уже забыл обо мне, прибавило мне веры в его могущество.

В этот день женщины говорили со мною приглушенными голосами.

— Александр Иванович замечательный хирург, — сказала Галя. — Мой Петрович слышал о нем много хорошего. Говорит, лучше его никто здесь не оперирует. И человек прекрасный, своих больных не жалея сил выхаживает. Непонятно, отчего от него ушла жена.

— Думай, что говоришь, — покосившись на меня, упрекнула ее Маша.

— Ну и что? От этого его умения не ubyло...

— Зачем ей это знать? Она, — кивок в мою сторону, — должна знать только хорошее.

— Я и говорю: хирург отличный, а жена дура. Я тебе ее после покажу, — пообещала она, и ее уверенность, что будет после, порадовала меня. — Она работает у нас в гинекологии сестричкой. Красивая! Он из себя тоже видный, ничего не скажешь, непонятно, чего ей вздумалось уйти. Вчера мы с Петровичем и Александром Ивановичем оказались в одном лифте: он уже собирался домой, а я провожала Петровича. Останавливается лифт на третьем этаже, и входит о н а. Александр Иванович весь подтянулся и прохрипел: «Здравствуй». Она тоже поздоровалась. И отвернулись друг от друга. Доехали, она как ошпаренная

выскочила из лифта и поцокала по коридору на шпильках; мы с Петровичем тоже вышли, а он стоит как привязанный и смотрит ей вслед, аж жалко стало...

Вечером пришла моя сестра. «Я смотрела твои анализы, все нормально», — сказала она. «Ясно, что нормально, иначе бы не оперировали завтра. Послушай, ты утром не приходи, ладно? Я не хочу». — «Ладно». Она смотрела на меня умоляющими глазами, и я дожидаться не могла, когда она уйдет. Моя сестра была теперь от меня дальше, чем Галя и Маша, и она ничем не могла мне помочь. К Маше уже пришел «один человек», а к Гале Петрович, эти двое тут же свили в углу кровати гнездо, тихо переговариваясь о домашних делах. Сестра наконец ушла, а я выпила таблетку снотворного и все смотрела на Гаю и Петровича, пока не очутилась в самой сердцевине их теплого гнезда, и незаметно уснула.

Утром меня разбудила медсестра. Я открыла глаза, и она еще раз тронула меня за плечо, сметая обрывки сна, еще цеплявшиеся за ресницы, и тогда я осмысленно-тревожно посмотрела на нее. У медсестры было отстраненно-служебное лицо, как бы говорившее, что волноваться особенно незачем. Но доверительным движением, как священник, явившийся дать причастие приговоренному, она вложила мне в руку ключ от ванной комнаты и проговорила: «Можете не торопиться, вы — вторая на очереди». Я залезла под душ, размышляя над ее словами — вторая, это значит, у хирургов есть объект посерьезнее. Или, наоборот, они хотят как следует разогреть руки передо мною. Когда я вернулась в палату, женщины уже встали. Радио предупредительно молчало. Соседки встретили меня подбадривающими улыбками, я тоже улыбнулась им замерзшими губами. Пришел Алексей Алексеевич, стал долго разговаривать с Машей, ощупывая ее опухоль. Я впиалась взглядом в его аккуратно выстриженный затылок, гадая, что он мне скажет. Он приостановился у моей кровати и проговорил: «Кажется, мы спокойны...», и мне ничего не оставалось, как подтвердить его наблюдение. Снова вошла та же медсестра, сделала мне несколько уколов и сказала: «Девочки, милые, продукты с подоконника уберите, санэпидстанция ходит с проверкой», — и я стала помогать убирать продукты.

Прошло полчаса. Я лежала, а снег за окном шел и шел и опускал меня все глубже и глубже, так что когда медсестра привезла каталку, я почти спокойно перекочевала из одного сугроба в другой. Теперь я смотрела на лампу дневного света на потолке, чувствуя, как меня со всех сторон подтыкают простыней, ощущая себя кем-то вроде артиста миманса, который в этот час изображает короля, — самому ничего играть не надо, только важно присутствовать на

сцене. Мы выехали из палаты. В коридоре у лифта стояла Маша и разговаривала по телефону. Прижав плечом трубку, она осторожно пожала мне плечо. И дальше пошли одни стерильные впечатления.

Два белых ангела в кабине лифта перепоручили мое тело двум другим белым. Мы поднялись на восьмой этаж и подъехали к стеклянной двери, на которой была табличка: «Чистая зона». Они переменили простыню, надели мне на ноги бахилы и повезли в операционную. Потолок плыл как снег.

В операционной никого не было. Я перекадилась на узкий операционный стол и стала смотреть на круг с лампами над головой, пока его не заслонила чья-то большая белая голова. Это был анестезиолог. Он по-домашнему сказал: «Здравствуйте». И я сказала: «Здравствуйте». Он что-то тихо сказал сестре, и сестра обратилась ко мне: «Выпрямите руку». Пока она устраивала капельницу и искала вену, мы с анестезиологом вели непринужденную беседу. «Вы похожи на актрису М.» — «Да, мне уже говорили». — «Вот видите, а я смотрю и думаю: на кого это она похожа? Сейчас примерим масочку, — сказал он, окуная мое лицо в резину. — Особенно брови, глаза — точно как у М.» — «Ну и ладно, — подумала я, — теперь все, больше от меня ничего не зависит: покой». И, отвернув от него голову, ушла в уют операционного стола.

Когда все закончилось и меня привезли в палату, после пробуждения от наркоза, со мной случилось третье за эти дни превращение: теперь мне не нужны были никакие люди, ни первые, ни последние, ни родные, не нужны совсем. Душа была далеко, как снег, бредущий за окном, на кровати лежало пустое тело, чувствующее лишь его, тела, заботу, боль внутри него, а на поверхности боли не было, потому что когда сестричка вколола в руку несколько уколов, я их не почувствовала. Я лежала, окутанная смягчающей болью, а потом дурманом, сквозь который слышала голос моей сестры, спрашивающей, не смочить ли мне губы, но голос ее уже гулко отдавался в коридорах сна.

В палате бубнила радиоточка: «...развитие хлорных производств привело к накоплению полихлорированных полицилических соединений, которые и в мизерных концентрациях подавляют иммунную систему организмов, а в более высоких поражают центральную и периферийную нервную систему, печень, пищевой тракт и другие органы...»

— Выключи, ради бога, не могу я это слушать, уж лучше ничего не знать! Правильно Петрович говорит: сами себя уgroжаем.

— Теперь и радио об этом наконец заговорило. В прош-

лом годе пошли кислотные дожди и всю картошку пришлось выкопать к черту. По радио объявили, чтоб выкопали. И капуста пропала. Хоть и не сажай ничего. А как не сажать — на рынке дорого и одни нитраты.

— Ты по осам смотри: я беру всегда те фрукты, над которыми осы вьются, над нитратами они не станут виться, ос не проведешь.

— Скоро и ос не станет. В курах сальмонеллез, в яйцах тоже. Куру эту надо полтора часа варить, а бульон выливать.

— А как прошли эти кислотные дожди, у нас перед крыльцом ни с того ни с сего вымахали во-от такие грибы. Петрович мой говорит: надо выполоть, ядовитые.

...Ядовитые. Перед крыльцом нашего мира, в Стране восходящего солнца тоже вырос гриб. Мама рассказывала: после сообщения народ высыпал на улицы, было всеобщее ликование... Так ты для этого, отец, ночей не спал, света белого не видел, отдыха не знал, о самом себе позабыл и родных позабросил? Горло, как инеем, обложено наркосом. То, что сделал ты, можно было сделать только под наркозом, в скорбном доме, где санитары двухметрового роста бьют по головам и вяжут в смирительные рубашки.

— Посмотри: она, кажется, проснулась. Ты проснулась? Проснулась?

На следующий день Гаю выписали, а на ее место положили старушку Марию Андреевну. Маша подседа ко мне и сказала шепотом: «Только этого нам не хватало». Но не увидев сочувствия в моем лице, встала и занялась приборкой палаты к обходу. Старушка в своей слабости и беспомощности на сегодняшнее утро была мне ближе, чем Маша. Ее появление точно укрепляло мое право на бесконечное лежание, на онемевшее радио, завтраки в палату. Вошел Алексей Алексеевич — красивый, медлительный, спокойный, склонился над старушкой и погрузил руки в ее широкий, плашмя лежащий живот. Я видела, как ходят ходуном под халатом его лопатки, точно он месит тесто, и видела бабушкин профиль, уставленный в потолок грезящий взгляд. Мария Андреевна, пока врач месил ее тело, ни разу не скосила на него глаза, точно тело было и не ее вовсе — и оно действительно ей почти уже не принадлежало. Его нечего было стесняться: оно до последней капли отдало все, что положено телу, и даже боль от пролежней была отдаленной и едва различимой. Осталась одна оболочка, в которую добросовестно и подробно вникал Алексей Алексеевич.

На другое утро я села на кровати, спустив ноги, лицом к старухе. Я смотрела на нее не отрываясь, но не могла поймать ее плавающий, как у младенца, взгляд. Прибывало

чувство вины, и это было признаком выздоровления. Я представляла, как трудно родственникам общаться с этой бабушкой, ведь что ни слово — то ложь, даже если чувствуешь в душе несокрушимую вину. Она была уже далека от земных притязаний. Болезнь освободила ее от забот о собственном теле. Это только в природе пораженное молнией дерево существует на равных с молодой порослью. В человеческом обществе на глубоких стариков смотрят с недоумением и снисходительной усмешкой: нам, дескать, до такого не доскрипеть. Да что там, одно поколение не может понять другое, сказывается разность жизненного опыта. Помню, я прибежала к маминной подруге, с которой у нас установились довольно тесные отношения, с одним, тогда казавшимся мне небывалым горем. Узнав, в чем дело, она с облегчением сказала: «Слава те господи, я думала, что-то серьезное...» И я почувствовала себя провалившейся актрисой, которую освистали, и впервые в жизни задала себе вопрос: а так ли оно страшно, мое горюшко? Подруга мамы еще помнила язык ребяческих страстей, но не желала говорить на нем мне в угоду, хотя и подозревала, что в эту минуту теряет меня навсегда, ибо самая большая обида — когда подвергают сомнению истинность твоей беды, с которой я стояла вровень и видела ее огромной, бурлящей, как вулкан, и пожирающей душу, но с высоты жизни маминной подруги картина была другой и слезы мои были легки, как пузырьки нарзана, слезы кипящей, неприбранной молодости. Старушка Мария Андреевна была еще выше, еще дальше, так далеко, что не докричаться.

Пришли какие-то ее родственники — с юристом. Двое мужчин крепко встали по обе стороны кровати, женщина-юрист с ко всему привычным лицом села, вынула из сумочки какие-то бумаги, разложила на столе, третья родственница примостилась в ногах у старухи и, чтобы как-то избавиться себя от чувства жгучей вины, стала подрезать бабушке ногти. Мужчины то прибирали на тумбочке, то поправляли бабушке подушки. Им-то еще было жить да жить, тащить груз жизни и ее неистребимой лжи в гору, им еще надо было делать приличную мину при скверной игре, как того требовали условия игры, и они тащили свои цепи и вериги, насупившись, расставив ноги, выгнув тяжелые шеи, как волю. Бабушка, сделав над собой усилие, ответила на вопросы юриста. Юрист шуршала шариковой ручкой, обращаясь к бабушке ласковым и громким, а к родственникам громким и официальным, пропитанным осуждением голосом.

Через день я уже ходила по палате, а к вечеру, услышав голос моей сестры, вышла в коридор. Моя сестра стояла в своем белоснежном халате с хирургом Александром Ивановичем: они рассматривали японский фонендоскоп, ко-

торый ей удалось купить по случаю. Александр Иванович как бы в удивлении развел руками: «Ну, уже ходите вовсю! Хорошо». Теперь я смотрела на него с таким чувством, как смотрят, должно быть, на бывшего возлюбленного, с которым давно все уже кончилось, и не знаешь, как себя вести. Спohватившись, я сказала, глядя в его удаляющуюся спину: «Славный человек, дай ему бог здоровья. Непонятно, почему от такого ушла жена». Сестра, нахмурившись, произнесла: «Прошу тебя, не собирай больничные сплетни». И добавила уже мягче: «Я принесла тебе хурмы и яблочного сока: ешь и пей больше». Я проводила ее до лифта, а когда вернулась, в палате, осмелев, уже говорило радио. Наглядно демонстрирует. Убедительно доказывает. Постоянно наращивать. Всемирно укреплять...

Маша кормила с ложечки Марию Андреевну, а она все так же грезя смотрела в потолок, послушно, как ребенок, открывая рот. Маша говорила: «Ну еще одну... вот умничка», а радио пело: «Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу?..» «У каждого свои проблемы», — заметила Маша и подмигнула мне, а я ей.

Мы стали негромко, стараясь не беспокоить старуху, разгадывать кроссворд. И вдруг, когда с очередным словом вышла заминка, бабушка отчетливым голосом сказала: «Резерфорд». Мы с Машей переглянулись. Бабушка снова нетерпеливо повторила: «Резерфорд». И Маша для верности прочитала еще раз: «Английский ученый-физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома» и, посчитав буквы, сказала: «Правильно», и мы с ней снова переглянулись со смущенным видом, будто с нами в контакт вступил марсианин. Жизнь не переставала уличать меня в самонадеянности. Маша ушла на процедуры, а я, желая загладить свою вину, попыталась заговорить со старухой, но она сначала упорно молчала, а потом на мой вопрос: «Вы, наверное, местная?», пошамкав ртом, заметила, что в этой больнице кормят исключительно одной пшеничкой.

Есть у нас в доме одна семья: мать, дочь и внучка. Мать — преподаватель университета в прошлом, дочь — в настоящем, она и тянет на себе львиную долю бытия, а внучка Таня шести лет — больная, дурочка. Бабушка уже прожила жизнь и простила в душе людей за их глупость и самоуверенность. Если к ней обратишься с вопросом, она с готовностью откликается; разговарившись, она искательно смотрит в лицо и громко сетует на человеческую, ею уже прощенную, глупость, на глупость людей, считающих, что ей нужно сочувствие, которое, конечно, не от души, потому что души у каждого и на своих ближних не хватает, а от нетерпения сердца. И она терпеливо переживает, пока собеседник наговорится, дает пояснения по поводу Тани, которая, кстати сказать, — это светится у старухи во взгля-

де, — не дурнее ваших детей, что скоро вырастут и станут точь-в-точь как их дуры-матери, бесцеремонные и болтливые, а Таня, кроткая, внимательная, — это бунт природы, зрящей в корень, бунт против неявной, не отдающей себе отчета глупости. Так старушка исподволь клеймит нас, имея на то право, данное ей действительной, а не придуманной бедой, точно так же поступает и моя мама, когда ее спрашивают о моем брате. Старушка рассказывает всем, как трудно с дочерью, болеющей по женской части, как тесно в однокомнатной квартире, еще Таня подобрала эту собачонку, без нее прямо жить не может, а куда еще собаку, самим-то еле на жизнь хватает. Она говорит о том, что страшно умереть, потому что не на кого оставить Таню, ведь дочь то и дело лежит в больницах... И вдруг, замкнувшись, старуха резко поворачивается к нам спиной и кричит: «Таня, домой!», а Таня хочет играть с нашими детьми, заливаясь смехом, тычет им в лица колобки грязного снега, и мы с тревогой поглядываем на это... И старуха права в своем гневном окрике, права, точно уже слышит, как одна из нас шепчет ей вслеп: «Денег нет, а пса заводят...» Изредка Таня гуляет с матерью, но мать — она не идет на поводу у нашего сочувствия, заранее зная ему цену. Она старается гулять с Таней там, где нас нет, но однажды мы столкнулись с ней на узкой тропинке и одна из нас, желая высказать свою лояльность по отношению к Тане, радостно кинувшейся к детям, проговорила: «Ой, Танечка, какая у тебя собачка миленькая!» Мать обожгла нас бешеным взглядом. Она была не в силах играть в эти игры и утолять наше сочувствие. И она еще не чувствовала в себе усталость и смирение, чтобы простить нам неуклюжие наши попытки. Она еще не знала всего того, что знала, наверное, Мария Андреевна, когда на мой вопрос: «Вы местная?» — ответила, как ни трудно было ей возвращаться на орбиту условного человеческого общения, пропшенную кашу.

И я опять сказала себе, отвернувшись к окну: думай, думай, проснись, проснись, ведь ты только что вернулась из чистой, где тебя как бы не существовало, зоны, не у всех есть такая возможность взглянуть на жизнь со стороны, в е р н у в ш и с ь, неужели и после этого все пойдет как было, неужели и дальше пойдет эта же жизнь с пробуждением в короткий ночной сон, перемежающийся бормотанием спящего ребенка, жизнь со впадением в спячку, озаренную звоном будильника, с теми же страхами в душе, словно отовсюду горят как фары волчьих глаза опасности. И какая же может поджидать опасность, если уравнение со многими неизвестными заранее решено, решение есть, а что за сон там, в скобках, какая, в сущности, разница. Конечно, с точки зрения чистой зоны легко говорить,

а вот когда живешь в скобках так подробно, не замечая знаков препинания, живешь, точно торопишься проговорить скороговорку и не поперхнуться ею — тогда другое дело. Жизнь несется, как снежный ком с горы, набирая тяжести в теле, а снег за окном все идет и идет — и все это мне что-то напоминало... Вся эта картина за окном была мне знакома, узнаваема, но не так, как вообще бывает знаком пейзаж среднерусской полосы, а иначе, тревожней и ближе, как только что приснившийся сон. Пришла моя сестра, и я сказала ей об этом. Я сказала, что у меня такое чувство, точно за теми елями стоит теремок. Сестра странно молчала, и когда я взглянула на нее, то увидела на ее лице удивление, превосходящее мои ожидания, и спросила: «А что?» Сестра, коротко вздохнув, сказала: «Нет, ты этого не можешь помнить, этого не помню даже я, хотя знаю, что на этом самом месте, где сейчас больница, стоял коттедж, в котором мы тогда жили. А за елями домик Курчатова, он и правда похож на теремок — теперь там расположился какой-то кооператив. Но ты не можешь помнить все это, тебя тогда на свете не было». «За домиком река?» — спросила я наугад. «Пруд», — ответила сестра радостно. «А дальше железка». — «Дальше мы не ходили, дальше была проволока».

Видно, что-то в душе у природы накипело за долгую, холодную осень, которая, куда-то спеша, обогнала календарь, раздела прежде времени деревья, высушила траву, потому что снег длился и длился, заметая горизонт, отсекая клубы дымящих вдали труб. Только лес смутно рябил перед глазами, как мелкий, ксерокопированный текст одной прекрасной, недавно прочитанной книги, в которой рассказывалось и об этом самом поселке, заносимом снегом сорокалетней давности. Снег покрывал прошлое ее героев, непридуманных, действительно живших на белом свете, мягко отсекал от этих людей их родных и близких, еще существующих в их мыслях, просеивал насквозь всего человека, чтобы в нем остались лишь силы идти вперед, под градом понуканий и угроз, преодолевая глубокие снега. Человек мечтал о своем теле: как внутри него еще тепло и если б можно было засунуть окоченевшие руки внутрь живота как в муфту, и как это странно: жизнь мерцает в теле, дрожит в позвоночном столбе, со всех сторон сдавленная, как столбик ртути в градуснике, и что ей ни делают, все еще колеблется меж семи делений тепла, но если скатится с этого склона, ее тут же занесет снег бессрочной зимы. А когда снег вспорхнет с земли, накатит весна, изумрудной волной перельется в лето, потом осень сметет все накопленные с божьей помощью солнца сокровища, и новая зима погребет их под собою, но это все ничему нас не учит, отнюдь, хотя такое происходит всякий год начиная от сот-

ворения мира. Идет снег, всем своим белым существом говоря: поймите. Сегодня сугроб вырос до подоконника физиокабинета на первом этаже, где мы с Машей по утрам принимаем озокерит. Сидим и переговариваемся через перегородку. Она говорит: куда это подевались дворники? Я говорю: наверное, их занесло снегом. Она говорит: что они себе думают в жэке, неужели трудно проложить тропинки. Я отвечаю: должно быть, и жэк занесло. Раньше работать умели, говорит Маша, а сейчас разленились со страшной силой. И в самом деле, кто проложит извилистые, как наши мысли, как наши пути, тропинки? Мы одновременно перевернули на полочке у нашего изголовья песочные часы, каждая свои, и посыпалась еще одна порция нашего времени, а снега уже по пояс. В декабрьских дебрях, заснеженных, сонных, сугробы по самые плечи. Перевернули часы еще раз — и остались под снегом вместе со стекляшкой, наполненной умершим временем. Маша сказала: у меня уже остыло. И у меня остывает.

— Сестричка, вы про нас забыли, снимите озокерит.

— Не забыла, сейчас.

Здесь длилось то же нескончаемое небо, что уже третий месяц висело над Москвой. Третий месяц над столицей висела хмара, в которой дни и ночи были похожи на сумерки. К оконному стеклу лепился тусклый, медный, как отблеск похоронного оркестра, свет, и ни солнечный луч, ни звездный не могли сквозь него прорваться. Человек чувствовал себя сплюснутым и полусонным между тяжким бурым небом и сырыми снегами, может, поэтому мне и казалось, что один день пробуксовывает в другом, и было душно в застоявшемся воздухе.

Но сейчас хорошо было смотреть на спокойное серое небо и легче было выздоравливать под ним. Хорошо было смотреть на снег. Я представляла себе, как в глубоких снегах в пятом часу утра с фонариком в руке мой отец прокладывает тропинку, направляясь в свою лабораторию.

Скоро будет год, как он просыпается с ощущением непочатой радости и физического здоровья в теле. Он выходит из дома на час раньше, чтобы надышаться свободным, морозным воздухом, то и дело останавливается, гасит фонарик, окуная взгляд близоруких глаз в темное небо с улыбочивым месяцем, в светящийся снег, отбрасывающий, словно тени, темные деревья, стоящие по обе стороны тропинки. Он не видит ни автоматчиков на вышках, ни колючки, разделившей людей от людей, деревья от деревьев, не слышит лая собак и радиоголос громкоговорителя, потому что здесь, в зоне, он наконец-то обрел свободу, о которой мечтал целое десятилетие, начиная с первого дня войны и заканчивая последним днем пребывания на Колыме, когда его и кол-

легу Москалева, тоже доходягу, положили в сани и повезли на станцию. Чтобы чувствовать свободу, ему не надо, как Москалеву, выписывать из опечатанной квартиры в Москве библиотеку и пианино, ему вполне хватает этой едва отапливаемой лаборатории, размещенной в двухэтажном бараке, возможности читать научную периодику и возобновления переписки с норвежским ученым, разрабатывающим ту же проблему.

Он открывает лабораторию, снимает полушубок, надевает халат, запачканный реактивами. Он слышит, как по крылечку, ведущему в барак, медленно поднимается генетик Тисын, беззубый, с проваленными щеками, ему и щедрая шарашкина кормежка не впрок. Жены все еще нет с ним, хотя, говорят, Завенягин обшарил все лагеря — но Тисына как сквозь землю провалилась. Скорее всего, сквозь землю, под колымские или воркутинские снега. Ученому осторожно советуют присмотреть себе вольнонаемную, но отец, поддерживающий с Тисыным дружеские отношения, понимает, что этот человек одновалентен как Na или K. Отец светит фонариком на циферблат часов: без пятнадцати пять, свет дадут через полчаса, в его распоряжении есть время для отдыха и размышлений. В дверном проеме появляется Тисын, на ходу сметая с валенок снег. Резкое пятно света прыгает ему в лицо. Тисын, заслонившись рукавицей, говорит:

— Ну, вы, однако, прямо как мой следователь. Здравствуйте, Александр Николаевич.

— Доброе утро, Анатолий Викентьевич. Извините меня. Тисын присаживается на скамью, аккуратно складывает рукавицы, словно ладони для молитвы, и привычным движением сует их поглубже за пазуху.

— Знаете, мой следователь был совсем не любопытный тип, физиономия простая, я бы сказал — внушающая доверие, крестьянская. Иногда, листая мое дело, забывался и слюнявил палец, переворачивая страницу. Однако фамилия была знаменитая: Башмачкин. Когда он мне представился, я даже вздрогнул: бог мой, это великая русская проза, о которой я и думать забыл в те дни, поприветствовала меня в моем мрачном подземелье. Что-то, думаю, в этом есть неслучайное. Сижу на допросе, жмурюсь от света и предаюсь одиноким размышлениям. Эх, думаю, Николай Васильевич, свет очей моих, посмотрел бы ты сейчас на своего маленького человека, над участью которой еще полвека тому назад сокрушалось наше гуманистическое искусство. Вот он сидит передо мною в лучах своей славы, светит мне в лицо настольной лампой, и ему, как и его однофамильцу Акакию Акакиевичу, не нужно никакой такой сатанинской власти над миром, а нужна всего-навсего теплая шинелишка,

и он добросовестно шьет мне дело, чтобы сшить себе шинель, которую у него рано или поздно сопрут ночные воры... Будто время перевернули, как песочные часы, и весь наш департамент оказался внизу, директор, столоначальники, советники угодили за решетку, а мой Башмачкин оказался наверху, сменил свой рыжевато-мучного цвета вицмундир на гимнастерку и стал работать сочинителем. Когда мы с ним прощались, он подошел ко мне вплотную и говорит шепотом: «Вы не беспокойтесь, хозяйку вашу не взяли». Смотрю ему в лицо своими воспаленными глазами и вижу: следователь-то мой, оказывается, рыжий, глаза голубые и физиономия в веснушках. Поверил я тогда этим веснушкам, от души отлегло, что не взяли жену. Не может ведь такой, с веснушками, соврать. А оказалось, может, еще как. И этот савраска уже натянул, как шинель, шакалью шкуру. Такое и Николаю Васильевичу присниться не могло в его страшных снах... Что это у вас на стене — никак стенгазета?

Отец посветил фонариком в белеющий на стене плат.

— Три дня назад была у нас комиссия из Москвы. Помоему, ее прислали по ошибке. Их не столько интересовали результаты нашей работы, сколько голые стены, почему, дескать, нет наглядной агитации. Вот я и изобразил им агитацию.

— Они вовсе не это имели в виду. Им не достает на ваших стенах изречений Иосифа и его братьев.

— Иосифа с братией пусть вешают у себя зоологи. А я изобразил им кристаллическую решетку, просто и со вкусом, пространственный порядок атомов, придающий устойчивость веществу.

— Замечательно: у атомов то же самое, что и у нас с вами: чтоб была устойчивость, необходима шестигранная решетка.

— Я бодрее вас гляжу на жизнь: думаю, то, что с нами произошло, окажется сильнейшим катализатором для общечеловеческого процесса. И вся дрянь, вроде вашего Башмачкина, выпадет в осадок. Вот вам скромная точка зрения химика.

— Интересно бы знать точку зрения господ бога, Александр Николаевич.

— Скорее всего, она импрессионистична. Он отважно экспериментирует с красками. Сейчас его привлекают серые тона: он пытается смешать Левита с Башмачкиным.

— Тогда господь бог все еще занят грунтовкой, а картина — впереди. Наши дети... Говорят, вашей супруге разрешили рожать в Москве? Очень милостиво с их стороны.

— Бросьте. Просто мы с вами им понадобились, вот и вся милость.

— Что ж. Приятно было побеседовать. Всего наилучшего, Александр Николаевич.

— Будьте здоровы, Анатолий Викентьевич.

Еще с минуту отец слышит шаги над головой, потом и они стихают: Тисын сел на свое рабочее место и углубился в изучение своих страшных уродцев: подвергшихся радиоактивному облучению кроликов, облезших, с проплешинами на боках, но невероятно живучих мышей и крыс, разбегающихся, точно нечистые мысли, по вольеру, собак, морских свинок. Отцу неведомо, что именно изучает Тисын, это его не интересует, хотя, если бы он имел возможность заглянуть на десятилетия вперед, он бы очень заинтересовался этой проблемой, которая в будущем будет иметь самое прямое к нему отношение. А пока Тисын сидит себе на втором этаже, утомленный, старый как парка, и прядет нить будущего, а отец снова светит на циферблат: год 1947, февраль месяц, 22 число, время 5 часов 12 минут утра — он еще не знает, что ровно через полсутки появится на свет его первая дочь. Самое любимое его время, затерянность в снегах, в работе. Одиночество Кая, играющего в кристаллы во дворце Снежной королевы. Он накидывает на плечи овчинный полушубок, садится в вертящееся трофейное кресло и несколько минут греет пальцы над спиртовкой. Он сидит, ссутулившись над крохотным огоньком, с бессмысленной счастливой улыбкой пещерного человека, впервые добывшего огонь трением одной деревяшки о другую. Он греет свои большие руки, с которых уже сошли мозоли, чтобы поскорее сбьлись пророческие сказки человечества об огненных реках, кисельных берегах, воспламенившихся озерах, потопленных градах Китежах, подземных царствах. Отец сидит, кутаясь в звериную шкуру, как великан, над маленьким костерком, в котором уже столько сгорело и еще сгорит: бедный домишко в Пензенской губернии, где он появился на свет, высокие волжские кручи, где прошли его детство и юность, сосны, стоящие по берегам, как свечи, полноводные, полнорыбные реки, чистые криницы, зяблики на ветке, снегири на снегу, деревенские завалинки, старые мельницы, малиновый звон на заре. Он не знает сомнений: его собственные научные цели так удачно совпали с целями государства — но все дело в том, что сомнение заложено в самой природе человеческой, а из природы ничего не исчезает и не пропадает бесследно: от реакции отца с его жестоким временем сомнение выпало в осадок, который еще отложится в костях его детей, в сердце внуков. Он мирно сидит и мирно дует на свои холодные пальцы, с нетерпением предвкушая, как вот-вот зажжется свет и лаборатория оживет, наполнится людьми, и дыхание его тру-

дов разнесется по всему миру. Согрев руки, он принимается за работу.

Проходит с полчаса, следы его успевают замести снег, а еще через полчаса, шурша по снегу, понурившись, проходит колонна людей. И дальше по протоптанной тропинке идут и идут люди — колоннами или поодиночке, — и снова тропинку заносит снегом. Ни звука, ни человека, тишина, деревья и снег, безопасность, чистая зона.

Татьяна Набатникова

ГОВОРИ, МАРИЯ!

Иногда лежу без сна, одна.

Э-э-э-эй! — беззвучное. Оно возносится, растет, множась под куполом ночи. Раскатывается, истончается — тает... Тщетный мой неутолимый зов.

Один был такой эпизод в юности. С выпускного вечера мы тайно исчезли. Он вывел мотоцикл, я в белом платье села в коляску. Ехали долго, отделяясь понадежнее от села, от людей, от огней, от малейшего звука. С тех пор как мы оставили праздничный зал и канули в ночь, не было произнесено ни слова. Язык отключился, ему не было тут за действия.

Мы ехали, я дрожала, не чувствуя в себе необходимой отваги. Потом остановились. Стало тихо.

Тишина собралась здесь вся, сколько ни есть ее. Мы остались сидеть, кончиком пальца не шевельнуть: тишиной пригнелó; погруженные вместе с лучом нашей фары, как в батискафе, на дно космоса. То, что завоевано светом — кусочек пространства, вырезанный из огромной тьмы, — то только наше. Мы как улитки вжались в себя, затаились, взгляды держа в освещенном уголке, наружу во тьму их наставить боимся.

Я знала, свергать это иго безмолвия — мне. Встать из коляски, ступить в ночь, в степь. Он не имел права, не смел побуждать меня. На то могла быть одна только добрая воля — моя.

Я медлю, робею.

Он не гасил фару — я знаю почему: чтоб разграничить свет и тьму. Чтоб оставить мне темноту для укрытия. Темнота выручит. Остальное должна была сделать я. (Ибо так оно справедливей и честнее.)

Но меня не хватило. Я приросла к коляске, он оставался в седле, мы были поодиночке. Надо было встать, чтоб оказаться вместе. Страшной священной жертвы требует однажды любовь. Как птица-Ногай, перенося Ивана через пропасть, время от времени поворачивала голову для подкрепления: кусок мяса, глоток питья; а мясо в бочке у Ивана все вышло, а птица-Ногай оборачивает голову и настойчиво разевает алчущий свой жаждущий клюв. Вынай, Иван, нож,

отсекай мясо от своего тела. Иначе вы не одолеете пропасть.

Какое уж там н а с л а ж д е н и е.

Я сидела, презренное ничтожество, трусливо вцепившись в коляску.

Он понял, вздохнул, вшлепнул ключ зажигания. Вернулся мир — успокоительно-привычный, такой нетребовательный к тебе мир — гул мотора, ветер, огни жилья.

На другой день мы уехали в разные края, и больше нам не случилось свидеться.

Я искала его потом, куда-то писала, но следы потерялись. Позднее, когда у меня появилось достаточно свободы и денег ездить по его розыску, прошло уже столько лет, изменивших мое лицо, что предстать перед моим милым я бы уже не посмела: оскорбить его память обо мне. Да и, наверное, семья, счастье (что, кроме счастья, могло ожидать семью моего милого?).

Счастье, то, чего не умела делать я.

Надо, чтоб хоть один из двоих знал рецепт. Второй бы у него послушно выучился. Но мы оба не знали с мужем моим.

Дядя Коля Бутько у нас тут разработал теорию гравитации (существующая его не устраивала). По его выходит так, что тела не притягиваются, а, наоборот, отторгаются. Ибо каждое источает силу и теснит другие тела. Те, другие, оказывают сопротивление. У Земли своя сила сопротивления давлению Солнца и звезд, а мы, люди, между двумя этими борющимися силами в оптимальных условиях. Хотя не везде. В Бермудском треугольнике, он считает, Земля имеет слабицу, и там поэтому провал. А в Апеннингах где-то есть залежи тяжелых руд, которые как раз имеют большую силу сопротивления — так предметы оттуда попросту выталкивает вверх. И вес предметов на поверхности земли должен зависеть от времени суток: днем, от прибавления давления Солнца, он больше, чем ночью («Дядь Коля, а ты проверял?» — «Нет, еще руки не дошли»).

Но самое для меня привлекательное в теории дяди Коли Бутько — это вот что, следите: тела, считаясь с силой друг друга, находят терпимое взаимное положение, установив между собой (почти дипломатически) «квадрат расстояния», как выражается дядя Коля. Вот этот «квадрат расстояния» мне дорог. Он и в отношениях людей работает. Тот терпимый квадрат расстояния — равновесие взаимных сил, причиняющих одна другой наименьший ущерб. Я его со своим богоданным мужем не установила. Теперь он покойник уже.

Хаос броуновского движения дядя Коля объясняет тем, что такому множеству частиц не удастся найти терпимый для всех «квадрат». Вот и толкаются бесконечно.

Ох, я гляжу на людей — то же броуновское движение.

В теории дяди Коли есть еще много ценного — например, он объясняет приливы и отливы, берется обосновать орбиту Меркурия, а также предлагает попутно вечный двигатель — самокатное колесо, которое будет катиться собственным весом. Пробное его колесо, правда, едет только под горку, но это он объясняет ущербом ручной технологии, а выхлопотать для своего колеса заводскую технологию ему не удастся — куда ни напишет, все пренебрегают.

Дядя Коля все ждет, что придут к нам на уборку какие-нибудь физики, и он их прижмет к стенке: как же так вашему получается с временами года: если летом Земля приближается к Солнцу, так и лето обязано наступить по всей Земле скрозь, а оно ведь наступает по очереди: то в южном полушарии, то в северном. Неуж наклон земной оси покроет разницу орбитального расстояния между Землей и Солнцем? И мучается дядя Коля разными вопросами, а физики к нам на уборку не едут, всё больше гуманитарии вроде вас. Ехать же дяде Коле самому по физиков недосуг. Я по милуго моего не поехала ради всей моей жизни, а уж любопытство ума можно и перетерпеть.

Если бы я поехала, наскребла решимости (решимости на всё плюнуть и НАУГАД поехать на поиски), я стала бы сильнее ровно на этот поступок (и на всякий последующий, если бы они последовали) — как мышцы крепнут от тренировок.

Или начать еще раньше: если бы я вышла из коляски...

Нет, еще раньше — где-нибудь в детстве, когда я стояла и бездействовала вместо того, чтоб нестись с криком «ура!» на штурм и преодоление...

Может, все беды наши растут из самого детства. Взять хоть моего покойного, например. Ну, посудите. Он родился — мальчик, радость-то, Ромой назвали, ожидалось впереди только лучшее. Но не сбылось. Отца посадили — это у многих тогда. Мать, оставшись без «квадрата», побалансировала и сорвалась. Она стала падать в слабину земного сопротивления. Нет, не в том смысле, в каком вы готовитесь это понять. Счастье открывается человеку довольно многообразно и зло тоже. Ее жизнь — как ЛЭП на опорах — стала держаться на срывах. Такая вот обратная гравитация. Она душевно питалась срывами и предпочитала эту пищу другой, как эскимос предпочитает подтухнувшее мясо. Самой доступной добычей был Ромочка, она стерегла его, как охотник: вот сейчас он не так ступит — и она получит свой срыв. Взвив голос в ту высь, под самый потолок, где интонации уже не поместиться (расплющивается в сплошняк), на одной ноте: «Так твою и так, и...», — с отрадой освобождения, избавления от какого-то нестерпимого напора изнутри. А потом опять скучный перегон

ЛЭП, провисание проводов, прозябание жизни — до следующей возможности осуществиться.

Ромочка знал уже, что это «нельзя». И он глядит, трехлетний, парализованно на свою мать, и в позвоночник его навечно прорастает корень всей его будущей жизни: то, что «нельзя» — оказывается, МОЖНО. Более того, это превозможение «нельзя» сулит неслыханную радость, какую другим способом и не добудешь. Это сродни ядерной энергии: простое вещество, не горячее — а в атомах его замурована страшная сила, которую если выпростать — никакой нефти не снилась, никакому тротилу. То же с моей, царство ей небесное, свекровью. В ней не было ни талантов, ни умений, ни ума — ничего такого, что горело бы и светилось. Но из серого праха, из которого составлено было ее существо, извлекалась запретная сила преодоленного «нельзя» — и получался этот жуткий, бесчестный атомный гриб, под которым возрос мой муж. Покойник мой. И он потом всю жизнь ничем не мог утолиться. Ни на чем остановиться не мог. И я не умела спасти его. Ему только падать сладко было. Но чтобы падать, нужен запас высоты. А у него с рождения не было этого запаса. Ему размазываться оставалось по плоскости. Так что дочку свою я к маме отправила вырастать. Он под конец полусумасшедший был, и я боялась его. Он должен был меня убить. Откуда-то ведь надо черпать энергию событий — питание духу. А ссор я ему не подбрасывала (поленьями в печь). Он мерз. Его знобило — психологически, понимаете? Проснусь ночью — он лежит на своей кровати, не спит — положил подбородок на руку и тяжело, каменно, угрюмо глядит на меня, глядит... Другая рука свесилась к полу. От этой глыбы его взгляда я и просыпалась.

Но и убить меня ему не доставало мощи. Он только мечтал. Он любил мне рассказывать про всякие преступления, которые якобы где-то в наших краях произошли. Потом оказывалось, что половину сам выдумал, половину преувеличил, ВЫМЫСЛОМ жил. Водка ему уже ничего не давала. Пьет, пьет — и не находит того предела, о который преткнулся бы, удержался. Несет его — и ни сучка зацепиться. Я глядела на все это с ужасом — уже, впрочем, притупившимся от всей нашей жизни без «квадрата существования». Я уже давно сама была больна, да и как иначе, психиатр по телевизору сказал, что условие здоровья — любимая работа, хорошие друзья и счастливая семья. Я сама хотела, много лет хотела, чтоб его не было. Чтоб он погиб. Пугаю я вас, да? Тоже вымыслом жила. ...Мне кажется, я так долго, так крепко все это вымышляла, что мысль моя сбилась наконец в плотный комок — такой плотности, что хватало материализоваться. Так масло сбивается, знаете: молотишь-молотишь мутовкой — ну наконец-то затверде-

лости. Мысль моя сбилась в плотный комок и вошла из мира идей в материальный мир. На тридцатый день запоя он повесился. Я проснулась — он висит. Вот здесь.

Ощущения я опускаю, вам не пригодятся.

Не скрою: когда осел осадок, прошли дни, я стала счастлива. Легче задышалось.

И я, глупая, не скрывала. Многим говорила, тем и этим: хорошо-то как! (Теперь бы мне всех припомнить и взять с них назад те мои неосторожные радости.) Я еще на знала, как это опасно.

Он начал мне сниться. Будто в толпе стоит и делает вид, что не видит меня, а сам что-то против меня замышляет. Если отвернусь — нападет. И я проснусь с содроганием — спрячусь от него в ЭТОМ мире. Несколько дней хожу в брезгливом испуге и всем, с кем ни случается говорить, помяну его недобрый словом.

Чего нельзя делать по завету предков. Нельзя! Но уж сколькими заветами мы пренебрегли безвредно для себя. Откуда я знала, что этот так силен?

Улыбаетесь... Я понимаю... Образование-то у нас всех есть, да всяк его забывает на свой лад. Жизнь все равно пересиливает. Разумеется, смешно верить снам. Дядя Коля Бутько тоже смеялся. Ну как же, его самокатное колесо и квадраты расстояний — это не смешно, ведь это по части материальных явлений, а сны что, это предрассудок невежественного ума.

Но мне еще один человек снится. Милый моей юности. С тех самых пор. Любовь моя к нему — ей так внезапно отсекали голову — если петуху голову отсечь, он еще побегает, а потом валяется, безглавый, на земле и долго трепыхается.

То мне приснится: я осталась после колхозного собрания в конторе — ночь, я бреду по пустому коридору, глядь, а в одной комнате — ошеломительное счастье! — ждет меня он, милый. Но тут появляются люди и с ними мой проклятый покойник, и я стыжусь прогнать их — признаю, то есть, за собой долг супружества. А милый ждет моего решения, пока идут разговоры, и чем меньше остается возможности нам соединиться, тем он становится бледнее, безучастнее, усыхает как бы, исчезает, глядь — комната и пуста. И этого я не могу спустить проклятому моему врагу.

Или будто я еду в город, автобус полон наших, деревенских, и тут я вижу: на берегу колхозного пруда палатка, а у палатки он, мой милый. Он смотрит на меня издали, и ясно, что он здесь ради меня. Но я стыжусь остановить автобус, и от этого моего предательства опять его образ бледнеет, размывается и исчезает. А я еду и чувствую спиной какую-то смертельную опасность. Оглядываюсь — а боже ж ты мой! — прямо за мной сидит мой проклятый,

смотрит злыми своими глазами, и тут же мать его поблизости с такою же зловещей рожей. Обложили. Вско-чить мне и броситься бежать по проходу — люди кругом, неловко. И остаюсь сидеть, сохраняя приличия, спиной предошущая нож.

И снова я рассказываю кому ни попадя: дескать, слава богу, что мертв, негодяй, чуть не зарезал сегодня во сне.

И вдруг я понимаю, что от этих моих речей в следующий раз он явится мне еще опасней и злей.

И так и происходит.

И так пополняется наша взаимная ненависть. Да, именно пополняется ВЗАИМНАЯ. Как будто его дух тоскливо ски-тается где-то тут и знает всю мою ненависть, и мстит мне (если он может это; если мы — не одно только то, что мож-но ошупать; какой-нибудь нерв ветвистый, незримо пророс-ший в иной мир, оттуда сосущий сок, как дерево корнями из почвы; пуповина, на которую где-нибудь там можно на-ступить и пережать...)

Есть такое поверье: если преследует тебя умерший, надо пойти к церкви и раздать милостыню. Но как я могу под-чиниться суевериям, мне стыдно — как стыдно и страшно было выйти из мотоциклетной коляски, как стыдно было остановить автобус и броситься у всех на глазах к милому, как стыдно и неудобно было кинуть ненавистного моего и уехать куда-нибудь — всю-то жизнь я была в каком-ни-будь плену, и не я руководила судьбой, а судьба меня отпихивала в сторонку, чтоб я не путалась под ногами, — и не получается ли, что я подчинялась именно суевериям «приличий»? — каждый выбирает, каким суевериям ему под-чиниться. Ни под каким видом я не могла бы поехать в го-род и застать там себя раздающей милостыню около церкви. Лучше мне пропасть, чем нарушить привычку сознания.

И пропадала, слабая, неспособная совершить. И прав был мой милый, что не искал меня. Пустое я место, и он это понял еще тогда в степи.

Я пропадала, да. Уже два года исполнилось, как не было моего угнетателя, жить бы да радоваться, а с каждым днем тяжело мое тело, уставало к вечеру все больше и больше. С трудом вспоминала, как это в юности: идешь, не чуя ног — не то бежишь, не то летишь. Откуда была такая лег-кость? Душа впереди тебя, ты за ней. Душа спешила.

А тут веса хоть и не прибывало, ох и потяжелела же я. Больше не волновался во мне дух, только пузырчато шевелились заботы — о корме, ремонте, добыче — и даже пешком, не бегом, так уставала я за день таскать себя, что насили ноги переставляла. Валюсь вечером без сил и засы-паю. И не высыпаюсь. И днем бы дали мне — спала бы и спала...

И началось. Язва желудка, операция, расширение вен...

в общем, поломка за поломкой. Так, знаете, бывает, механизм работал себе, работал, потом что-то сломалось, починили, но в другом месте непременно что-нибудь сдвинулось, нарушилось — и пошло-поехало.

Бегать я теперь не могла — да мне и не хотелось побежать.

Я знаете, о чем догадалась? Это его злой дух надо мною. Он мне «пуповину» пережал. Ветвистый тот корень, выросший в небо. И пропитание не стало поступать. Одушевление.

Мститель, мало ему, что не дал соединиться мне с милым.

Конечно, я признаю: сама слаба. Уже говорила об этом. Вот есть люди — они как бы с широкой пуповиной к источнику сил, такую трудно пережать. Жизнь их полна и в пустыне. А у меня сужение сосудов духа, вот такая болезнь. Спросите меня, чего я жила с ним, супостатом моим, что меня держало? А знаменитый наш лентяйский «авось». Авось завтра будет лучше, вот ведь в пятницу же было ничего...

Перемен боялась. И никуда не уехала. Город ваш не люблю к тому же, не обижайтесь. Ну, если вспомнить бессмертный дяди Колин «квадрат расстояния»... Человек носит вокруг себя, как Земля оболочку атмосферы, этакую зону своей силы, которую не надо бы ему стеснять, ей простор нужен, как у нас в деревне: идешь, твой «квадрат расстояния» располагается, как ему удобно. А в городе с этим «квадратом» считаться не приходится, на него и места не отведено. Идешь ли по улице — в тесноте, влезешь ли в трамвай — бедный тот «квадрат» измят, изувечен — и инфаркт у человека. Мне кажется, в городе я даже как бы слышу писк раздавленных этих «квадратов».

А у нас тихо.

Вот и терпела своего супостата.

Кстати, что интересно — дядя Коля Бутько не болеет. В нем этот неистовый дух кипит, ну теоретический-то, дядя Коля на него все внимание, а себя не помнит. «Дядя Коля, как здоровье?» Обижается. «Болеет, — отвечает, — глупо». И знаете, у него — легкий шаг...

А я тут невзначай поглядела на свою детскую фотокарточку — глаза густые, как нефть, полные через край. А теперь что? Глаза мелеют с годами, как реки. Такая вот моя экология.

Ну и вот. А потом случилось со мной вот что. Темно было в автобусе, возраст не особенно-то различишь. Глаза блестят (остаточно) — и ладно. В чужом краю ночной автобус между городами. И вошел юноша, сел рядом. Он был без вещей, с одной только трудовой книжкой, которую, усевшись, он открыл, прочитал запись о своем увольнении по собственному желанию, упрятал в карман и посмотрел во-

круг победным взглядом человека, совершившего решительный поступок. И я увидела, что его трудовая книжка очень быстро кончится, такой в его лице таился запас потенциальной решимости. Автобус поехал, спинка моего кресла не откидывалась, он мне предложил поменяться — я не принимала дар, и тогда он великодушно ушел куда-то назад, на пустые места, чтобы я могла бесплатно, не одалживаясь у него, занять его кресло. Такой вот чуткий человек. Потом на остановке он выходил покурить, а возвращаясь, запечатлел в моем сердце серьезный, бережный взгляд. И снова автобус долго ехал в ночи, сырые пригнетенные светились изредка деревни в снегах, пассажиры все спали под монотонный гуд, и только два освободившихся зэка позади меня ненасытно беседовали вполголоса — о воле, о конвое, о консервах в томатном соусе, которые прозывались у них «красной рыбой», о лесоповале и о нраве своих машин. Один из них, как я поняла, восстановил списанный трактор, и этот трактор исправно работал, а потом все-таки погиб. Он с болью говорил, он любил этот трактор, ведь и в заключении он не мог перестать быть человеком, а значит, должен был что-то любить. Я полудремала, потом юноша мой прошел в темном автобусе к шоферу, заслонив собой вид дороги; шофер загодя сбавил скорость, включил внутри маленький свет и выпустил юношу наружу — навсегда, в темную пустыню зимы, у своротка, где торчал указатель в сторону невидимой деревни. Минуя мое окно, юноша поднял глаза и отправил прямехонько в меня протяжный луч своего прощального взгляда, потратив на него ох немало силы сердца. Автобус тронулся, свет погас, все продолжали спать в темноте, а я разволновалась не на шутку, этот его взгляд — он его исторг из себя и отправил, не поскупился, в безвозвратную тьму, без отдачи, вы понимаете, это как в холодный космос запустить без возврата радиосигнал, потратив на него мощность целой электростанции; даром, понимаете — да он, может, печалился по моей юности, утраченной для него, упущенной, это он через меня передавал моей недостижимой юности привет любви, щедрый человек; этот бесценный взгляд, голдному кусок; он поделился со мной чистым жаром, это похоже на то, как до появления спичек хранили и передавали друг другу огонь — и у меня появилось то, чего не было: я согрелась, я заволновалась — и дух возвратился в меня.

И тогда я поняла, в чем исполняется любовь людей.

И знаете, что потом? Потом я вдруг обнаружила, что мой покойник оставил меня в покое. И я забыла и отпустила ему все мое горе.

Это что же, одного взгляда любви чужого юноши хватило, чтоб отогнать моего преследователя? Выходит так?

Потом ушли мои болезни. То есть однажды я хватилась их — а их нет и в помине. Ну, не хотите — не верьте. Я живу, мир полон беспокойства, я слышу вечный ветер в себе, вы понимаете? — и походка моя легка.

А юноша этот чужой и не знает, что он сделал для меня.

Но зато я теперь знаю, что делать. И иногда ночью, когда не сплю, я собираю в один пучок всю свою любовь, всю неизрасходованную ее силу и засылаю этот луч в ту точку, которую держит на прицеле моя память, моя мысль — к милому юности моей.

Э-э-э-эй!..

Теперь это не зов, обратное зову.

И где-то там, не знаю где — да и неважно, — он проснется утром, полный счастья и сил.





Амазонка не только мать,
но и отец

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. Татьяна Никитична Толстая родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет ЛГУ. Работала в главной редакции восточной литературы издательства «Наука». Впервые опубликовалась в 1983 году в журнале «Аврора». Автор книги «На золотом крыльце сидели». Член СП СССР. Живет в Москве.

МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ: «Любимый цвет — фиолетовый. Любимый писатель — А. Введенский. Любимый месяц — октябрь. Любимый художник — Пауль Клее. Любимая мелодия: па-па-Ба, па-па-Ба, па-ба-па-Па! Любимый способ зарабатывания денег — экранизация своих и чужих сказок. Любимый день — Прощёное воскресенье. Любимый герой — Ежик-в-тумане. Любимые строки:

«А потом я понял, что я и есть мир.
Но мир это не я.
Хотя, в то же время, я мир.
А мир не я.
А я мир».

Татьяна Толстая

НОЧЬ

Утром Мамочка Алексея Петровича громко, громко зевает: ура, вперед, новое утро прыщует в окно; кактусы блестят, трепещет занавеска; захлопнулись ворота ночного царства; драконы, грибы и страшные карлики снова провалились под землю, жизнь торжествует, герольды трубят: новый день! новый день! ту-ру-ру-у-у-у!

Мамочка быстро-быстро чешет руками лысеющую голову, скидывает синеватые ноги с высокого спального поста-мента — пусть повисят, подумают: каково им весь день таскать сто тридцать пять килограммов, накопленные Мамочкой за восемьдесят лет?

Алексей Петрович раскрыл глазки: тихо стекает с тела сон; забывается, улетает во мрак последний ворон; ночные гости, собрав свой призрачный, двусмысленный реквизит, прервали пьесу до следующего раза. Сквознячок сладко овеивает лысину Алексея Петровича, отросшая щетина покалывает ладошку. Не пора ли вставать? Мамочка распорядится. Мамочка такая громкая, большая, просторная, а Алексей Петрович маленький. Мамочка знает, может, всюду пройдет. Мамочка всевластна. Как она скажет, так и будет. А он — поздний ребенок, маленький комочек, оплошность природы, обсевок, обмылок, плевел, шелуха, предназначавшаяся к сожжению и случайно затесавшаяся среди своих здоровых собратьев, когда Сеятель щедро разбрасывал по земле полнокровные зерна жизни.

Уже можно встать или рано? Не пищи. Мамочка совершает утренний обряд: трубит в носовой платок, натягивает на колонны ног цепляющиеся чулки, закрепляет их под распухшими коленями колечками белых резинок. На чудовищную грудь водружает полотняный каркас о пятнадцати пуговках; застегивать их сзади, наверно, неудобно. В Мамочкином зените утвердится седой шиньончик; из чистого ночного стакана порхнут, отряхиваясь, освеженные зубы. Мамочкин фасад укроется под белой, с каннелюрами, манишкой, и, скрывая спинные тесемки, изнанки, тылы, служебные лестницы, запасные выходы, все величественное здание накроет плотный синий кожух. Дворец воздвигнут.

Все хорошо, что ты делаешь, Мамочка. Все правильно.

В квартире уже проснулись, закопошились, заговорили все Мужчины и Женщины. Хлопают дверьми, бурлят водой, дребезжат за стеной. Утренний корабль сошел со стапелей, разрезает голубую воду, паруса наполняются ветром, нарядные путешественники, смеясь, переговариваются на палубе. Какие земли впереди? Мамочка — у руля, Мамочка — на капитанском мостике, Мамочка на верхушке мачты вглядывается в сияющую рябь.

— Алексей, вставай! Бриться, чистить зубы, вымыть уши! Чистое полотенце возьми. Крышечку у пасты завинчивай! Воду спусти, не забудь. И ни к чему там не прикасайся, слышишь?

Хорошо, хорошо, Мамочка. Вот как ты все правильно говоришь. Как все сразу понятно, как распахнулись горизонты, как надежно плавание с опытным лоцманом! Развернуты цветные старинные карты, маршрут прочерчен красным пунктиром, все опасности обозначены яркими, понятными картинками: вот тут грозный лев, а на этом берегу — носорог; здесь кит выпускает игрушечный фонтанчик, а вон там — опаснейшая, глазастая, хвостатая Морская Девушка, скользкая, зловредная и заманчивая.

Сейчас Алексей Петрович умоется, приведет себя в порядок; Мамочка сходит проверить, не напачкал ли там, а то опять соседи заругают; а потом и кушинькать! Что там сегодня Мамочка приготовила? В ванную надо пробираться через кухню. Старухи ворчат у горячих плит, варят яд в ковшиках, подкладывают корни страшных трав, плохими взглядами провожают Алексея Петровича. Мамочка! Пусть они меня не обижают.

Немножко набрызгал на пол. Ой.

В коридоре уже толпа: Мужчины и Женщины уходят, шумят, проверяют ключи, кошельки.

Угловая дверь с матовыми стеклами распахнута: на пороге стоит наглая Морская Девушка, ухмыляется, подмигивает Алексею Петровичу; вся набекрень; пыхает Табаком, высунула Ногу, расставила сети — не хочешь ли попасться, а? Но Мамочка спасет, она уже несется локомотивом, стучит красными колесами, гудит: прочь с дороги!

— Бесстыжая морда! Уйди, говорю! Мало тебе... еще к больному человеку!

— Га-га-га! — не боится Морская Девушка.

Шмыг — в комнату. Спасся. Фу-у-ух... Женщины — очень страшно. Зачем они — неясно, но очень беспокойно. Мимо идут — пахнут так... и у них — Ноги. На улице их очень много, и в каждом доме, и в том, и в том, и в этом, за каждой дверью, притаились, что-то делают, нагибаются, копаются, хихикают в кулак; знают, да не скажут Алексею Петровичу. Вот он сядет за стол и будет думать про Женщин. Однажды Мамочка взяла его с собой за город,

на пляж; там их было много. Была там одна такая... волнистая такая фея... как собачка... понравилась Алексею Петровичу. Он близко подошел и стал смотреть.

«Ну, чего не видел? — крикнула Фея. — Отзынь отсюда, debil!»

Мамочка вошла с кипящей кастрюлькой. Заглянул. Там розовые пипочки сосисок. Обрадовался. Мамочка накладывает, двигает, вытирает. Ножик вырывается из пальцев, чиркает куда-то вбок, в клеенку.

— В руку, в руку сосиску возьми!

Ах, Мамочка, путеводная звезда! Золотая! Все ты устроишь, мудрая, распутаешь все клубки! Все закоулки, все лабиринты непонятного, непроходимого мира обрушишь мощной рукой, сметешь переборки — вот ровная, утрамбованная площадка! Смело делай еще один шаг! А дальше — снова бурелом.

У Алексея Петровича свой мир — в голове, настоящий. Там все можно. А этот, снаружи, — дурной, неправильный. И очень трудно запомнить, что хорошо, а что плохо. Они тут условились, договорились, написали. Правила, ужасно сложные. Выучили, у них память хорошая. А ему трудно жить по чужим Правилам.

Мамочка налила кофе. У кофе есть Запах. Попьешь, и он переходит на тебя. Почему нельзя вытянуть губы трубочкой, глаза скосить в рот и нюхать самого себя? Пусть Мамочка отвернется!

— Алексей, веди себя прилично!

После завтрака расчистили стол, поставили клей, картон, положили ножницы, обвязали Алексея Петровича салфеткой: он будет клеить коробочки. Сто штук сделает — отнесут в аптеку. Денежку получают. Алексей Петрович очень любит эти коробочки, жалко с ними расставаться. Он хочет незаметно спрятать, оставить себе хоть немножко, но Мамочка зорко смотрит и отбирает.

А потом чужие люди уносят их из аптеки, едят из них белые шарики, а коробочки рвут и выбрасывают! Бросают прямо в урну, да что там — у них в квартире, на кухне, в мусорном ведре он видел растерзанную, изгаженную коробочку с окурком внутри! Страшный черный гнев переполняет тогда Алексея Петровича, он сверкает глазами, брызжет слюной, забывает слова, огненные пятна прыгают перед взором, он может задушить, разорвать в клочья! Кто это сделал?! Кто посмел это сделать?! Выходи, а ну! Засучивает рукава: где он?! Мамочка бежит, успокаивает, уводит разъяренного Алексея Петровича, отбирает нож, вырывает молоток из его судорожно скрюченных пальцев. Мужчины и Женщины тогда боятся и тихо сидят, забившись в свои комнаты.

Солнце передвинулось в другое окно. Алексей Петро-

вич закончил работу. Мамочка заснула в кресле, всхрапывает, булькает щеками, свистит: п-щ-щ-щ-щ... Алексей Петрович тихо-тихо берет две коробочки, осторо-ожно, на цы-ыпочках, тупу-тупу-тупочки — идет к кровати, аккуратно кладет под подушку. Ночью достанет и понюхает. Как пахнет клей! Мягко, кисло, глухо, как буква «ф».

Мамочка проснулась, пора гулять. Вниз по лестнице, но только не в лифте — нельзя запирать в лифте Алексея Петровича: он забьется, завизжит зайчиком; как вы не понимаете — тянут, тянут за ноги, утаскивают вниз!

Мамочка плывет вперед, раскланивается со знакомыми. Сегодня относим коробочки: неприятно. Алексей Петрович нарочно зацепляет ногу за ногу: не хочет идти в аптеку.

— Алексей, убери язык!

Заря упала за высокие дома. Золотые стекла горят под самой кровлей. Там живут особенные люди, не такие, как мы: белыми голубыми летают они, перепархивая с балкона на балкон. Гладкая перистая грудка, человекье лицо — если сядет такая птица на ваши перильца, склонит головку, заворкует, — заглядишься в ее глаза, забудешь человеческий язык, сам защелкаешь по-птичь, запрыгаешь мохнатыми ножками по чугунной жердочке.

Под горизонтом, под земной тарелкой заворочались исполинские колеса, наматываются чудовищные ременные приводы, зубчатые колеса тянут солнце вниз, а луну вверх. День устал, сложил белые крылья, летит на запад, большой, в просторных одеждах, машет рукавом, выпускает звезды, благословляет идущих по остывающей земле: до встречи, до встречи, завтра снова приду.

На углу торгуют мороженым. Очень хочется мороженого! Мужчины и Женщины — но особенно Женщины — суют в квадратное окошечко денежку и получают морозный хрустящий бокальчик. Смеются; бросают на землю, налепляют на стену круглые липкие бумажки, разевают рты, облизывают красными языками сладкий игольчатый холодок.

— Мамочка, мороженое!

— Тебе нельзя. У тебя горло простуженное.

Нельзя так нельзя. Но очень, очень хочется! Ужас, как хочется! Если бы иметь такую денежку, как у других Мужчин и Женщин, серебряную, блестящую; или желтенькую бумажку, пахнущую хлебом, — их тоже берут в квадратном окошке! Ой, ой, ой, как хочется, им все можно, им всем дают!

— Алексей! Не верти головой!

Мамочка лучше знает. Буду слушать Мамочку. Только она знает верную тропку через дебри мира. Но если бы Мамочка отвернулась... Пушкинская площадь.

— Мамочка, Пушкин — писатель?

— Писатель.

— Я тоже буду писателем.

— Обязательно будешь. Захочешь — и будешь.

А почему бы нет? Захочет — и будет. Возьмет бумажку, карандаш и будет писателем. Все, решено! Он будет писателем. Это хорошо.

Вечерами Мамочка садится в просторное кресло, спускает на нос очки и густо читает:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

Ужасно это нравится Алексею Петровичу! Он широко смеется, обнажая желтые зубы, радуется, топает ногой.

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя!

Так вот слова до конца дойдут — и назад поворачивают, снова дойдут — и снова поворачивают.

Буря, глою, небак, роет.
Вихрь, нежны, екру, тя!
Токаг, зверя, наза, воет,
Тоза, плачет, кагди, тя!

Очень хорошо! Вот так она завоет: у-у-у-у!

— Тише, тише, Алексей, успокойся!

Небо все засыпано звездами. Они знакомы Алексею Петровичу: маленькие сияющие бисеринки, сами по себе висающие в черной пустоте. Когда Алексей Петрович лежит в постели и хочет заснуть, ноги у него сами начинают расти вниз, вниз, а голова — вверх, вверх, до черного купола, всё вверх, и раскачивается как верхушка дерева в грозу, а звезды песком скребутся о его череп. А второй Алексей Петрович, внутри, всё съезживается, съезживается, сжимается, пропадает в маковое зернышко, в острый кончик иглы, в микробчика, в ничто, и, если его не остановить, он совсем туда уйдет. Но внешний, гигантский Алексей Петрович корабельной сосной раскачивается, растет, чиркает лысиной по ночному куполу, не пускает маленького уйти в точку. И эти два Алексея Петровича — одно и то же. И это понятно, это правильно.

Дома Мамочка раздевается, разрушает свой дневной корпус, надевает красный халат, становится проще, теплее, понятней. Алексей Петрович хочет к Мамочке на ручки! Глупости какие! Мамочка уходит на кухню. Что-то ее долго нет. Алексей Петрович проверил, на месте ли корбочки,

понюхал клеенку, рискнул — вышел в коридор. Угловая дверь, где по ночам хихикают гости Морской Девушки, открыта. Видна белая кровать. Где же Мамочка? Может быть, там? Алексей Петрович осторожно заглядывает в щелочку. Никого. Может быть, Мамочка спряталась за шкафом? Войти? Комната пуста. На столе у Морской Девушки — открытые консервы, хлеб, надкусанный огурец. И еще — желтая бумажка и серебряные кругляши. Деньги! Взять деньги, кинуться вниз по темной лестнице, в лабиринты улиц, разыскать квадратное окошечко, там дадут сладкий холодный стаканчик!

Алексей Петрович хватается, звякает, опрокидывает, бежит, хлопает дверью, шумно, торопливо дышит, спотыкается. Улица. Мрак. Куда идти? Туда? Или сюда? Что у него в кулаке? Деньги! Чужие деньги! Деньги просвечивают сквозь волосатый кулак. Сунуть руку в карман. Нет, все равно просвечивают. Чужие деньги! Он взял чужие деньги!» Прохожие оборачиваются, шепчут друг другу: «Он взял чужие деньги!» Люди прильнули к окнам, толкают друг друга: пустите посмотреть! Где он? Вон там! У него деньги! А-а, ты взял?! Алексей Петрович бежит во тьму. Чвак, чвак, чвак — монеты в кармане. Весь город высыпал на улицу. Ставни распахиваются. Из каждого окна тычут руки, сверкают глаза, высовываются длинные красные языки: «Он взял деньги!» Спускайте собак! Ревут пожарные машины, разматываются шланги: где он? Вон там! За ним! Мечется обезумевший Алексей Петрович! Бросить их, отдрать от рук, прочь, прочь, вот их, вот! Ногой! Ногой! Расс-топпп-татттть! Вот так... Все... Не дышат. Замолчали. Потухли. Вытер лицо. Так. Куда теперь? Ночь. Пахнет. Где Мамочка? Ночь. В подворотнях черными шеренгами стоят волки: ждут. Пойду задом наперед. Обману. Хорошо. Душно. Расстегну. Все расстегну. Хорошо. Теперь? Прошли Женщины с Ногами. Обернулись. Фыркнули. Ах, так?! Что-о-о? Меня?! Я — волк! Я иду задом наперед!!! Ага, испугались? Сейчас догоню, накинусь, посмотрим, что у вас за Ноги такие! Бросился. Крик. А-а-а-а! Удар. Не бейте! Удар. Мужчины пахнут Табаком, бьют в живот, в зубы! Не надо!.. Плюнь, брось его — видишь... Пошли.

Алексей Петрович привалился к водосточной трубе, плюет черным, скулит. Маленький, маленький, одинокий, заблудился на улице, по ошибке пришел ты в этот мир. Уходи отсюда, он не для тебя! Громким лаем плачет Алексей Петрович, подняв к звездам изуродованное лицо.

Мамочка, Мамочка, где ты? Мамочка, черен путь, молчат голоса, в глухое болото ведут тропинки! Мамочка, плачет, умирает твое дитя, единственное, ненаглядное, долгожданное, выстраданное!..

Мамочка бежит, Мамочка задыхается, протягивает руки,

кричит, хватает, прижимает к груди, ощупывает, целует. Мамочка рыдает — нашла, нашла!

Мамочка ведет под уздцы Алексея Петровича в теплую нору, в мягкое гнездо, под белое крыло.

Умыто распухшее лицо. Алексей Петрович всхлипывает за столом, обвязанный салфеткой.

— Хочешь яичко всмятку? Всмятку, жидкое такое?

Алексей Петрович кивает головой: да, хочу. Тикают ходики. Покой. Вкусное горячее молоко, мягкое, как буква «н». Что-то просветляется в голове. Да! Он же хотел...

— Мамочка, дай бумагу и карандаш! Скорее! Я буду писателем!

— Господи! Горе мое! Да куда тебе... Ну, не плачь, успокойся, дам; погоди, высморкаться надо.

Белая бумага, острый карандаш. Скорей, скорей, пока не забыл! Он все знает, он понял мир, понял Правила, постиг тайную связь событий, постиг законы сцепления миллионов обрывков разрозненных вещей! Молния озаряет мозг Алексея Петровича! Он беспокоится, ворчит, хватается лист, отодвигает локтем стаканы и, сам изумленный своим радостным обновлением, торопливо, крупными буквами записывает только что обретенную истину: «Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь».

Марина Вишневецкая

НАЧАЛО

Был человек и — нет человека.

Точно пословицей, сорим мы этой фразой, даже подумать не успевая, что смысл ее скрыт не в словах, а в тире между них. В маленьком тире, которым мы единым махом, а жизнь не сразу — миг за мигом — вычеркивает собственные имена. При нашем злостном попустительстве!

Но до этого А. И. Голенец додумался с преступным опозданием, а относительно начала нашего рассказа — почти что год спустя, когда мамаша его, В. К. Голенец-Тимошкина, уже навсегда исчезла из видимого мира.

Пока же, в начале этой истории, Альберт Иванович пребывал в счастливом и непростительном неведении. То есть мамаша его, прежде на две головы над ним возвышавшаяся, теперь на цыпочки приподнималась, чтоб его за шиворот ухватить, а он и в ус не дул — весь новым заказом околдован.

Что правда, то правда: заказов таких А. И. отродясь не получал — для областного академического театра в оперу Верди «Отелло». Но только плохие дети тем и плохи, что непременно себе оправдание отыщут.

Оправдания же для А. И. не было — не было, и взяться оно ниоткуда не могло.

I

А природа в ту весну не встала — буквально вскочила на ноги. И людям тоже пришлось подхватиться, забегать. Казалось, один только скрипучий велосипед Альберта Ивановича не прибавил поселку скорости и суеты. Даже плавная, будто струйка киселя, Таисья, мимо палисада которой А. И. ехал, конечно, уже без прежней оторопи и тоски, однако — делая немалый круг — каждый день все-таки ехал, Таисья и та клочкотала среди грядок вертким родничком.

А о мамаше и говорить нечего. И раньше всякую весну в ней просыпался неудержимый инстинкт продолжения рода и вида репчатых, зернобобовых и особенно пасленовых культур. Теперь же, когда рассада на балконе уже друг друга глушить принялась, а земля только-только очнулась и при-

грелась, удержу мамаше не стало никакого. «Ехай» с ней на участок да «ехай».

Альберт же Иванович любил весну издалека: чтоб за плечами — пресса и прочая ожидаемая корреспонденция, чтоб под ногами — педали, а за штaketником — сады насквозь в цвету, точно застывший фейерверк, точно сфотографированный на долгую память праздник.

(То-то и оно, что на долгую память! Да кто же знал, кто такое помыслить мог?!)

А еще лучше — чтобы вокруг — чуть оперившийся лесок, а в руках — свирелька недостроенная. Птицы не то, что соседи: птицы не обижались на пронзительность нот. Один только дятел — ну что тебе тетя Дуся из-за стенки: тук-тук-тук — буквально из себя выходил. А А. И. ему скажет бывало:

— Дуся ты, дуся! — и расхохочется, и оттого еще бестревожней на сердце станет.

(И это в последнюю-то мамашину весну! Да кто же знал? Кто пусть в страшном сне такое привидеть мог?)

По выходным мамаша на него обижалась вдвойне:

— Я все же не ломовая лошадь. А и лошади отдых положен.

Но А. И. всякий раз, с постыдной бестрепетностью упершись в стол, тряс на это пухлыми щеками:

— Сегодня — без меня, мамаша. Сегодня без меня!

Вот и в тот четверг, даже, пожалуй, в тот самый миг, когда Ирина Олеговна храбро нырнула длинным каблучком в мягкую грязь их автостанции, а он еще знать не знал, что особенная эта женщина есть на свете, но все-таки в стол уперся, лоб насупил:

— Я художник, мамаша. Художник! Меня вдохновения посещают!

— Вот беда: папка пил, а дитя в ответе.

— Если вы меня опять придурком обзывать станете!..

— А не обзову — поумнеешь, что ли?

— Вам картошка лучше сына, — упрекнул и устыдился тут же.

— Нехристь, турок! Я ее для кого сажаю? — И жалейку начатую со стола — хвать. — Ну? Теперь чем отговариваться станешь?

Конечно, обидно ей: первый он у нее, болезненный, трудный. До трех с половиной молчком молчал — извелась по бездорожью к докторам ездить. А потом младшенькие пошли — от нового мужа, — злющие. Пихаются, щиплют — радостно им, что он мягонький и тихий. Бывало, всякий свободный миг мамаша через пустырь домой мчит: Мишку за чуб оттащит, Светку за косу (а случалось, и подружек Светка называет: одни щекочут, а другие штаны вниз тащат —

бесстыжие), обнимет его, прижмет: «Альбешечка моя, балбешечка», — и с собой уведет в контору.

Конечно, теперь ей обидно стало — до крика, до духоты:

— Нет у меня сына! Одна под забором издыхать буду. Давите, топчите — некому заступиться! — И кофту распахнула, и в потолок жалобно стала смотреть, будто она в самом деле под забором уже, а над нею — «Жигули» да «БелАЗы».

— Мамаша... — и голос дрогнул вдруг.

И что всего-то постыдней — ведь и сам бы сказать не мог: так ли уж потрясла его изображенная картина или же наперед знал: вмиг оттает мамаша — стоит ему только слезу пустить.

Так и вышло.

— Дармоед! — Но это она уже просто сказала, чтобы последняя точка за ней осталась, Чукчу ногой отпихнула и к двери пошла — в резиновые сапоги обуваться.

— Жалейку-то! Жалейку отдайте!

Вот так и начался тот четверг. И звонок, хотя давил на него ломкий пальчик Ирины Олеговны, рывкнул необычному грубо. А. И. решил даже, что это соседка пришла — Дуся, сказать, что у нее мигрень и что она спать ложится. Потому и дверь распахнул для храбрости резко... А на пороге — молодая дама! И кажется, не меньше его напуганная: точно гвоздь, под своею шляпкою напряглась и ресницами хлопает. Но больше всего в тот первый миг изумили А. И. запахи: хоть и фальшивые, парфюмерные, а только без лишней настырности, как в мамашиной «Красной Москве». И что необъяснимо — волнами идут, как в природе, не смешиваясь. На цыпочки встал — белая сирень, чуть колени согнул — жасмин, натуральный жасмин!

— Странно вы меня встречаете, — не обиделась, улыбнулась гостя.

А изо рта — душистый апельсин!

— Вы, наверно, из хора пенсионеров, к мамаше, — догадался Альберт Иванович. — Прогульщица она у вас. Это я так шучу. Картошку сажать побежала. Только если она вам другое сочинит — вы меня не выдавайте! — И он зашелся тоненьким неостановимым смехом. С ним часто такое бывало от смущения: и рад бы примолкнуть, а горло сотрясается само.

— Мне нужен Голенец. Мастер по народным инструментам, — женщина не выдержала такого веселого напора и тоже улыбнулась, но сквозь осторожность и испуг. — Сколько же мне лет, по-вашему, если я на хор пенсионеров тяну? — И в зеркало заглянула, и, в нем под шляпкой знакомое и молодое лицо увидев, приободрилась.

— А урожденный Голенец стоит перед вами. Или вы

другого себе в уме сочинили — культурного, в халате махровом?

И так она вся покраснела — до ушей, будто в самую точку он попал.

— А у меня наследственность отягощенная, но отпечаталась исключительно на лице. А мозг не затронут! Я пока на инструментах не помешался, по две книжки в день читал!

— А я из города к вам, из оперного театра, — и, сумочку под другую мышку переложив, невесомую руку ему протянула. — Ирина. Завпост. Альфред Иванович, у вас со временем сейчас как?

Мамаша, с участка вернувшись, ни в какую верить не хотела: «Волянка, говорит, русский народный инструмент, а «Отелло» — английско-негритянская трагедия!» Из одной деликатности не ответил он ей: «Как же можно в хоре петь, культуру людям нести и не знать, что композитор Верди уважал волянку как общенациональный инструмент, который, между прочим, даже далекие шотландцы считают исконно своим?»

Не сказал, промолчал. Стоял и видел, как раздвигается занавес, золотую парчой расшитый, как тесно на просторной сцене от разодетых в пестрые материи актеров, но взгляды всего зала прикованы не к чумазому, сажей разрисованному Отелло, не к парикам и прочим бутафорским хитростям. Нет, среди этого моря фальши зритель сразу отыщет истинную вещь — не для туфты, для работы сделанную. Сначала только по виду ее отличит — тоже праздничному, по неброскому, деловому. А уж после, густое и сочное ее меццо-сопрано заслышав, на мишуру театральную и смотреть не сможет, так и прилипнет глазами к тугим бокам мехов, к дудочкам лакированным и веселой морде козы. (Художник театральный прислал эскиз с козой. А сзади к мехам — это А. И. еще прежде в специальной книжке видел — он хвост с мохнатой кисточкой приделает. Чукчу к лету стричь будет — вот вам и кисточка!)

Кажется, он и Ирине Олеговне этого не сказал. Уж так разволновался, так раззадорился — потом вообще ничего толком вспомнить не мог: играл ли он ей на кугиклах или только на сопилке; свой закарпатский костюм, в котором он в клубе по праздникам выступает, демонстрировал весь или шапочку с перьями забыл надеть в суматохе; в ложбинку диванную ее усадил или же она на пружинах, бедняжка, мучилась; и какое варенье она больше хвалила — из шиповника или из арбузных корок; и какую травку для дочки ее он от простуды передал — медуницу или первоцвет.

Очень мамаша потом сердилась: думала, что это он ей назло ничего не запомнил. И хотя на самом деле кое-что

в памяти очень даже ярко запечатлелось, именно об этом рассказывать мамаше было никак нельзя. Запрещала мамаша Чукчино пение, говорила, приметя это плохая — покойнику быть. А Ирина Олеговна, наоборот, смеялась и в ладоши хлопала. И еще долго потом у А. И. стоял в ушах ее мягкий хохоток. Ведь в самом деле удивительная была собачка: на каком инструменте ни заиграй, пусть и на губной гармошке, главное — чтоб проникновенное что-нибудь — Чукча хоть с улицы прибежит. У ног усядется, вся подберется, паузу выдержит и вдруг головку откиннет: шея худенькая дугой, глаза не видят ничего, подбородок дерг-дерг... и в тот самый миг, когда человечья печаль уже на последнем гребне, свое протяжное «а-уув» в помощь, в сочувствие человеку шлет. И уже стихнет инструмент, а она все воет, страдает и не сразу затихнет наконец. Но глаза еще долго куда-то внутрь глядят, походка шаткая, отрешенная — непременно потом уйти ей надо, в чулане отсидеться.

Ирина Олеговна перед самым прощанием туда к ней пошла, на корточках рядом присела:

— А может быть, в прежней жизни ты была неудавшейся каскадной певичкой? — И лицо вдруг тихое-тихое сделала, как у Чукчи.

В часы первого смятенья, когда новая работа еще ускользала от зрения и ума, когда неостановимое предчувствие будущих совершенств не утешало, а, напротив, безжалостно било по нервам, А. И. мог день до вечера тупо слоняться по углам, часто и жадно обедать, а то еще забраться под теплый душ и тихо всхлипывать от наплыва бессмысленных переживаний. После чего он вообще переставал различать дозволенное и невозможное. Поэтому, должно быть, и в тот четверг, выйдя из ванной в самый разгар хоккейной баталии, он взял и заслонил собою телевизионный экран, намереваясь чмокнуть мамашу в седую прядку. А когда она отпихнула его (несильно, не как бывало — откуда ей было теперь силы взять? — а он и опять не заметил ничего!), в кухню пошел. И потому ли, что свет зажигать не хотелось, «Темную ночь» на жалейке затянул. Конечно, Чукча следом прицокала. И в том месте, где на словах про детскую кроватку говорится, к ногам теплым тельцем прижалась:

— А-ау-ав!

А мамаша как закричит:

— Рано! Рано отпевае! — И ярким светом их, как водою, облила. — Потерпите. Теперь недолго.

— Любите же вы, мамаша, сердце рвать.

— Собака хоть на столе жить будет — блох выкусывать. Неужели плохо?

— Похоже, гол там забили — свистят.

— Скоро искать, звать будешь — да поздно!

Чукча, уже было смолкнувшая, вдруг всхлипнула еще разок, хвост в ноги вжала — в чулан пошла.

— Думаешь, и тебе без меня хорошо будет? — Очень обиделась на ее уход мамаша. — Думаешь, он тебя накормит?

— Вы, мамаша, так всегда говорите.

— Ждать уже мочи нет?

— Это из чего вы взяли?

— Так если тебе собака лучше матери? Тебе дудки деревянные лучше матери!

— Неужели я прошлым летом своих чувств к вам не доказал?

— Это когда старуха припадочная тебя расписываться звала?

— Болезнь всякого настичь может. А по годам Таисья вас куда младше.

— А с чего ж это Колька ее с тобой в один класс ходил?

— Будто вы не знаете, какая с ней беда случилась на заре жизни?

— Одно знаю: переживет она меня!

— И такое случиться может.

— Ты за что же мать родную так не любишь?

— Зачем вы плачете?

— Был бы хоть кому нужен в целом свете!

— Никому я не нужен. Перестаньте, ма-а...

— А ты, дурак, зачем носом хлюпаешь?

— Мне вас вдруг жалко стало.

— С чего бы это?

— А вдруг я вас раньше умру — вас такую кто терпеть станет?

— От меня мужья не к другим уходили — бог прибирал.

— Я и говорю: вслед за ними кому охота?

— Мне! Мне, убийца! Родной матери убийца!

После, уже в с е г о после, каждое мамашино слово припомнил А. И. — будто в зеркало глядела. Но так нелепо человек устроен: пока не сбудется предсказанье — живешь, словно и не было его. А когда уже поздно исправить что-либо, когда делать уже нечего — только вспоминай и сопоставляй, — тут и начинаешь диву даваться: эх все наперед было ясно сказано!

Сразу как басовые трубки были готовы, Альберт Иванович, не дотерпев до выходного, взял отгул и поехал в город — насчет язычков советоваться. Если их пластмассовые ставить, как Ирина Олеговна велела, — это, конечно, на века. Но звук тогда скучный получится — мертвый звук. Лучше всего для язычка бузину брать. Однако живой ма-

териал подстройки требует — вот и выбирай между удобствами и искусством. То есть для себя выбор он, конечно, давно сделал и теперь искал слова, чтобы Ирину Олеговну сагитировать. А когда их нашел, еще полдня повторял и репетировал, потому что приехал он в театр утром, а Ирина Олеговна, сказали, только после обеда будет. И как раз тот самый мужчина сказал, который больше всех ему был нужен — главный дирижер Григорий Львович. Но это не сразу, это уже к вечеру ближе выяснилось, когда Ирина Олеговна пришла, а Григорий Львович ушел — отдохнуть перед спектаклем. И тогда они за ним следом на трамвае бросились.

Опасаясь опять ничего не запомнить и вернуться к машине ни с чем, А. И. старался не на Ирину Олеговну смотреть, а за окошко или же на других пассажиров: на девушку в толстой, будто насосом накачанной куртке, долизывающую палочку от эскимо, на голубеньких попугайчиков в клетке у мальчика на коленях, на товарища майора, у компостера стоящего и всем-всем безотказно пробивающего талоны... Но стоило трамваю дернуться, как запахи жасмина и белой сирени вновь накрывали с головой. И, упрямо не поворачивая короткой шеи, он все-таки косился в ее глаза: они в городе почему-то стали светлее, словно в крепкий чай лимона выдавили.

Когда А. И. об этом ей с удивленьем сказал, она улыбнулась:

— А сколько вам лет, если не секрет?

— Опять дурачком показался!

— Нет! Арнольд Иванович, нет!

— Альберт Иванович! — И он снова зашелся звонким неостановимым смехом, но тут за окном вывеска показалась «1000 мелочей», и, схватив Ирину Олеговну за руку, он бросился к задней двери, так что она уже в магазине опомнилась:

— А как вы догадались, что мне нужен порошок?

Взрослая женщина, а точно ребенок!

Надфилей с мелкой насечкой не оказалось, зато тисочков миниатюрных — никак их найти не ожидал — на радостях две пары купил. Но чтоб мамашу транжирством не огорчать, пока на почте решил их припрятать.

Когда уже к двери подходили, спохватился:

— Стойте! А дихлофос? Я вам не показывал, как Чукча тараканов ловит? Отдельный номер!

— Вы не обижайтесь, но у Григория Львовича вы лучше ни о чем таком не говорите. По делу спросим и уйдем, ладно?

— Он что у вас — в эмпиреях летает?

— Не летает, а витает. Идите платить.

В трамвай садиться не стали — пешком оставшуюся ос-

тановку пошли, вместе с другими прохожими, деревьями и машинами в витринах отражаясь. Вот такая это была улица — витрины рекой. И всё, буквально всё за ними есть! А чувства — противоречивые: и радость и стыд — перед теми, кто бедствует на других континентах.

— А вы, Ирина Олеговна, не забыли, что такое эмпирей? — вдруг вспомнилось и досадно стало.

— Эмпирей? Наверно, что-то эмпирическое, конкретное...

— Самую высокую часть неба древние греки, по недомыслию, населяли богами. Вот там, в эмпиреях, боги греческие, если хотите — витали, а если хотите — летали.

И до самых дирижеровых дверей — двойных, дубовых — он ей свою любимую книгу из «Энеиды» читал — шестую: только не про эмпирей, а наоборот — про глубь преисподней. С тех пор как Мишка со Светкой ночью под ним матрас подожгли, память у него уникальная сделалась: два раза прочтет — и все запомнил. Ему это нисколько не трудно было, а люди вокруг поражались и ахали.

— Что ж, и об этом скажу, без ответа тебя не оставлю, — Начал родитель Анхиз и все рассказал по порядку. — Землю, небесную твердь и просторы водной равнины, Лунный блистающий шар и Титана светоч, и звезды, — Все питает душа и дух, по членам разлитый, Движет весь мир, пронизав его необъятное тело...

Обидно: как раз в этом месте страница в библиотечной книжке была вырвана, и что же дальше раскрыл покойный родитель Энею — самое-то главное — узнать Альберту Ивановичу не удалось. Будь подходящий момент — он у Ирины Олеговны бы спросил, но как раз в этом месте они уже из лифта вышли. И она, одною рукою шпильки в волосах пересчитывая, другою — в звонок звонить стала. А он бросился дерево выстукивать, потому что не поверил сначала, чтоб столько дуба зря ушло. Но с другой стороны и не жалко: дуб ведь в музыке бесполезен.

А Григорий Львович, будто желудь, на порожек выкатился — кругленький, в трусах, а на голове сетка. Очень А. И. понравилось, что главный дирижер их так запросто встречает. А когда он еще и запел «Ни сна, ни отдыха измученной душе» — чуть в ладоши не заплодировал. Ирина же Олеговна вся почему-то напряглась, чайники ресниц сблизил:

— Я не настаиваю на фрачной паре, но все-таки! Адольф Иванович приехал к вам из области!

— Погибло все: и честь моя и слава, — совсем опечалился дирижер.

— Нет! Нет! Меня не стесняйтесь. Мы с мамашей, когда самая жара, еще и не так!.. Вы только одобрение дайте:

язычки в волюнку из бузины бы, а? Я в том году замечательной бузины засушил!

— А что — я похож на миллионера? Я могу за свой счет держать настройщика? Для двух тактов — как?

— Я сам! Я же понимаю, опера — храм! А час на автобусе мне нетрудно!

— Бессмысленно, хотя и трогательно, — и Григорий Львович в знак уважения и прощания низко уронил плешивую, сеткой стянутую голову.

Не зная, что бы сделать приятного для такого известного, но все равно простого человека, А. И. вынул из авоськи аэрозоль с дихлофосом:

— Возьмите, я вас очень прошу — на память.

— Крайне признателен! И большой привет от меня вашей маме, которую, увы, не имею чести знать! — Прижав подарок к седой курчавой груди, дирижер еще раз поклонился и хлопнул дверью.

А. И. обернул к Ирине Олеговне свое рыхлое, обезображенное гримасой счастья лицо.

— Такой человек! Забудьте, — почему-то велела она.

— Такого человека?! Никогда! — поклялся он и с удивлением обнаружил, с какою ласковою усмешкой глядят его лицо ее глаза.

С этой минуты и до самого момента завершения работы вдохновение уже совсем не покидало А. И. Он и к Таисьиному палисаду перестал делать круг, и почти в том месяце разносил, все путая — домой спешил. Работал до рассвета. А по утрам видел кошмары и наваждения. Иной сон и начинался в бестревожных голубовато-желтоватых тонах, среди чудесных, сменяющих друг друга небесных явлений, но в конце концов он непременно оказывался на сцене — весь измазанный сажей. И тут-то выяснялось, что небесные явления — всего только декорации и что Отелло в антракте пропал, а потому весь зал и артисты смотрят на него в немом ожидании. И бежать некуда, а слов он не знал, но куда больше давил его страх не рассчитать сил и в самом деле задушить Дездемону. И тогда он бросался к волюнщику и начинал душить козу, а она все равно кричала тоненьким женским голоском. Кончался этот сон по-разному... В то незабвенное утро, когда А. И. проснулся на полу, разгневанные работники театра бросились на него, чтобы спасти волюнку. Каждый тянул инструмент на себя. Сначала лопнули меха, потом хрустнула игровая трубка... А потом он увидел над собой лицо мамы:

— Чего орешь?

Думал, она наклонилась к нему — нет. Думал, на колени встала — нет. Выходит, что же это она — во весь рост?

— Мамаша, я проснулся?

— Проснулся.

- А вы почему маленькая такая?
- Заметил-таки!
- Мамаша! В вас ведь и метра не будет!
- Ну, метр, положим, будет. Утром мерялась — метр двенадцать было.
- Мамаша, щипните меня! Нет, шилко вон лежит. Лучше шилком!
- Не ори. Без тебя тошно.
- Это что же — болезнь такая? Вы к врачу ходили?
- Метр сорок девять во мне еще было — пошла.
- Ну?!
- Врачиха-то новая. Месяц с меня анализы снимала — здоровье, говорит, как у молоденькой. А во мне к тому времени уж метр сорок осталось! Я говорю: неужели разницы не видите? А она говорит: если кажется всякое, могу к психиатру направление дать. Климакс — все бывает.
- И такое?! Такое тоже?
- Послал бог недоумка!
- Я вас просил, мамаша!
- Симптомов нет — выходит, и болезни нет! Против науки не попрешь.
- Мамаша, мне страшно!
- Сейчас — что? Вот, думаю, к осени...
- А что к осени? Не молчите — ну?
- Разнюнился, балбешечка. И на кого тебя оставлю?
- А вы не оставляйте.
- Сморкайся, — вдруг больно за нос схватила, туда-сюда помотала и обратно платок за пазуху сунула. — Теперь запоминай. Светка как смекнет, что нет меня — Дуська же ей напишет, что мамыши твоей давно не видеть, — сразу за кольцом бабкиным явится. Она сюда сколько лет носа не казала?
- Так с тех пор, как вы ее в раздевалке с физруком застукали.
- Ну, застукать не успела. А подозрений по сей день не сниму!
- Хороший был физрук. Хоть на протезе, а в волейбол с нами играл. Даже плакали некоторые, когда он увольнялся.
- Светке — шиш. Понял?
- Это нетрудно понять, а...
- За Светкой дядя твой явится. Мужик он глупый, нежадный, а жена — волчица. Все одно тебя облапошит. Так ты что ей отдашь — у дядьки в двойном размере обратно проси. И главное: на Таисьеке жениться не смей! Оттуда прокляну! Я с Кондратьевной договорилась.
- О чем?
- Она на тебя согласна.
- Беззубая ведь она.
- На меньше объест.
- И глухая!

— Очень надо ей слушать, как ты дудки с утра до ночи строишь! Чистенькая она и бездетная. Но сначала убедись, что меня уже точно нет — вовсе!

— А-а-а...

— Не вой! Все понял?

— Все-о!

Только тут припомнил А. И., что уж месяц скоро, как не выходит мамаша из дома. Еду ему покупать велит. А ему по пути — вот он и не заметил особо. Людям сказала говорить, что уехала к тетке в Кандалакшу и вдруг заболела тетка и не на кого ее сбить. Он и говорил, ему это тоже нетрудно было. А оказалось — вон что!

Вдоволь они в то утро поплакали. А уж Чукча, душа, всю рядышком наскулилась. И что особенно-то сердце рвало — мамаша теперь с нею и не спорила. Солнце уже до буфета добралось — зайчики из него в глаза запрыгали, а они так и сидели на половичке, в кучу сбившись. Будто полярники на льдине, будто необоримым течением их несло прочь от людей и спасения. И вдруг счастливая мысль в голову пришла! На колени А. И. усадил мамашу, к себе прижал:

— А ну дыхни на меня — ну! Была бы заразная у тебя болезнь, роднуля, дуся! — И чтоб гребенка не мешала по головке ее гладить, гребенку вынул и седые куделечки расчесывать стал: до того они нежные оказались — как у младенца. — Не прячь личико — дыхни! И я тоже маленьким сделаюсь. Летом с мальчишками мяч погоняю — ну, на прощание. А по осени заживем мы с тобой, как букашечки, на нашей гераньке. Зелено, солнце за окном. Ты да я — чего еще желать?

— А кинуться: пусто! И поселят чёрте кого! А жильцы гераньку с нами — и на помойку!

— Ой, мамаша, я и не подумал.

— Круглый ты...

— Вы опять!

— Сирота круглый!

— Мамаша! Не оставляйте меня! Лучшая, добрейшая в мире мамаша!

— Прежде надо было меня любить. Прежде!

Так и начали друг за другом сбываться прозорливые машины слова.

2

А только странная вещь — счастье. Сразу никогда себя не даст различить.

Иные думают, будто счастье — это если все хорошо и идеалоподобно. И в книжках так пишут. А. И. читал, когда

то очень много читал. Он и сам так думал — всего квартал, всего месяц назад. А на самом деле в буквальной жизни все как раз наоборот вышло.

Уж такое случилось лето — уж такое! Мало того, что к середине июня мамаша под столом свободно разгуливада, еще один гром с тарарамом: Таисью из петли чуть живой вынули. С ребеночком к ней пришли, чтоб грыжу она ему заговорила, да едва того младенчика и не выронили насовсем — мамаша бедная громче младенчика заголосила.

Альберта Ивановича, конечно, в тот же час на маршруте нашли и с намеком ему доложили: вот, дескать, что учиняют над собой покинутые одиночки. Будто это она в первый раз. Будто только вчера, а не год назад дружбе их полюбовной конец пришел. Тем он себя утешал всю дорогу. А когда на велосипеде в больничный коридор вкатил и не пускать его к ней стали, как зарычал, сестру отпихнул, споткнулся и на колени как раз перед самой койкой рухнул:

— Таичка, свечечка моя! Не дам тебе истаять, не дам! — И лодыжечки ее заледенелые целовать стал. До слез она бывало умилялась, отчего-то особенно нравилось ей, когда он лодыжки ее вечно холодные лаской отогревает. — Ты гори, гори.

— Горю, — то ли шепнула, то ли почудилось, потому что уже в тот момент истопник с санитаром сзади бросились и втаскивать его из палаты стали.

Вот так и началось лето — зеленое, буйное. Там, где фейерверк цветов был, яблочки из листы торчат. Детвора в каждой канаве полощется — уток пугает. Рядом коровы сопят, часами от сладкого клевера головы не отнимая. А земляники уродило в тот год — ведрами несли! Мамаша все в лесок за нею просилась:

— Я маленькая теперь, проворная. Снеси! В последний раз витаминов сыну собираю.

Купил ей А. И. в отделе игрушек метр бумажный: возле каждого круглого числа — картинка, чтоб нескучно измеряться было, и говорит:

— До пятидесяти сантиметров дотянешь — в корзинке уместиться. А так?

А она погрустнела, но спорить не стала:

— Это уж, видно, когда грибы пойдут.

И хоть бы раз обругала или огород услала полоть — нет!

— Не уходи, сынок. Дома побудь, — и так заискивающе снизу глядит, вся в единый лоскутик обмотанная, как девочка индианская. А на ногах — сандалики его детские. Выходит, не зря хранила.

И как-то само собой получаться стало: то он ей с работы конфетку несет, то высоконогий стульчик ей с перильцем мастерит, то в корыте купает и спеленутую спать несет. А однажды из-за пряника с повидлом до драки у нее с Чук-

чей дело дошло. Так А. И. собачку в туалете запер, мамашу в угол поставил, сел за волюнку и ждет. Покапризничала в углу мамаша, слюни попускала, а убежать не стала — поняла, значит, что сын по справедливости рассудил. Отложил тогда А. И. работу — хоть на едином дыхании в тот день последние штрихи клал, — на руки мамашу взял и на целых полчаса к окошку понес. Больше хоккея обожала теперь мамаша сквозь гардину на улицу поглядеть: и как Верка с пункта стеклотары очередной ковер выбивает (специально похожей расцветки ковры скупала, чтоб соседи думали, будто один у нее ковер, будто соседи — идиоты), и как Юрок, поддавши, на мопеде зигзаги выписывает ловко; и как дед Андрей козу на общественном газоне пасет (потому что умными все сделались: и с удобствами в пятиэтажках желают жить, и с парным молочком расстаться боятся). Как и прежде, буквально на все свой острый взгляд имела!

Только опускать ее хотел — захныкала:

— Еще! еще!

— Нельзя больше. Альбертику на работу пора.

Лишний раз мамашу одну бросать, конечно, постыдно было. Да уж таким неблагодарным сыном он уродился: безнаказанностью своей пользоваться стал, врать обучился, а приврав — желейку незаметно в карман совал и к Таисье шел. Как только из лечебницы Таисья освободилась, вернулась к ним их прежняя негасимая дружба.

«Присушила», «опоила» — разные несознательные слова за спиною про них шептали. Да разве знали они ее?

Конечно, жила Тая таборно, бестолково: хоть и свой дом имела, а будто вокзал — лежанка в углу, табуретка и три кошки то на печь, то обратно с печи на пол скачут. Конечно, теперь с ней стало куда трудней. Но это только сначала. А уж зато после — после!..

Однако сначала и вправду не рад бывал, что пришел. Сидит его королевна на постели неприбранной, острые колени руками обхвачены — вся точно ножик складной.

— Таичка, это — я.

Ничего не ответит.

— Таичка, это я пришел.

Только глаза вскинет — незнакомые, стеклянно-оранжевые, как у голубей, и с такою же мыслью неразборчивой: то ли к земле сломя голову кинуться, то ли размахнуться и на крышу взлететь. И долго надо было с ней разговоры разговаривать, чулочки с нее снять и лодыжечки гладить, чтоб уж после сквозь это стеклянно-оранжевое проступило теплое, грустное — собачье, — как бы на последующую ступень эволюции взгляд ее переманить: от вздорных птиц к чутким млекопитающим. Зато уж когда долгожданное это, тоскливое и ласковое, глаза Таисьины застилало — рассудка от глаз ее лишиться было можно. И любовь-то у них с ней, наверно,

потому редко выходила, что от взгляда этого А. И. вдруг слабел и сквозь собственную кожу весь вовне просачивался. И она, Таисья, словно бы тоже растекалась в безграничную амёбу — вот такой шаг на всю эволюцию назад! — и ничего в природе уже не оставалось, только плавали в туманном облаке ее мучительные глаза.

Когда надрывная эта услуга уже совсем нестерпимой делалась, он прикрывал их губами:

— Голубушка моя! Чистый ангел.

А она иной раз смолчит, только голову назад закинет, глаза сузит — режут без ножа! А иной раз и того слаще: вся затрепещет, взвьется: «Ты Коленьке это пойдя скажи! Ведьма у него мать! Ведьма патентованная!»

Сгребет он ее тогда в охапку, а она в руках, как рыба свежая, бьется, бьется, а он ее целует, целует, исцелует всю — покуда не затихнет, покуда не улягутся они на лежаночке — щека к щеке. Хорошо. Тихо.

— Полола сегодня?

— В совхозе. Как узнал?

— Сурепкой пахнешь.

— Припоздалый ты мой. Ты мой ласковый.

— А Николая, Таинька, тоже понять надо. Он детям историческое знание несет. А мать его — два шага назад. Ну, это на его взгляд, конечно.

— Деньги так берет. Что обидно? Вороженные, а берет!

— На здоровье. Ему и деткам его на здоровье, на витамины. А как же?

— Младшенькую так и не показывали ни разу! Сноха говорит: сглазишь, бабка!

— Суеверие нам досталось от докапиталистического застоя. И до сей поры необоримо!

— Два шкафа Колька книжек прочел. А ты все одно умней!

— Так и я, Таюшка, читал. Я много читал.

— Ей уж четвертый месяц. Аукает, поди, всюю. Улыбается.

— Я, было время, думал: хоть пешком в Москву уйду, как Ломоносов. А мамаша говорит: Мишка тебя умней, давай лучше Мишку выучим. Пять лет деньги слали. Его уж выперли из студентов давно, а мы знай шлем. Это после мамаша спохватилась: не на ту лошадь, говорит, я поставила — да кто ж знал?

— Я говорю Коле: сынок, ведь от сглаза верное средство есть — фигу держать. Можете, говорю, мне эту фигу в нос сунуть — я не обижусь. Вы только внученьку покажите!

— А я, Таюшка, на ветеринара хотел. Парнишкой был, а понял: животные — они больше нашего мучаются. Больше! Человек надеждой силен, спасение у него впереди маячит,

причины, следствия, способы разные... А у зверя что? Одна нынешняя мука без конца и края.

— И у человека так бывает. Я знаю, бывает.

— Не бывает, Таюшка. Не должно бывать.

— А если не должно, отчего ж бывает?

— Слушай, я ведь волынку в город вчера возил! Срочно, торопили, срочно. А сами на гастроли уехали.

— Сволочи!

— Нет, они — отрешенные. Я сам такой. Я понимаю.

— Ты их лучше. Ты всех лучше!

— Нет, что всего обидней? Вот если б меня Эдуардом звали, ты б меня как звала?

— Эдуардом.

— А они бы: Эдгаром, Эльбрусом или Эверестом! Им разницы нет.

— Дураки.

— А ну их! Любушка, обними меня тесней.

— Припоздалый ты мой!

И даже если, уткнувшись в него холодным носом, она принималась тихонько всхлипывать, что-то возвышенное и непоправимое (должно быть, это и было счастье) наполнило душу через край. Оттого ли, что дома, глаз с двери не сводя, ждала его лучшая, добрейшая в мире мамаша? Потому ли, что Таюшка, только шагнет он на крыльцо, тоже примется нежно думать о нем и ждать? Потому ли, что утром детки из музыкальной школы приходили, салют ему отдали, на отчетный концерт позвали — на его рожках обещали экзамен играть? А может, и потому, что от пыли лохматая лампочка на крученном шнуре, и обвисшие занавески под ней (еще бабка Таина лет сто назад чудной узор вышила — на весь уезд была первая ворожея!), и черная слива за ними, вдруг трепетнувшаяся от ветра или птицы, и спелая луна сквозь нее, и тонкое — поверх всего — протяжное вытье шакалов, точно кто-то в поле вышел и от избытка чувств на зурне заиграл, и дружный хор в ответ поселковых собак — все это вдруг насыщало мир, каждую его пору, каждую нишу значением и тайной. Но словами объяснить это Таюшке было никак нельзя. Да и улежать с нею рядом уже не представлялось возможным. И он спускал ноги на пол, с волнением и тоскою вглядываясь в сгущающуюся за окном тьму.

— Вот голова садовая! А картошка? Я вчера гору наварила!

— Пора мне, Таюшка...

— Уехала ведь она!

— А Дусе с Кондратьевной следить велела.

— Нет. Нет! — И прыткою кошкой к печи, а от нее обратно — к лежанке, с чугунком в обнимку. — Кто тебе поднесет? Уехала ведь?

— Конечно, уехала.

— А будто дома под столом сидит.
— Почему под столом?
— Не знаю. Вижу. Находит на меня опять. И все кажется, что я виновата перед ней.

— Ты? Перед ней? Глупости какие.

— Ведьма я все же. И уж такое мне про нее примерещится вдруг.

— Какое? Нет, ты скажи: какое?

— Я — тебе. Ты — Коле. А он меня обратно упечет! — И чугунок — на пол, и от сажи сумрачными ладошками — его за рукав. — А они там дерутся. Знаешь, как больно?

— Шизики?

— Санитарки! Шизики тихие. Коленька опять вчера приходил — сдать грозился, если пропаганду религиозную не прекращу. А я — что? Они ж сами с младенчиками идут.

— А я тогда тоже какой-нибудь крендель выкину, и меня к тебе посадят.

— Ой, накличешь!

— Руки белой рубашкой свяжут. И станем мы с тобой день до вечера, будто по облаку, туда-сюда прохаживать — как в раю. И одна у нас будет забота — радоваться друг на друга.

— Они там дерутся.

— Да... А я и позабыл. Таюшка — ну? Отпусти руку.

— Днем еще ничего. А ночью при лампочке сплю. Видения — они ночью находят.

— Тихо, тихо, мне больно ведь. Руку-то отпусти.

— А ты с собою меня возьми!

— Заметят, Таюшка. Потерпи. Недолго, может, осталось. Может, только до зимы.

— Нет! Нет.

— Близко же до зимы.

— Я тебя еще девушкой привидела. Я тебя всю жизнь ждала.

— Я знаю. А теперь, может, чуть осталось.

— Нет, нет, нет!

Ну никакой возможности не было уговорить ее словами. Только жалейку вынуть и, будто крысу из всем известной сказки, околдовать, увести прочь — от вредности собственной души.

Не сразу, мотив за мотивом — главное было с умом мелодии подобрать: чтоб новая выходила еще заунывней прежней — глаза ее делались голубиными, остекленелыми. Обычно после попури из турецких народных песен А. И. наконец вставал, виновато подмигивая всем мясистым лицом, кланялся и на цыпочках шел к двери. Тихонько приоткрыв ее, оборачивался: Таисья оцепенело сидела на лежанке, прижав к груди высокие колени и чему-то бессмысленно кивая.

— Таюшка, я пошел?

И новый ее размеренный кивок вроде как наполнялся смыслом.

В непроглядных сених знакомо пробиваясь сквозь путанность испарений кислой капусты, японского гриба, прелого картофеля и яблочной падалицы, и еще во дворе под фырканье свинки, из удушливого хлеба подкоп организующей, А. И. воображал, как радостно кинувшаяся к нему мамаша все эти запахи моментально учует, и сажу на рукаве приметит, и заревнует, и зарычит — тут он и расхрабрится, тут он и выкажет всю свою насчет Таюшки решимость! Но уже с улицы перегнувшись через калитку и обратно шпингалет всовывая, он понимал, что всеобщее, троекратное, так сказать, счастье требует все-таки некоторой отсрочки. Однако и сейчас, находясь всего только в его предвкушении, будто нота в сумрачном жерле свирельки, еще не выдохнутая, выдоха и полета дожидаящаяся, Альберт Иванович, стряхнув сажу с рукава и усевшись на свой велосипед, доверчиво улыбаясь шелестящему синей листвой переулку.

А предвкушение счастья счастьем и оказалось!

3

К началу сентября — осень, не осень, — а все кругом уже ссохлось, скукожилось. Ни единого дождика, ни единого грибка. Только травок и подсобрали они с мамашей. У А. И., конечно, главная забота была — по сторонам глядеть: людей избегать, случайных собак отпугивать. Зато мамаша проявила ловкость и рвение беспримерные. Ну что тебе муравей охапками — и все себя больше — душицу к корзине несла. А уж когда на лопухи набрели и стала она детской лопаткой их корни раскапывать, даже Чукча от восхищения рот открыла, ухо вскинула: хоть и четырьмя конечностями землю взрывать умела, а только у мамыши это все равно куда быстрее выходило. Был момент — А. И. едва заведующего клубом не окликнул, в березняке его фигура мелькнула — до того свой гордый восторг хоть с кем-нибудь захотелось разделить. В последний миг спохватился — сам в пожухлую траву прятаться полез:

— Отдохнула бы, роднуся?

— Отдохну! Теперь уж совсем скоро.

Не возразил. Смолчал. В бессовестности своей и пота ей не отер, и совочка не отнял. Потому что только после, уже всего после вдруг в голову пришло: а ведь таяла мамаша на глазах не от болезней (зря, что ли, все анализы на пять с плюсом сдавала?) — от излишних трудов она таяла и волнений. Как шагреневая кожа в одноименном произведении Оноре де Бальзака! Вот чего потом не мог А. И. себе простить. Вот за что уже и тогда справедливо называл себя же-

стокосердечным и вампироподобным. А только все равно усадит он бывало мамашу на высоконогий стульчик, кашку из ложечки в рот ей опрокинет и чувствует, как странная выпренность проникает в душу. И даже стихами говорить хочется. И в стихах этих яростное недоумение выразить: зачем не все люди сиаемскими близнецами рождаются или даже лучше кактусами — чтоб друг из друга расти и уже вовек не разлучаться?! А порою целую поэму написать хотелось и в ней мамашино убывание сравнить с солнышком на закате: лишь в этот недолгий час неяркое и нежаркое, оно наконец дает разглядеть себя и, кажется, впервые ласково глядит само — для трав и деревьев, может, уже и бесполезно, но для души человеческой нет тревожней и слаще этих минут.

Вот до чего в бестрепетности своей докатиться он мог! И непременно бы докатился — когда б не заботы, прибавлявшиеся день ото дня.

Достигнув размеров крупной мыши, мамаша стала возбуждать в Чукче нездоровый интерес. Сначала собачка вроде как играючись бегала за нею по комнате и по кухне — А. И. уверен был, что обеим от этого весело и хорошо. А однажды рубаху себе стирает и слышит вдруг дикий писк, словно комар в самое ухо на пикировку идет. Глядит, а это Чукча к нему, к хозяину своему, мамашу в зубах тащит. Зверь, инстинкты у ней — чем она виновата? А только и мамашу понять надо: кому собачка, а кому — уссурийский тигр.

Отобрал он мамашу, глаза зажмурил и — ногой Чукчу пнул. А мамаша в руке сипит охрипло:

— Нет, ты убей ее! Убей!

А Чукча не тявкнула даже: стоит, самой себе не верит — с малолетства ведь в сплошной ласке росла. А мамаша свое:

— Турок! Тебе собака лучше матери!

— Кто же знал?

— Зубья ей по одному выдергать! Думает, если у ней кровя голубые!..

— А вот я сейчас вас помирю! Чукча, поди сюда. А ты погладь ее. Не бойся, гладь.

Но только мамаша Чукчину физиономию вблизи завидела — моментально в рукав Альбертиков рванулась, до локтя бедняга доползла. Еле выудил.

— Дихлофосом уморю! Жизнью рискну, а и ей жить не дам! — По столу между грязной посуды ходит, ручонками машет. О вилку споткнулась, но ничего — не старенькая еще: живехонько поднялась. Умилился А. И., погладить ее по спинке хотел, а она — за палец его с хриплым рыком. От неожиданности вскрикнул, конечно, А. И. Чукча же это на свой лад поняла — мол, наших бьют. И как залилась гневным лаем да еще прыгать стала, клеенку с мамашей сдернуть норовя.

Пришлось с того дня мамашу с собою на работу носить — в кармане. Гнездышко специальное в нем оборудовал. Ей нравилось. Свежий воздух, говорит, старым людям — лучший витамин. Опять же впечатления новые, голоса, разговоры. Но на собачку обиделась бесповоротно: или я или она!

За окном автобусным разгоралась осень. Ветер дул — листву, точно искры, перебрасывая, опалая траву, поджигая леса. Казалось бы, смотри за окошко и радуйся. Тем более Альберт Иванович не один — всем биоценозом в город двинулся: в одну кошелку Чукчу усадил, в другую — волынку, во внутренний карман мамашу аккуратно пристроил. И теплое ее шевеление возле самого сердца, и драгоценное ощущение готового инструмента под рукой, и тревожное предчувствие, словно чай, согревающих глаз Ирины Олеговны — все это, что и говорить, могло бы осчастливить и куда более взыскательное сердце. Но вот ловил А. И. на себе доверчивый Чукчин взгляд из-под белой торчком прядки — и наполненности души как не бывало!

В театре ремонт шел полным ходом. Гастроли кончились, и теперь отпуск у всего театра был. Случайным чудом адрес Ирины Олеговны удалось узнать. И хотя телефон у нее не отвечал, зашел А. И. в укромный подъезд, мамашу из кармана вынул, посоветовался с ней и так решили: делать нечего — надо ехать.

Городской автобус, конечно, не то, что пригородный: рывки, суета, туда-сюда шныряние постоянное. То собачку прижмут, то мамашу придавят, но — добрались все живы-здоровы. И в лифте не застряли (очень лифта мамаша опасалась).

А перед самую дверь вдруг такой страх напал — обе кошелки бросить и бежать. Потому что как же можно с глупою рожей и толстым брюхом в этакий дом? Сообразил наконец волынку на себя надеть: будто фиговым листком, а все же прикрылся. На звонок надавил, не дышит, ждет.

Никого.

Потом дверь приоткрылась, а все равно никого. И вдруг снизу откуда-то крик, слезы: «Мама! Мамочка!» И в ответ издалека тоже крик, топот: «Леночка! Я здесь!» И — на порог выскочила. За ушами косички торчат, юбка цыганистая до пола, а лицо — без единой краски, полупрозрачное, тонкое, белое, будто старинный фарфор на просвет — глаз не оторвать!

— Вы? Господи... Леночка, это же дядя Альфред приехал. Чего ты испугалась? Помнишь, он тебе травки передал, когда ты болела? Он добрый, веселый и сейчас нам на волынке будет играть, — и к себе дочурку прижала, по кудрявой головке глядя. — Проходите и не сердитесь на нас.

А. И. порог переступил, воздух носом потянул — совер-

шенно прежних запахов в ней не осталось. И вокруг как-то странно было — пусто, голо. Но зато свет и простор.

— Я знаю: дядя нищий музыкант. Он играет, а песик ходит на задних лапах, шляпа — в зубах... туда монетки все бросают! — Слезки просохли — ямочки выступили. И вдруг с места сорвалась, за угол кинулась.

А. И. засмеялся — от волнения неудержимо. И — сквозь смех:

— А у вас телефон, между прочим, поломан.

— У меня нет телефона.

— Как же, как же: номер мне дали, — и пальцем весело погрозил.

— Номер есть, а аппарата нет.

— Так не бывает!

— Бывает! — И глаза вдруг сухими и зеленоватыми сделались, как срез у магазинной морковки. Но к белому лицу — очень красиво.

Топ-топ — обратно Леночка прибежала, свинкой-копилкой трясет:

— Вот тут монетки!

— А-а, поработать придется. — Чукчу на пол выпустил, а сам на середину прихожей пошел. Для начала так просто меха локтем придавил, пальцами по трубочке пробежал — с проносом вышел звук, интересный, страстный. Басовая трубка гуднула густо, ломко, будто сосна в лесу скрипит. У самого от удовольствия рот до ушей. Но руки поднял, объявил строго: — Всякое первое исполнение посвящаю я памяти светлого моего учителя Андрея Кирилловича Белогубова. Любимая наша с ним песня «Сулико».

На сопилке, жалейке, губной гармошке даже исполнял А. И. это сочинение. Но так, как сейчас, вышло впервые — нежно, величественно, строго. Потому ли, что и Ирина Олеговна мотив вдруг подхватила — да как: поставленно, проникновенно. Тут и Чукча, душа, конечно, не утерпела, свое «уаав» в их дуэт вплела.

Щеки у Ирины Олеговны зарозовели:

— Вы! Вы сами не знаете, какой вы! Вы удивительный! В городе немного смешной, а на самом деле — удивительный!

— А инструмент? — с обидой и ревностью спросил А. И.

Но тут Леночка опять отчего-то всхлипнула. Прежде того она долго старалась из щелки монетку вытряхнуть, а когда это не удалось, прижала свинку к себе и — в слезы.

— Что — жалко игрушку разбить? — подмигнул ей А. И.

— Не жалко! Не жалко! А не стану! Плохо играли! Очень плохо! — Злое личико от него отвернула и прочь в детскую побежала.

— Ради бога, извините ее, — Ирина Олеговна совсем близко к нему подошла и, наверно, желая утешить, деревян-

ную морду козы стала гладить. А все-таки у нее был запах — запах меда, липового, белого! И так самому вместо Чукчи к ней в дом попроситься захотелось и лежать на половичке у двери, целый день бестолково лежать, все только той минуточки ожидая, когда лифт хлопнет, дверь распахнется и она беззаботно и ласково свою тонкую руку в шерсть ему запустит. И пусть зовет его как угодно. Он и на Артура будет отзываться — какая разница? Пусть и не его она позовет, а он все равно прибежит, хвостом вильнет и ее лишний разок увидит!

— Понимаете, эту копилку подарил ей отец. — И совсем близко-близко к уху его наклонилась. — Он летом от нас ушел. У нее и памяти о нем другой не осталось. Видите, что кругом?

— А-а! Ремонт затеваете!

— Да нет же! Я пока на гастролях была, муж вывез все. И телефон тот же. Нет, математически он прав. Он же нам квартиру оставил. Так что мы с Леночкой еще перед ним в долгу.

— Перед кем?

— Перед мужем. Скажите, а шуба мутоновая вашей маме не нужна? Она почти не ношена. Показать? — И снова — кровь к щекам, к вискам, ко лбу, будто чашечку фарфоровую жгучим кофе наполнять стали.

— Я... вы! — Лишь сейчас Альберт Иванович ощутил, как тосковал по ней все это странное лето. Но поскольку минутки свободной для тоски не было, он и не ведал о ней. И вот — изведав ее вмиг и потому до судорожного вздрагивания всего тела, он решил сказать о ней, надеясь, что от слов произойдет облегчение. Но стеснясь присутствия мамы, стоял и мотал головой, а волынка вздрагивала на нем, будто кожа на кусаемой оводами лошади.

— Что я говорю? Я совсем запуталась! — и попятилась, и, косичку левую расплетая, на палец волосы накручивать стала. — Извините меня.

И вдруг сильный треск раздался, а за ним — звон. Ирина Олеговна сразу вся тетивой натянулась и из нее же стрелой вылетела — вперед, к дочке. Должно быть, разбила дочка копилочку — добрая душа. И что-то теплое под сердцем шевельнулось. Думал, нежность к ним. Думал — печаль. Прислушался лучше, а это — мамаша. И бойко так ворочается, настойчиво. Видно, обмочилась. Руку сунул — нет, сухонькая. Пришлось к стене отвернуться, тайком во внутренний карман заглянуть. А она бьется и тоненько этак верещит:

— Деньги! Нарочно она! Чтоб деньги твои! Положенные! Себе!

Застегнул А. И. пиджак с удивлением и восторгом: какая же пронизательная женщина мать его! Вот и махонькая, а мозгу, словно бы как прежде, целый килограмм. Сам до та-

кого в жизни б не додумался. Волынку с себя снял, аккуратно на вешалку повесил и решительно за угол пошел — в детскую.

Оказалось, просторнейшая комната. Ирина Олеговна у окна стоит, дочурку на руках держит и что-то ласковое ей в ушко шепчет. А девочка славная, понятливая — все головкой кивает. А сама во все глаза на Чукчу глядит, как та по паркету шарит, нос свой в глиняные черепки, монетки и пуговицы тыча. Нет, не одиноко собачке будет здесь!

— Доченька — ну? Что ты дяде Альфреду хотела сказать?

— Спасибо, — и вздохнула, будто большая.

— А еще что, Леночка?

— Если я захочу, мне папа тридцать десять таких свинок купит! — И спинку напрягла, в Ирину Олеговну уперлась, чтоб на пол соскользнуть. Должно быть, сильно уперлась, потому что Ирина Олеговна вскрикнула даже:

— Лена!

А девчурка, на паркете оказавшись, кудряшками тряхнула и стала Чукчу гладить — от осторожности плотно сжатыми пальчиками.

— Ирина Олеговна, у меня вам денег занять нет...

— Ну что вы? Разве я...

— Тихо, тихо, — и для секретного разговора низко-низко в ее медовый дух голову опустил. — Я вам колечко привезу с бриллиантиками. Прямо завтра — меня подменят.

— Нет, что вы! Вы меня совсем не знаете!

— А я с корыстью. Дело у меня к вам, — он хотел было хохотнуть, но мысль о грядущей разлуке с Чукчей больно кольнула сердце.

— Вы мне лучше травки от нервов! — и вдруг громко, звонко: — Лена! Не трогай собаку!

— Отчего же? Она чистенькая и не укусит. Она наоборот.

— Извините. Я и про волынку вам ничего не сказала, да?

— Не сказала, да.

— И чаем не угостила. Волынка, по-моему, замечательная. Я могу в какой-то мере оценить — музкомедию кончала... Лена, не три глаза! Ты же только что трогала со... Извините! Я поставлю чай! — и прочь из комнаты в кухню быстро и гибко ушла.

Сердце кольнуло больней, и только тут А. И. понял, что не сердце это, а мамаша, прорвав уже подкладку и рубаху, грудь царапает.

Почуввав неладное, заметалась, запрыгала вокруг Чукча. А Леночка напугалась, прижалась к стене, глазища рыжие, мамины растопырила.

— Проголодалась собачка, — соврал А. И., стараясь под улыбкой скрыть сморщенность лица. — Очень морковку лю-

бит. Ты уж запоминай. По утрам — яичко сырое. Это непременно.

В груди саднило все нестерпимей, и воспоминания о героическом Прометее, а также о любимом с детства пионергерое Морозове не ободряли. И кровь грозила закапать в любой момент. Да и мамаша могла сил не рассчитать — надорваться!

— Я, Леночка, дверь пока прикрою. Ты только ее не бойся, — и на цыпочках по коридору красться стал.

Поначалу направлением ошибся — очутился в темноте. Рукою по колючей стене шарил, шарил и уж после разглядел, что в ванной он, а стена в буграх, потому что плитка вся сбита... Но дышать уже совсем трудно стало — хорошо, выход нашел. Пустые кошелки взял, замок повернул и бегом, забыв о лифте, вниз! Скорей из подъезда, скорей из двора — точно от погони. Только через дорогу перебежав, в гулкую арку кинувшись — на детской площадке дух перевел. В домик бревенчатый залез, мамашу вынул... Рубаха, понятно, в крови, но рана терпимая и даже совсем не глубокая оказалась рана — ясное дело, какая мать родное дитя не пожалеет? А он упрекнул ее все же:

— Эх вы! — Резко упрекнул, грубо.

А она и не обиделась даже:

— Больно тебе, сынок? Подорожник сыщи. Подорожник!

— Ладно, послунявил — пройдет, — и от нового упрека не удержался. — А пиджак вон попортили!

— Зато колечко сберегла. Я не для нее — для тебя наживала! У ней свое дитя, у меня — свое! И тоже малое.

А. И. кивнул и всхлипнул вдруг. Тут она и того ласковей сделалась:

— Бог все видит. Нельзя тебе без меня. Ну да уж теперь век с тобою буду.

— Как же это «век»?

— Кончилась моя болезнь. Ощущаю: кончилась!

— Точно ли, мамаша? Так ли?

— И не сомневайся теперь!

И хоть сказала она их тоненьким, едва слышным голоском — всюю душой поверил А. И. этим словам, только ими себя и веселил. И пусть через неделю мамаша уж меньше мизинца была, надежда теперь не покидала обоих. Ведь даже в научных журналах сказано: сколько килограммов веса человек сбросил — на столько свою жизнь и продлил. А кроме того, давно известно: муравьи и мелкие насекомые дольше всех на планете живут, вирусы же — те вообще неистребимы!

Одна беда: приходилось теперь с мамыши глаз не сводить. Отпуск взять и не сводить. Потому что в клеточке или аквариуме жить мамаша наотрез не хотела. Стол кухонный всему

другому предпочитала. Может, крошечки рассыпанные подбирать полюбила, а может, клеенка — где с цветочком полинялым, а где до сеточки уже истертая — веселила осязание ее и глаз. Однако без дела и сейчас обойтись не могла: то крупу перебирала, спичкой черные зернышки обособляя, а то витамин облепиховый задумала к зиме надавить: в чашечке вымылась и что тебе винодел кавказский давай ее ногами месить. Сахар под ноги пригоршнями в желтую ягоду подсыпает и туда-обратно по тарелке ходит. Всем матерям славный пример!

Но из дома теперь выходить стало невозможно. И с собой ведь уже не возьмешь — в любую прорешку выскользнуть может. А обернувшись, вдруг на столе ее не увидеть — это было всего страшней: наступил, придавил и писка не слышал!

А ей усладно. Радостно ей такое доказательство заботы сыновней. За солонку бывало спрячется, а то еще лучше выдумала: прямо в булке норку себе выгрызет, наестся и дремлет внутри. И уж пока А. И. ее там отыскивал, пока движениями замедленными остальные предметы приподнимал — весь в испарине оказывался. И долго еще после того бровь дергалась и руки дрожали.

И вот однажды — в тот самый день, когда Альберт Иванович решил все же поселить мамашу в коробку из-под рафинада, потому что уже таракана меньше стала мамаша, — Ирина Олеговна приехала. Чукчу привезла. В дверь звонила, кулаком стучала. Чукча, бедняга, лаяла, скреблась. Потом соседи на шум сбежались: судили-рядили и на время к себе их увели. Но из всего топота и гвалта различил А. И. ее каблучков ход: плавно шла, грустно и плавно.

В кухню вернулся, банку с белым липовым медом открыл — и сразу с косичками ее увидел, всю фарфорово-прекрасную. Тут он и последнюю бдительность растерял: закружил по квартире, заохал, стихи из «Энеиды» застенал... А она через час опять пришла, звонить стала, а потом вдруг тихо так говорит — словно не сквозь дверь, словно глаза в глаза:

— Вы не бойтесь, я не за обещанным кольцом. Я вас прошу болонку взять. Она не ест фактически ничего. Вы меня слышите?

А. И. кивнул. Хотел насчет Чукчи совет дать и — двумя ладонями рот себе прилепнул.

— За волюнку вам деньги начислили и переведут по почте. Вы, наверно, шизофреник, и я не могу на вас сердиться. Но что же мне делать с нею?!

Постояла еще немного молчком. И Чукча тоже осипла, сникла. Только когда ее обратно в кошелку совать стали, взвыла прощально. Была бы человеком, ту же Дездемону могла бы петь. Да что об этом?

Ударил А. И. себя одною ладонью по левой щеке, другою — по правой. Из пухлых губ глупо пузырь прыснул. По затылку себя треснул — ну и что? Зуд один. Нет, мамаша куда лучше умела драться: и вроде всего раз саданет, а главное есть — запечатленность.

Только тут спохватился, обратно в кухню пошел — да так и замер: опустела коробочка! И хоть, конечно, не в первый раз стал он испуганно ложки и чашки приподнимать, а только сердце уже знало: все зря.

— Мамаша, вы где? Мамаша! — В сторону шагнуть хотел — побоялся. Решил ждать.

Так дотемна и простоял, шелохнуться не решаясь, лишь глазами водил — по полу, по шкафчикам, по стенам. А как совсем стемнело, на спинку стула подул, для равновесия руками в нее уперся — последнюю надежду на рассвет имея. И утром опять, с места не сходя, долго и ласково звал ее. А потом в дверь позвонили и, поскольку давно подозревали неладное, взломали и ворвались — с участковым и понятиями.

— Назад! Назад! Мамашу затопчете! — орал он диким голосом.

А они не слушались, не верили — вперед перли, будто «Жигули» да «БелАЗы». Но было, было еще кому за мамашу вступиться!

Только они к нему вплотную подошли — кулачища сжал, кусаться и пихаться начал. Да много их, в две минуты скрутили. Дуся, хитрюга, голову к полу гнет, а сама будто жалеет:

— Миша, гляди — седой! Нет, ты сюда гляди: вошли — он же брюнет был! Положь скалку...

И — тишина. Полный провал. Может, и долгий, а все равно как единый вздох. Опомнился — в зарешеченном месте: ночь, потолок, кровати. Одно у них в поселке место было зарешеченное — вытрезвитель. Однако за время провала его и в город могли перевезти. Что же это — тюрьма? Тюрьма! А он — убийца. «Родной матери убийца» — вот что кричала она ему в ясновидении своем. А разве могла добрейшая эта душа зря виноватить? «Скоро искать, звать будешь!» — как же хотела она его упредить, уберечь от нестерпимости раскаяния!

— Я убийца! — закричал А. И., потому что он уже буквально припомнил тот миг, когда, руками отодвигая блюдце, но душою-то вслушиваясь в прощальный Чукчин всхлип, в каблучков ход, не заметил и — раздавил! Ведь неровно же стало блюдце и будто что-то хрустнуло под ним. — Я — убийца!

— Ты — псих, — вдруг брякнул кто-то из темноты, с соседней койки.

— Вы уверены?

— Сказал псих — значит, псих.

— А вы, должно быть, тоже? — Сам еще не зная чему, обрадовался А. И.

— Я скоро директор! Я всех главней!

А. И. радостно хихикнул в тишину: все-таки очутиться в сумасшедшем доме ему было приятней. А под блюдцем, между прочим, хрустнуть могла хлебная крошечка. И мало ли куда за эту долгую ночь успела добрести мамаша — до той же гераньки, а что?

Дождь, точно птица, прошел по жестяному карнизу и отлетел. И вдруг среди полнейшей тишины звонко стрельнуло в ухо. А. И. ринулся к нему мизинцем — да так на полпути и замер.

— Мамаша?

В ухо стрельнуло сильнее.

— Мамаша! Вы ли?!

А сердце, ошалевшее от счастья, уже громыhalo: а кто же, кто же, кто же еще?! И в самом деле, скажите на милость, зачем ей было перебираться на гераньку, когда среди кухни, будто атлант, надежно и недвижимо всю ночь стоял ее сын?!

— Мамаша! — выдохнул он с ликованием.

А шизофреник с соседней койки вдруг свесился и голую подушку в кулак сгреб:

— Была мамаша — и вся вышла! Понял, Голенец?

— Коля — ты?! — Кого угодно рассчитывал встретить среди пациентов А. И., но только не Таюшкиного Николая. Обрадовался, обниматься полез, а тот набычился:

— Всё ты, гад! Из-за тебя она!

— Нет, Коля, я...

— В кусты теперь? Ты у народа спроси — все в один голос! А ты, гнида, даже на похороны не пришел!

— Зачем же? Она живая!

— Третий день как схоронили.

— Как — схоронили?

— А по-людски. Теперь нельзя иначе. Советская власть ко всякой смерти уважение имеет: пусть ты и сам себя порешил, а не царизм! Религиозных предрассудков нету! — Голыми руками машет, кричит и в лицо перегаром дышит.

Очень удивило А. И., что в сумасшедшем доме еще и выпивать дают, — видно, преувеличивала Таюшка огорчения здешней жизни.

— Все хорошо, Коля. Все хорошо.

— Ты — друг, Голенец! У меня везде друзья! Думал, они скажут: клади билет! Но гуманизм в чем состоит? Нет, ты мне ответь: в чем преимущество нашего передового мировоззрения?

— Так сразу?

— Это надо как дважды два!

— Ну вот мы тут с тобой, так сказать, осуществляем право на отдых и...

— Нет, Голенец, это — вытекает! А в базисе у нас что? А то, что к каждому мы с персональным доверием! И потому ребенок за родителя не может быть в ответе. Понял?

— Как же не может, Коля? Кто ж тогда за него в ответе будет? — И ведь знал, знал, что с шизиками не спорят, а не утерпел. За что и получил по лбу:

— Хватит — наотвечался! Была и — нету!

К самой стене отлетел А. И. Поднялся, и опять гулкий звон в ухе пошел. Видно, основательно мамаша заглубляться стала:

— Нету, говоришь? Во мне она! Понял? Во мне! И вовек теперь во мне будет — не разлучите!

— Ах ты, гнида! — взревел Николай и вперед кинулся.

Золотые зубы ярче глаз горят. Может, и убил бы, но тут вдруг дверь распахнулась. Лейтенант вошел, стал Николаю козырять: дескать, с документами они его ознакомились, разобрались и никак нельзя ему долее здесь находиться, ошибка вышла.

И опять удивился А. И., однако спорить с милиционером не стал, уж очень место такое особенное: всякий на поверку переодетым пациентом оказаться может. Да и пусть идет — лучше без Николая.

Когда дверь за ними на ключ закрылась, обратно в койку полез. Под колючее одеяло. На бок лечь боялся. Чтоб мамашу не утерять, на спину лег. Пожарная вышка поселковая в окне шпилем блеснула, а потом, должно быть, опять луну заволокло — ни зги. Дождик на жестяной карниз снова слетел, запрыгал... И уж так хорошо, так невыразимо было Альберту Ивановичу в ту ночь, даже умереть хотелось, покуда звон — праздничный, неостановимый! — насыщал мозг, искрил тьму. Больше смерти опасался в ту ночь А. И., что вместе со звоном покинет его и светлая надежда.

Низкое небо клубилось над жижей проселка, который он месил разбухшими войлочными тапками, бредя неизвестно куда — может быть, в черный лес, сургучом опечатавший горизонт и прочие дали? Как только он из вытрезвителя освободился, кто-то влек его вперед и вперед, будто за шиворот ухватил. Лишь посреди огорода себя обнаружив — ведь в прежней-то жизни век бы его не видеть! — сообразил наконец: мамаша. На помидоры, птицами ислеканные, глядит, почву неперекопанную носком давит, ягодку смородины, бесполезно усохшую, в рот кладет, слезы накатившие рукавом утирает, а в голове вместо мыслей бьется и бьется: «Только не сжата полоска одна — горькую думу наводит она». Потому что, кроме Некрасова, не признавала мамаша других поэтов.

С той поры что ни час умудрялась она и без звона о себе весть подать.

Вот, например, в тот же день про Таюшкину кончину Дуся ему в жестоких подробностях сообщила. И что же? На стенку полез? На лестничную клетку без чувств рухнул? А может, хотя бы за голову себя схватил? Ничуть не бывало. Тихонько вздохнул и подумал кротко: «Что ж ты наделала, Таюшка? Такая, видно, тебе судьба. Видно, нашей судьбе ты теперь не помеха». То есть, конечно, своим умом он до такого бы никогда не дошел — это мамаша мысль ему свою биотокком передала. Но Дусе-то невдомек. Дуся из себя выходит, наводящими вопросами в нем угрызения совести найти норовит.

— Или онемел? Или оглох!

А он молчит себе — нос хмурит. Потому что как только осознал Альберт Иванович, что мамаша в нем навек поселилась, не человеком — вместилищем себя ощутил, обителю, попросту говоря — домом. Чтоб сквозняков избежать, уши ватой законопатил. А чтоб не погубить мамашу звуками собственного голоса, который и наружу вырываясь безудержно дребезжал и не сразу рассасывался, а уж в черепной коробке резонируя, должно быть, грознее иерихонских труб громычал — дал себе Альберт Иванович обет молчания.

— Правду мне мать твоя говорила: «Змееныша я, Евдокия, выкормила!» — Совсем отчаялась Дуся к сердцу его путь найти, платок на лоб надвинула, мусорное ведро подхватила — вниз, на помойку гнилостный дух понесла.

Улыбнулся ей вслед Альберт Иванович, и так подумали они с мамашей: «Дуся ты, дуся». А мамаша еще персонально от себя добавила: «Лучше за Мишкой своим приглядывай, пока не спился вконец и дом наш не пожар!» Потому что и до сей поры редкое равнодушие к людям имела.

Так и началась — вместе с утренним ледком на лужах, вместе с тучами свинцовыми, белейший снег источающими, — новая жизнь. Ведь вместилищем быть — это совсем не то, что человеком. Как и словами такое объяснить? Что ни день — все труднее вспоминались слова. И события внешней жизни тоже отслаивались, отпадали. Вернее, так: все крошечней делались, потому что сам он в размерах вырос и вырос.

Иногда вдруг соседи заходили, еду оставляли, пол мели. О нем, точно о чурке, говорили — уверены были, что не понимает он ничего. Потому что не отзывался он на их звуки — вместо слов одни колебания воздуха ощущал.

Поначалу, когда мысли еще имели некоторую внятность, больше всего тому был рад, что перестал наконец-то мелочно разбрасываться: на дудочки, газеты, письма, собачку, женщин — да разве посылно такое одному, если всем сердцем, если без верхоглядства? Конечно, непосильно, потому что

самое-то главное и ускользнет. Вернее, из тьмы не выскользнет. А вот если на одной страсти себя собрать, на одном призвании сосредоточить, если зажмурить на остальное глаза и безоглядно вглубь ринуться, словно солнечный луч от света — в сплошную кромешность, может, самое главное наконец и откроется?

И пусть десятки световых лет на пути. И пусть риск огромный. Но если очень повезет, однажды что-то вдруг breakthrough из тьмы, потому что не может быть, чтобы столько усилий души — зря! Будет ли тот свет называться «искуплением вины» или «передовым мировоззрением» или же, наоборот, «эмпирием», он не знал, знать не мог да и с некоторых пор знать не спешил.

Впереди — сколько хватает глаз — густела тьма. А он был только при начале долгого, нескончаемого пути.





Амазонки — те же дети:
то плачут, то капризничают,
то смеются

ЭНА ТРАМП. Эна Трамп родилась в мае шестьдесят восьмого, что и определило ее дальнейшую судьбу. «У меня есть гитара по имени Сарра, дудка по имени Людка и маленький красивый мешок», — говорит Эна. Эна Трамп — акын по убеждениям, она странствует по городам и весям и при этом поет, что видит. Сама себя Эна любит называть «клинической реалисткой», подразумеваемая под этим собственную неисправимость и, возможно, что-то еще.

ЖЕНЕ ПЕРЕПЕЛКЕ 21, а может, 22 года. Родилась она в Ленинграде, потому что именно оттуда она приехала поступать в Литературный институт им. А. М. Горького — к Андрею Битову, на прозу. Сейчас она закончила 1-й курс, вышла замуж и уехала в Ленинград рожать. Там живет ее мама, Алла Драбкина, очень хорошая писательница.

Эна Трамп

ДЕТИ

ТОЛСТАЯ КНИГА

Из девяти блуждающих историй

Издание второе, дополненное (одним лишь свистом)

На одном асфальте росли
цветы,
дети цветов
и дети этих детей.
На черном асфальте, в пыли.

Цветы, говорят, цвели.
Лица детей были немного серее их лиц.
Мы же, дети детей, уже не помним,
откуда пришли,
как родились.

На островке земли
силою наших молитв
вырастут ли?..

СЛАВНОЕ МОРЕ — СВЯЩЕННАЯ ВА

Она идет звонить маме, Матвей ждет ее около почты с «Беломором» между пальцами, сплевывая себе под ноги. Сутки назад она представилась: Молли, за двадцать четыре часа бок о бок он ни разу не назвал ее так. Он даже думать не может про нее иначе, чем отстраненным и безличным «она». Сам виноват, думает он, надо было немножко соображать вчера, кого берешь в попутчицы. Тут она выходит из почты, Матвей поднимается, шагает к ней, наступает босой пяткой на чей-то высморк, скачет на одной ноге, раз, два, три, ругается и смеется, говорит ей: «Когда будет гражданская война, я первым делом перестреляю тех, кто плюется на асфальт». Она вежливо улыбается, они идут, на его спине два рюкзака, свой и ее, на ходу Матвей вытирает скользкую пятку о шершавый асфальт, локтем поправляет рюкзаки, отставая от нее на шаг. «Все бы ничего, — думает он так, как если бы писал кому-то письмо, — «она» мне нравится, мне очень приятно на «нее» смотреть сзади», — он смотрит ей в спину, догоняя, — она, правда, очень мила, невысокая, в вытертых джинсах, с длинными спутанными черными волосами, волосы — это вообще самое лучшее, что в ней есть: наверное, такими были хиппушки шестидесятых. Для людей, которые смотрят на них (нельзя сказать, чтобы он этого не замечал), —

все так и есть: босой Матвей и его герла. И, право же, он не против, но если бы она еще и...

— ...с концерта какого-нибудь, — рассказывает она оживленно, — вот так вот вся, — прочерк рукой поперек лица, — в цепях, вот с такими глазами, вот с такими губами, и в автобусе специально стараюсь сесть на переднее место, а потом входит какая-нибудь старушка, и я вежливо говорю: «Садитесь, пожалуйста», сама встаю, ты б посмотрел на эти морды...

Матвей помалкивает, смотрит на асфальт. Мы ехали целый день и всю ночь, хочется сказать ему, ты устал, ты еле тащишься за мной, так зачем же ты напускаешь на себя бодрость? Все не так, мы не обязаны все время светски беседовать, не надо меня развлекать, у нас с тобой что-то не сошлось, ты можешь помолчать чуть-чуть? Он глушит вскипающее раздражение, говоря себе: ты не прав.

«Когда «она» просто идет, я смотрю на «нее» как бы не своими глазами. «Она» здорово выглядит. Меня даже немного удивляет, насколько мне нравится на нее смотреть. Кажется, «она» похожа на какую-то милую девочку... вот только я не помню, на какую, и, может быть, поэтому сейчас представляю, что «она» — это как раз та?.. но как только «она» открывает рот, меня сразу отбрасывает. Я знаю, что та, несомненно, все понимала. И почти не говорила».

Она останавливается у телефона, оглядывается:

— Может, ты еще раз позвонишь? — усталость прорывается в голосе.

Когда надо будет, позвоню, хочется сказать ему, вместо этого он тоже останавливается. Она достает копейки и остается за стеклом: Матвей, вместившись в кабинку с двумя рюкзаками, набирает номер. Он звонит сначала одному другу (утром его не было дома, а сейчас занято), второму — этот вписал уже трех вильнюсских ребят и, извиняясь, говорит, что места мало... вообще... напоследок, поняв, что Матвей не обижается, со вздохом облегчения: «Ну, заходите в гости... как-нибудь». У третьего никто не поднимает трубку. Матвей выходит из телефонной будки, кивком головы поднимает ее с выступа дома, она спрашивает «ну что?», заглядывая ему в лицо: ему вообще не хочется говорить, он только качает головой.

Это было счастье три часа назад, когда они только приехали. Только вышли из метро, только первые шаги по этому асфальту этого города, и тут солнце прорвало облака и прихлопнуло их как двух комаров одной ладонью, он забыл все раздражение, накопившееся за дорогу, на него нахлынула благодарность к ней за то, что они вместе.. они были вместе, минут пятнадцать — точно, она говорила, она распевала о том, что никогда так не ездила, что она не

верила до самой последней секунды в возможность этого города: и он что-то отвечал ей в том же духе, смеялся, она смеялась, они, не глядя, видели, как на них смотрят люди и видят в них то, чем они на самом деле не являются

это будет счастье потом, ты поймешь, вечером, ближе к двенадцати, за окном светлее, в комнате сумерки, ты лежишь на шершавом покрывале, ноги чистые, полы гладкие, на тебе только шорты, и человек, которому ты звонил без всякой надежды, когда все остальные номера оказались глухими к твоему голосу, этот человек, которого ты видел всего-то раз в жизни, года два назад, этот человек, сказавший спокойно: «Ну что ж, езжайте», — он сидит на стуле и, глядя на твою счастливую улыбку, сам усмехается: а ты лежишь спиной на кровати и слушаешь «Аквариум», и тебя тащит во все стороны, и хочется делать так много сразу, что невозможно пошевелиться, но и не двигаться тоже невозможно, и ты встаешь, проходишь по комнате, потом снова садишься, ты думаешь про эту девочку, которую так и не назвал «Молли», а она моется в ванной, а потом выйдет, улыбаясь, пахнущая чистой кожей и мокрыми волосами, у девочек так удивительно пахнет лицо после воды, а еще те мужики, что прошли мимо, когда вы стояли на углу, не зная, куда теперь, а один мужик страстно говорил другому: «Я тебе сейчас объясню, почему решил завязать...», другой в это время остановился и в расписном ужасе уставился на твои ноги, ты шевельнул пальцами, вызываяще глядя ему в лицо, но тут первый схватил его за руку и так же страстно: «Да что ты смотришь на этих придурков!..» — «Эй, слышишь? придурок здесь только один!» — крикнул ты вслед, и теперь не знаешь, кого имел в виду, себя или его? — и только знаешь, что хорошо, и, расправ тебя на покрывале и оставив, музыка льется дальше, и нет сил даже встать, вынуть свою дудку и вступить, не угнаться за музыкой, не угнаться, ты сегодня не сможешь заснуть, будешь сидеть на балконе, глядя в странную фиолетовость, которую почему-то называют ночью, ночью, будешь думать о тех, кто уже ушел, не ожидая тебя, так далеко, что отсюда не видно, и будешь то молиться за них, сдерживая дыхание, то обещать им все, а она..

«Я бы не рискнул утверждать, что «она» красивая, но смотреть на нее — мне, я имею в виду, — очень хорошо. Но знаешь, такая штука, та действительно была. Не какой-то высокий идеал, а настоящая, во плоти. Видимо, я ее очень недолго знал, возможно, всего один разговор на какой-то из кухонь, иначе не объясняется то, что я позволил

ей кануть и не вспомню сейчас ни ее лица, ни как ее звали. Осталась лишь уверенность, что когда-то я упустил единственную герлу, которая шла так близко, что была незаметна. А эта... на «нее» так хорошо смотреть сзади. Но мы с ней идем по разным городам, и ей не понять даже то, что она чего-то не понимает».

Кругом продается и покупается черешня. Она останавливается и смотрит, пробирается ближе к прилавкам. Ей хочется черешни. Он стоит с двумя рюкзаками, упираясь расставленными пятками в стекла на асфальте. Вдавливая стекла в горячий мягкий асфальт. Горячо. Когда она подходит, он говорит:

— Пойдем к реке.

Она соглашается. Он знает короткий путь, они сворачивают во дворы, они идут к реке. У нее в кармане двадцать рублей на билет обратно. Она поедет обратно, он поедет дальше.

Он думает: требовать от нее, чтобы она стала, как та, — это называется сентиментальность. Или как-нибудь еще хуже. Лучше построить город, вот такой. Но еще лучше, чтобы был очень хороший. Чтоб туда пришли многие люди и стали жить. И такие, как она, — тоже.

Но для этого надо сильно потрудиться, возражает он себе. Чтобы такие, как она, увидели, и пришли, и стали там жить — это надо очень сильно потрудиться. Может, и жизни не хватит. Фу ты, хреновина какая, здоров же ты, браток, рассуждать, ни фиги не делая.

Они выходят на широкую прямую улицу, впереди улица пересекается рекой. Она говорит: нефтяная река, асфальтные берега. Это не хуже всего, что она наговорила за этот день, и, по крайней мере, в этом есть доля смысла. Они идут вдоль каменного парапета, вода отливает радужной бензиновой пленкой.

Матвей говорит вслух: знаешь, почему этот город такой красивый? Посмотри, он ведь очень низкий на самом деле и тяжелый, даже придавленный. Почему, спрашивает она послушно. Я не знаю, говорит он. Может быть, потому, что чем ниже дома, тем выше небо? Ему снова не хочется произносить слова, он чувствует, что для нее это просто звуки, ноль информации. Все-таки, чувствуя какие-то обязательства перед ней, он показывает на противоположный берег и объясняет: «Вон туда мы идем». А что там? — она не видит. Ступеньки вниз, — Матвей, — и, видишь, деревья, там прохладно. Они доходят до моста, она качает цепи-перила. Он видит еще кое-что, говорит: заняли наше место. А что там? — она. Детишки, говорит он, какие-то: ну, мы все равно туда пойдем. Они проходят по мосту, он снова думает про город, теперь он думает: может, конечно, ничего и не получится. К этому тоже нужно быть готовым...

так, все, закончили. Надоело. Думай лучше о том, что ты делаешь сейчас.

Приближаются к этому месту, и Матвей видит, что в отношении детишек погорячился. Перед самой лестницей, сходящей к воде, тусуются трое мужиков. Сначала непонятно, что они делают, потом понятно. Метрах в двух на тротуаре — девушка в домашнем халате и шлепанцах, лицо у нее детское, а выражение лица — жесткое и старое. Один из мужиков поворачивается к ним и говорит, улыбаясь во все зубы:

— Видали когда-нибудь, как в воду ссут? Вот посмотри-те.

Теперь поворачиваются и двое остальных, с такими же ухмылками, тот, который мочился, — даже не застегивая штанов, — он низенький, полулысый. Дальше одновременно, Матвей:

— Видали, мужики. Ничего интересного.

И этот, с расстегнутой ширинкой:

— А в ротик возьмете?

Матвей пропускает ее вперед, она спускается по лестнице. На лестнице стоят две пустые бутылки, стакан, разложена газета, на ней хлеб и огурец. Девушка с детским лицом молча смотрит на них. Они сходят на каменные плиты, останавливаются, Матвей сбрасывает рюкзаки, садится на свой, рядом садится она. Вода плещется вниз, у самых ног, в двух сантиметрах от края плиты. Он поднимает глаза. Девушка с детским лицом о чем-то говорит с мужиками, вверх, у лестницы, кривя рот. Он поднимает глаза. Деревья сверху. Он поднимает глаза, бросает взгляд вправо и одним взмахом окидывает весь этот город, расступившиеся дома — как вырубленная просека великого леса, сверкающая в солнце поверхность реки, каменные строгие берега, люди, глядящие на воду с той стороны.

— Может, уйдем? Стремно...

Матвей нехотя возвращается в свою точку в этом пространстве, смотрит на нее, медленно качает головой, переводит взгляд на реку.

— Нет. Здесь хорошо.

Она оглядывается: с другой стороны тоже лестница, вверх стоят еще двое полуголых пацанов, эти совсем молодые. Облокотившись на перила, что-то говорят и смеются. Она придвигается ближе, говорит негромко, извиняющимся голосом:

— Минское воспитание... Привыкла получать по челюсти и давать назад. Идиотский город, больше нигде таких раскладов нет, чтобы девчонка не хотела с кем-то идти и ее за это били...

Его это раздражает, но в то же время и трогает. Он сам не может разобраться. Откуда это? Что за задержки в раз-

вити? Хэви-металл, получать по челюсти, — она же не восьмиклассница в конце-то концов. Им по двадцать лет, но она на полном серьезе существует в какой-то другой, подростковой системе измерения. Или это действительно ее город? И его город, который он уже совсем забыл, потому что полюбил так много других городов, что почти не возвращается к тому, прописанному в его паспорте?.. На мгновение все, что он думает о ней, переворачивается, и он чувствует какую-то странную братскую нежность к этой девочке, все время говорящей глупости. Потом все встает на свои места. Она ждет от него ответа, но ему не хочется говорить приличествующие случаю словосочетания, он показывает:

— Посмотри.

По реке проплывают один за другим два небольших катера, на катерах люди, люди смотрят на них. Эй, возьмите нас с собой! Но говорить, тем более, кричать это — лень. Катера скрываются под мостом, но приходят зато волны, перехлестывают на камень, обдают прохладой пятки, вода стекает назад. Двое полуголых пацанов спускаются по лестнице, проходят мимо них, поднимаются по лестнице, присоединяются к тем мужикам. Он смотрит на воду. Интересно, сколько можно просидеть так, не теряя этого состояния? Полчаса. А три? А всю жизнь?

Здесь хватит места всем.

Сколько-то времени они молчат, они закурили по «Беломору», когда папирота кончается, он бросает ее, встает, лезет в рюкзак за дудкой. Я поиграю, говорит он, взглянув на нее. Она кивает. Он играет, глядя на реку. Сначала он думает, пытается словить пальцами то, что показалось, получается совсем другое, тогда он бросает и отдает пальцам все права.

Потом он кладет дудку на плиту рядом, снова закуривает.

Ничего не изменилось. Деревья (тень), река, дальше люди, дальше дома.

Он видит, что один из полуголых пацанов отделился от этой тусовки и спускается к ним. Он видит, хотя смотрит на воду!

— Привет!

— Привет, — она говорит первая, Матвей тоже кивает. Пацан присаживается на корточки перед ними. Кивает на Матвея босые ноги.

— Что, хиппи, что ли?

Она хочет что-то сказать, Матвей, опередив ее, глядя ему в лицо, спрашивает:

— А что?

— Терпеть не могу хиппи, — говорит пацан, покачиваясь на корточках, глядя на Матвея с шальной, немного

волчьей улыбкой. — Мы тут в мае большую бойню устроили. Половину постригли.

Он качает головой, улыбка пацана становится недоверчивой, насмешливой. Матвей объясняет:

— Вряд ли ты хоть одного хиппи видел.

— Да ну, ты че, — недоверчивая улыбка, — вон, на паперти целыми кучами сидят. Грязные...

— Это не хиппи, — говорит он.

— А кто это?

Матвей говорит, подумав:

— Маленькие дети... которым хочется гулять.

— Что, если хочется гулять, так уже хиппи, да?

— Я же говорю: нет.

— А вы хиппи, так?

— Вряд ли, — говорит Матвей. Ему становится смешно.

— Что, тоже маленькие дети?

Матвей улыбается:

— Чуть-чуть побольше. Но хиппи — это слишком...

Пацан ждет, покачиваясь на корточках.

— Далеко, что ли. — Матвей поднимает руку над головой.

Пацан недоверчиво хмыкает.

— Да ну, — говорит Матвей, прогоняя улыбку. — Слишком долго объяснять. Эти маленькие дети тоже не так виноваты, как тебе кажется.

— Ну так а чего они, — говорит пацан. — Ездят из города в город, кому они здесь нужны? Что им, дома места мало?... Вы-то сами откуда?

Она говорит:

— Из Минска.

— Во. Ну и сидели бы в своем Минске! Чего вы здесь не видали?

Она говорит неуверенно:

— Река...

— Ты все время здесь живешь? — спрашивает Матвей.

— Восемнадцать лет.

— И никуда не ездил?

Пацан бросает на него острый взгляд. Хмыкает.

— Ездил, — говорит наконец. — В пятнадцать лет решил, да, что надо мне в Воркуту. Самостоятельным хотел быть. Вышел и поехал. На перекладных. — Показывает рукой. — Посмотрел, что это такое.

Он поворачивается спиной, кивает им. На спине, у пояса, длинный белый шрам.

— Полгода ехал. Туда и назад. Вернулся и понял: все, больше не хочу. На родине лучше.

Матвей говорит:

— Да ты хиппи.

Снова короткий острый взгляд. Матвей встречает его спокойно. Потом пацан смеется:

— Бывший.

— Ты просто уже увидел все, что тебе надо было, — продолжает Матвей.

— Увидел, — соглашается пацан.

— Значит, все правильно. А мне еще много надо увидеть. Я долго остановиться не смогу.

Снова тишина. Все трое молчат, глядя на проплывающее мимо водяное растение. Матвей достает «Беломор», вытряхивает из пачки две папиросы. Она протягивает руку. Пацан говорит:

— Да что вы всякую туфту курите. Угощаю.

У него «Космос». Матвей, качнув головой, объясняет:

— В вашем городе хороший «Беломор». Чистый.

— Можно, я возьму? — спрашивает она. — У меня уже от «Беломора» горло болит.

— Бери. Да побольше бери. Потом вспомнишь меня.

Она улыбается, говорит «спасибо», пряча в карман четыре сигареты. Пацан говорит:

— Я вот здесь живу, — показывает за деревья. — Два шага от реки. Соберем здесь... ну, это, — щелкает по горлу. — И больше никуда не надо.

— У вас так хорошо... — говорит она.

— Да, — соглашается пацан. — Слышишь, а это у вас что?

— Ксивник, — говорит она.

Матвей говорит:

— Для документов. Чтобы паспорт не терять.

— Я думал — вы землю на шее носите. С родины.

— Кайф какой! — она смеется. — Представляешь, Матвей, — предъявлять ментам землю вместо документов!

Пацан поднимается, оглядывается на лестницу, потом на них.

— Земля — это лучший документ. Не смейся, я тебе точно говорю.

Постой.

Еще раз, то что ты сказал. Ты действительно думаешь так? Подожди, не спеши, мне есть о чем у тебя спросить!.. но это он не говорит, это он думает, не отводя взгляд от ослепительной воды, а если пошевелиться, обязательно что-то сорвется, как рыба с крючка, звенящий хрусталь натянутой лески провиснет, и все. Пацан говорит: «Ладно, пойду я... к своим», она улыбается: «Пока! Счастливо!», пацан машет ему и ей рукой, поворачивается и идет на лестницу. А Матвей смотрит, смотрит на воду.

Потом он говорит:

— Ну что, встаем.

Она кивает, поднимается, и он поднимается, берет два

рюкзака. «Куда сейчас?» — спрашивает она. «Здесь автомат должен быть, — говорит Матвей, — попробую еще раз позвонить».

ОПЯТЬ НАШИ ПОБЕДИЛИ

Василиса Соловьева, в прошлой жизни — Вей-Волос, пролежала около полутора часов на животе, уткнувшись лицом в подушку. После чего она встала и протянула руку к телефону, но остановилась на полпути.

Она набирала номер, подолгу застывая после каждой цифры. Наконец в трубке раздался гудок. Поборов внезапно нахлынувший страх и желание нажать на рычаг (поздно уже теперь), она слушала длинные гудки, надеясь, что никого не будет и она сможет лежать лицом в подушку дальше. Но трубку подняли.

— Позовите Семена, — сказала Василиса чужим голосом. Она ненавидела телефоны. В трубке молчали. — Ну, Сэма позовите!

— Привет, Вей-Волос, — сказал он без удивления, без радости, без насмешки — обычно. Это было самое обидное, но и страх отступил: трубку теперь вешать уже точно смысла не было.

— Как дела, — спросила Василиса (и злорадно подумала, что более идиотского вопроса она не знает).

— Ничего, — ответил Сэм так же легко.

— Работаете? — спросила Василиса.

— Уже шесть месяцев.

Некоторое время они молчали. Потом Василиса, сглотив слюну, заговорила:

— Скажи что-нибудь, Сэм. У меня крыша едет. Я скоро завернусь совсем. Я всех ненавижу. Я эту контору ненавижу, чертежи ненавижу, баб ненавижу, мужиков ненавижу тоже. У меня не получается стать нормальной. Я повышаю общеобразовательный уровень и читаю Кафку и Камю в рабочее время. Я Кафку ненавижу, а от Камю мне хочется повеситься. Я сейчас пролежала полтора часа и заснуть не смогла. У меня глюки катят... то есть... не глюки, а деформация пространства, это не объяснить... По-моему, мне пора сдаваться в дурдом.

— Брось, Вей-Волос, — сказал Сэм. — Ты нормальная баба. Никуда тебе не надо сдаваться. Тебе нужно... — После чего он употребил неприличное слово.

Василисе захотелось плакать от злости. Минуту она подержала трубку у уха, кусая губы, потом аккуратно положила ее на телефон. Сама пошла и легла, теперь на спину.

Через пятнадцать минут, когда она уже ничего не ждала,

телефон зазвонил. Василиса лежала и смотрела в стену, сдерживая себя. Телефон звонил долго, и вот перестал. Мир застелился ровным отчаянием, как покрывалом. Можно было встать и пойти по нему: к краю крыши, на работу... к Сэму, кстати, тоже. Без разницы. Телефон зазвонил снова. Василиса сняла трубку.

— Успокоилась? — спросил Сэм.

— Козел, — сказала Василиса страстно. — Пуховый.

— Тебе уже лучше, — сказал Сэм утвердительно. — Уже шутишь. Когда чувство юмора окончательно восстанавливается, одевайся и приезжай. Я тебе только хочу сказать: все, во что ты играла последние полгода, не имеет смысла. У тебя ничего не получится.

— Что такое юмор? — спросила Василиса.

— Это когда про жопу, — ответил Сэм.

Она одевалась в коридоре с давно забытой торопливостью, с позорным и блаженным облегчением, как когда ночью даешь страшные клятвы бросить курить, а утром, не глядя себе в глаза, тащишь из пачки первую сигарету. Она закрыла дверь снаружи на ключ, мельком вспомнив про мягкую кровать, на которой лежала. Она бежала вниз по лестнице, что теперь за дело до непоправленного покрывала, до чистого и пустого ее дома.

Сэм открыл дверь. Увидев Василису, он негромко присвистнул.

— Хиппи, хиппи, где твоя улыбка...

Рука Василисы неуверенно поднялась вверх и поправила короткие жесткие кудри.

— Ну проходи, — сказал Сэм, отступая. — Только давай быстро, и туда.

— Соседи все по-прежнему? — спросила Василиса, берясь за ручку двери.

— Давай-давай, — сказал Сэм.

Дверь соседней комнаты открылась, в проеме воздвигнулась тощая мужская фигура. Василиса толкнула дверь и вошла, вслед за ней прошел Сэм, предварительно ответив соседу: «Да, это опять ко мне».

В комнате сидели двое незнакомых Василисе, девочка пила то ли крепкий чай, то ли портвейн из стакана. Судя по выражению лица — портвейн. Окна были завешены одеялами, и горела люстра из трех розовеньких колокольчиков, нелепее которых в этой комнате ничего невозможно было представить. Поперек одной стены красовалась надпись большими синими буквами: ВЕЧНАЯ ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ. Больше ничего не изменилось, другая надпись была и раньше — «MOTHER, MOTHER, HOW I BE LIVE?» В углу у окна стояли пустые бутылки. Штук двадцать.

Сэм сел на диван. Василиса села тоже, глядя на люстру.

— Костя,— сказал Сэм, кивнув,— и Крыса Лариса. Вей-Волос,— жест рукой.

Костя привстал и отвесил поклон.

— Я-а,— сказал он,— пре-е-е... п-п... ре-е-е...

— Предлагаю,— сказала девочка.

Костя радостно закивал и икнул. Потом он снова открыл рот и затынул:

— Да-а-вайте вvvvvvvvvvv...

— Выпьем,— сказала девочка. Обернувшись к Василисе, она пояснила: — Он уже выпил. Он когда выпьет, у него появляется тенденция к заиканию.

— Т-т-тенденция! — радостно поддержал Костя.

Девочка достала из-под столика бутылку, налила из нее в один из множества пустых стаканов, протянула Василисе. Василиса встала, взяла стакан, села назад.

Сэм взял другой стакан, выпил, сказал Василисе:

— Ну что, Вей-Волос. Рассказывай, что знаешь.

Василиса глотнула, поморщилась, задержав дыхание, выпила все. Сэм дал ей кусок белого хлеба. Василиса заела. Она молчала и ждала, пока подействует. Потом она сказала Сэму:

— С тех пор я не пила.

— Налейте ей еще,— сказал Сэм.

— Не говоря уже о траве,— сказала Василиса после второго. Тормоза разжались, ей становилось сладостно и горько, и наплевать, упоительно наплевать на все, что не получилось и не получится. — До пизды,— сказала она, проверяя на вкус, и засмеялась: — Приобретаем ускорение. Еинероксу. Трава трын.

— Х-х-хоооо-рошо бы... — выпустил Костя. Отдышался, тряхнул головой и продолжил: — Т-т-т... тра-а-а...

— У него тенденция,— пояснила Крыса.

— Т-т-травы! — объявил Костя и посмотрел на всех, торжествуя.

— Он притворяется,— сказал Сэм.

— Мы сдохли, Сэм,— объявила Василиса.

— Ну-ну,— сказал Сэм, подливая ей в стакан.

— Я потом,— Василиса отставила стакан на пол.— Иначе я не смогу сказать тебе то, ради чего нарушила свой зарок.

— Кораз,— поправил Сэм, усмехаясь.

— Кораз,— согласилась Василиса.— Епитимья.

— Да-а-а... в-в...

— Давайте выпьем,— помогла Крыса.

— Это ничего не меняет,— сказала Василиса Сэму.

Сэм расплывался перед глазами, как в бинокле с расстроенной резкостью.— Мне уже не видно,— сказала она честно.— У меня что-то с глазами, еще тогда было. Когда я пью, я начинаю плохо видеть.

— Ты зачем приехала? — спросил Сэм.

— У тебя душно, Сэм, — сказала Василиса, вставая.

Она подошла к окну и рванула одеяло. Одеяло осталось на месте. — Ты его гвоздями прибил? — поинтересовалась Василиса, разворачиваясь. Крыса Лариса показала ей язык и скорчила страшное лицо. Это Василису на какое-то мгновение задержало, она удивленно посмотрела на Крысу и констатировала: — Идиотка малолетняя, Сэм, — сказала она, садясь прямо на пол. — Я больше не могу жить. Мне мало места дышать. Это не потому, — она кивнула на окно. — У меня дома светло, и я каждый день убираю. Но оказалось, что это ничего не меняет. Я пыталась сбежать, я раньше вас всех поняла... — Она остановилась. — Я уверена, что и ты все понимаешь, — решила она. — Ты только из гордости об этом никогда не думаешь. А у меня нет гордости. Я хочу жить. Я убежала, потому что надеялась, что еще не поздно, что я смогу жить. Вязать на работе, водить к себе мужиков — нормально. Это называется жить, понимаешь, Сэм? Жить! Но оказалось, что уже поздно. Я всех ненавижу за то, что они не знают того, что знаю я... они ничего не видели... и я умираю. Мы все умираем, Сэм, ты умрешь раньше, потому что вот это, — она кивнула на стакан в его руке, — ускорение. А я позже, если мне только не надоест и я не завершу сама. Мы все, Сэм, заражены чумой... и я не знаю, в какой момент это произошло и когда еще не поздно было бежать. Но теперь поздно, Сэм. У нас нет будущего, мы все в прошлом. И уже ничего не влияет... какая разница — подохнуть на свалке или в стерильной палате?

— Камю обчиталась, — заключил Сэм и выпил. Потом он встал, подошел к ней, присел рядом на корточки и обнял ее за плечи. — Вей-Волос, — сказал он тепло, — а не вздрючить ли мне тебя вот здесь, на диване, как в старые добрые времена?

— Пир, — сказала Василиса и засмеялась: — Рип... амуч... Мне так хорошо сейчас, Сэм... Я не хотела никого из вас больше никогда видеть, я хотела отгородиться, исчезнуть... построить новую жизнь и жить... но сейчас так хорошо, я так тебя люблю, Сэм. И это на один раз, скоро мне станет плохо, и я больше никогда сюда не приду... Нас всех надо перестрелять, Сэм, они правы. У нас чума, мы заразим и этих, — она кивнула на Костю.

— А в-в-в...

— У него тенденция, — пояснила Крыса Лариса. — Выпить!

Костя затряс головой, отрицая, икнул и неожиданно твердо произнес:

— А врезаться бы черной.

— Мы заражены свободой, — сказал Сэм, обнимая Василису. — Поэтому нас надо перестрелять.

— Дерьмо, — возразила Василиса резко, отталкивая его. — Ты пьян, Сэм, и говоришь, как школьник. Я не знаю, что такое эта свобода. И никогда не знала.

— Герла без хайра — не герла, — сказала Крыса Лариса.

— Заткнись, дура, — сказала Василиса ей. — Ты думаешь, вот это у тебя на головешке — хайр? Так ты ошибаешься, это волосы. У кого был хайр, у тех давно уже выпал.

Крыса засмеялась и сквозь смех объявила:

— Морозов сказал: Сэм сгнил, Костя опустился... а Сталкер — был Кер, а стал... ха-ха-ха!

— Лариса, — сказал Сэм, — на минутку.

Крыса Лариса встала и, скорчив пренебрежительную гримасу, вышла за Сэмом в коридор.

Василиса иронично улыбнулась, сказала:

— Секреты. Тайны... — Костя молчал, и она закрыла глаза, рыбка-улыбка уплыла, темнота качалась, как ночной корабль.

— У нее мать умерла в начале осени, — говорил Сэм в коридоре Крысе Ларисе, — и она немного сдвинулась на этой почве. Мать, это... не одобряла ее стиля жизни.

Крыса Лариса покрутилась на одной ноге, чувствуя себя неудобно, наконец изрекла глубокомысленно:

— Все там будем.

— Царствие ей небесное, — сказал Сэм, перекрестившись. — Ты... это, на чувиху-то очень не наскакивай. Чувиха-то хорошая!

— Лариса! — закричал Костя, увидев входящих Крысу Ларису и Сэма. — Передай Мо-о... М-о-о... розову! Пусть идет к бую!

— Уж больно ты грозен, как я погляжу, — сказала Крыса Лариса ехидно, подходя к Косте. Костя завращал глазами и простер руку. — Передам, передам, лапочка. — Крыса гладила его по голове, на лице Кости процвела блаженная улыбка.

Василиса встала, подошла к стакану, оставленному у дивана, и допила его, даже не почувствовав спиртного вкуса.

Утром Костя, кривясь и хватаясь за голову, чинил магнитофон. И в самом деле починил, как ни странно, и все время, пока Сэм собирал рюкзаки, играл «Роллинг Стоунз» — единственная оставшаяся катушка, остальные Сэм раздарил за те три месяца, когда магнитофон не работал. Крыса Лариса расхаживала по комнате в одних трусах, трогала себя за маленькие острые груди и, хихикая, рассказывала в сотый

раз, как она мылась в ванной и как туда ломился сосед, кричал «Шкур понавели!» и грозился позвонить в милицию. Время от времени она порывалась выскользнуть в коридор, чтобы ворваться к соседу и возлюбить его тут же: Костя не пускал ее, был хмур и зол, не заикался и намекал во всеулышание, что неплохо бы Крысе сходить за пивом. Крыса, хихикая, отвергала: «Я принципиально против стимуляторов»; эта маленькая дрянь, по-видимому, чувствовала себя прекрасно, хотя пила всю ночь и едва ли не больше всех. Василиса Соловьева, в прошлой жизни Вей-Волос, оставила ей ключ от своей квартиры и рассказала, как ехать, потому что Сэм сказал, что прецеденты были и Сергей Александрович в менты сдать всех вполне способен, особенно в отсутствие Сэма. На улице шел мокрый мартовский снег, падал на асфальт, на рюкзаки, на дорожную Василисину куртку, купленную только осенью, — Василиса решила не заезжать переодеваться, Сэм поддержал. Две станции они проехали вместе, затем Крыса с Костей, попрощавшись, вышли, Сэм с Василисой и обоими рюкзаками ехали дальше, и, когда проехали то место, где она должна была выходить на работу, Василиса вдруг вспомнила. Это казалось вчера очень важным, это было необходимо рассказать Сэму... но раз все так, то, может, и к лучшему, что она не рассказала, и Василиса просто думала об этом до самого Калужского шоссе, глядя на черные грохочущие стены метро, пока Сэм спал у нее на плече и щекотал ей шею усами и волосами. Это был один вчерашний глюк, то есть не глюк, а просто она лежала с закрытыми глазами и вдруг увидела. В огромном поле, в высокой желтеющей траве, стояла женщина (к Василисе спиной) и смотрела вперед, в низкое серое небо. Одна, в огромном поле, кажется, в кофте и юбке, может быть, босиком, — ноги ее были скрыты травой почти по колени. Просто стояла и смотрела. И больше ничего. Может, у нее муж и сын погибли на войне? — думала Василиса, глядя на черные грохочущие стены туннеля и на хмурых стоящих людей. Может, она где-нибудь когда-нибудь в жизни видела такую женщину... или, может, еще увидит?.. Почему-то было жалко ее до слез.

КИТТИ

Кто-то из герлов, живущих у Ганса, замочил все простыни, пододеяльники и наволочки в ванной. Они лежали неделю или больше. Никто уже не помнил, какая именно герла это сделала, а через ванную старались проходить быстро и не глядя. (Ванная вместе с туалетом была расположена совершенно невозможным образом: она соединяла — или разъединяла — кухню и комнату с коридором и второй комнатой.)

Сезон кончился, бабье лето тоже кончилось: шли проливные дожди, деревья нехотя и окончательно раздевались, похожие на целую казарму унылых наложниц. Ганс ничего этого не видел. Гансу было нехорошо.

Тягучий липкий туман окружал Ганса, размывал границы и представление о времени. Иногда из тумана выходили люди, плыли перед его глазами, шелестя, как листья: «чай... чай... чай...» Ганс морщился, они его безмерно раздражали, они заставляли его следить за ними, а сами куда-то пропадали. Время от времени он видел перед собой хитрое узкоглазое лицо Тухмасиба, тогда с Гансом случалось что-то вроде просветления, он даже вставал с дивана и садился на телефон, набирая по очереди все номера из блокнота, но ни у кого ничего не было, а те, кто мог наверняка, требовали столько, что Ганс начинал выть, как собака. В долг ему уже никто не верил.

На самом деле Ганс ломался всего три дня. В тот день, когда к нему приехал из Москвы Министр с двумя герлами, одной незнакомой, а другую Ганс видел в последний свой приезд в Москву, — в тот день Ганс задвинулся последний раз и, находясь в состоянии духа блаженном и прозрачном, довольно обстоятельно побеседовал на кухне с Министром про политику, намечающееся уже который год отделение Прибалтики, глупый молодняк с пустыми овечьими глазами. Затронули даже любовь и свободу. Министр остался доволен Гансом, а Ганс в тот вечер был доволен всем.

Три последующих дня Ганс не выходил из комнаты, соединенной с коридором. В комнате же, соединенной с кухней, жили семь или восемь человек, при этом Министр на следующее же утро поставил себя и двух своих герлов вне коллектива, громогласно заявив, что Ганс, оказывается, сгнил, испаскудился и что он, Министр, не ожидал, а если бы знал — не приехал. К этому времени Гансу уже было все равно, что может сказать Министр, зато остальным, занятым той же проблемой, но еще кое-как державшимся, Министр наступил на большую мозоль. Обсудив Министра в его отсутствие, пришли к выводу, что кличка его оправдывается на все сто процентов, что ему здесь нечего делать, что к любви и свободе он не имеет даже приблизительного отношения. Как сказала ему в лицо вечером одна заслуженная герла: «Тебе бы надо быть генеральным секретарем». На что Министр иронично ответил: «Я учту твоё пожелание». Больше с ним и с двумя его герлами никто не разговаривал, но Министр от этого не страдал, он собирался уезжать из Риги, как только закончит свои дела с независимой печатью.

Единственный человек, который находился над всеми этими раскладами, Тухмасиб из Ангарска, полутатарин, —

был суперменом. Просидев все лето на маковых производных вместе с Гансом, он не испытывал никаких неудобств от теперешнего отсутствия продукта. Будь на месте Тухмасиба другой человек, все бы серьезно заподозрили, что он двигается где-то на стороне; но, во-первых, Тухмасиб практически не выходил из квартиры, во-вторых, его все знали не первый год. На самом деле, если жизнь в квартире все еще шла, хоть и хромя на обе ноги, то это была целиком заслуга Тухмасиба. Даже двух совершенно бесполезных герлов Министра он умудрился приспособить к делу, и они теперь каждый вечер готовили на всех еду. О том, что без Тухмасиба между Министром и остальными разразился бы скандал, нечего и говорить. Тухмасиб шлялся из комнаты в комнату, хитро посматривал на всех, находил давно и безнадежно потерянные предметы и говорил всякие слова, на первый взгляд ни к чему не относящиеся, но при дальнейшем рассмотрении оказывающиеся единственно необходимыми. Даже Министр каждый вечер советовался с Тухмасибом о своих министерских делах и выслушивал его с чрезвычайным вниманием; а когда одна его герла (та, что была коротко стрижена и все время сокрушалась, что негде мыться: между собой мы презрительно называли ее секретаршей) неосторожно обмолвилась про Тухмасиба: «А где этот... татарская морда?», Министр резко оборвал ее: «Этот татарская морда — супермен, и ты не стоишь его мизинца». Кое-кто слышал этот диалог, он тоже стал предметом последующего обсуждения, и это был единственный раз, когда с Министром все согласились.

Утром четвертого дня Ганс по-прежнему умирал в своей комнате, а все сидели в своей, почти не разговаривая, ибо просвета было ждать неоткуда. Разговаривал только Министр со второй своей герлой, с той, что с длинными волосами, да и то вполголоса, чтобы не мешать Тухмасибу, который медленно читал «Трех мушкетеров», шевеля от трудности губами и то и дело поднимая затуманенный сюжетом взгляд. И тут раздался резкий звонок в дверь.

Все замерли, пронзенные иглой одной мысли.

Только Министр, остановившись на секунду, снова заговорил вполголоса, ему-то нечего было бояться, он не имел ни одной дырки на руках, а имел зато паспорт и ксиву, выданную ему в незапамятные времена журналом «Юность» как внештатному корреспонденту, и ни один мент не мог бы к нему придраться.

Тухмасиб поднял голову и внимательно посмотрел в окно напротив. Звонок повторился. Тухмасиб отложил книгу, поднялся и вышел. Звонки настойчиво и беспощадно следовали один за другим. Все сидели на своих местах. Министр наконец замолчал.

В комнату вошли менты...

За минуту напряженного ожидания каждый столько раз прокрутил у себя в голове этот вариант, что радостный вздох, радостный вопль раздался не раньше, чем через десять секунд.

В комнату вошел и остановился Тухмасиб, держа на руках кого-то маленького, мокрого, со слипшимися болтающимися волосами, с улыбающимся мокрым лицом, размытым слезами дождя. «Китти!..» — вскрикнул или всхлипнул кто-то первый, и все увидели, что это и в самом деле Китти, мокрая и счастливая Китти, Китти, что является как первый снег, когда хочет, а не когда ждут.

Лишь только иссякли радости первого приветствия и Китти освободилась из множества обнимающих ижимающих рук, она увидела в глазах вопрос, с которым тут обращались к каждому новому человеку, и, сразу же все поняв, ответила: «В коридоре... сумка». Трое, обгоняя друг друга, бросились в коридор, оставив прочие вопросы на потом.

Через полчаса в комнате, соединенной с кухней, остался только Министр и обе его герлы, одна из которых от нечего делать листала «Трех мушкетеров», а вторая, хихикая, хватала Министра за пятки: Министр ворчал с некоторым неудовольствием, но вместе с тем и с удовольствием, но потом, не выдержав, скрутил ей обе руки за спиной, и она, смеясь и хныкая, выворачивалась. Первая герла захлопнула книгу, встала и пошла в кухню. Это была именно та герла, которую здесь называли секретаршей, и ее душила злость: она стояла у окна, опираясь на подоконник, и смотрела на бег дождя по черепичным крышам, плотно сжав губы. Это ведь она поехала сюда с Министром, это ее взял Министр с собой, и это она ходила с ним по редакциям все три дня под косым дождем, еле успевая за его широким уверенным шагом и задыхаясь от сознания причастности к настоящему делу! Но каждый вечер Министр занят, он занят, на нее у него почти не остается времени, потому что он беседует с этой толстой дурой, потому что эта толстая дура — «добрая и светлая», добрая и светлая, разрази меня гром! Не верю и никогда не поверю, что эта идиотка может хоть что-то понять в его заморочках, хватать за пятки — вот это да, вот это ее стиль, и здесь она естественна и прекрасна, как только может быть естественна и прекрасна восемнадцатилетняя бабища, воспитанная на принципах «не целуйся без любви»... В это время в кухню вошли двое, и спина ее слегка выпрямилась, приготовившись выдерживать неприязнь: она по-прежнему смотрела на дождь за окном. Но тем двоим не было до нее никакого дела, похоже, они ее даже не заметили. Они сели на табуретках напротив друг друга, одна заслуженная герла и один старый друг ее и Ганса: они говорили, глядя друг другу в глаза и не видя глаз друг друга.

— А помнишь... море...

— Море... да...

— Мо...

На минуту они позабыли про слова, купаясь каждый в своем море.

— Поедем... в следующем году?

— Да... на море...

Герла, стоящая у окна, взглянула на них в четверть оборота с отчужденным интересом, мешающимся с некоторой брезгливостью. Они не видели ее: она могла бы наблюдать и прямо. Но брезгливость пересилила — она ни разу не пробовала почувствовать то же, а поэтому видела перед собой просто людей, которые по собственному желанию скатываются к полному идиотизму. Она захотела выйти из кухни и, сделав шаг от окна в сторону проходной ванной, столкнулась с Китти, вышедшей из ванной с огромной охапкой мокрого белья. Светлый взгляд Китти уперся ей в переносицу, в следующий момент Китти с обезоруживающей улыбкой сказала: «Хэй, сестренка, помоги развесить». Они стали развешивать простыни и пододеяльники на веревках, натянутых в кухне: задевши одной простыней сидящих на табуретке, Китти кинула им свою улыбку и спросила: «Ну как, нормально?» — «Да, да, — закивали они, улыбаясь в ответ, — очень хорошо, в кайф, очень хорошо».

Вечером у Китти была истерика, никто не знал, почему, одни спрашивали у других, что с ней, другие пожимали плечами, вроде бы ее чем-то обидел одесский Буратино, но сам Буратино сидел тут же и точно так же пожимал плечами: «Да я не знаю! Нервная она... чересчур». Китти убежала плакать куда-то в коридор, одна из герлов Министра (та, что с длинными волосами) пошла ее утешать, остальные остались на своих местах, всем было лень двигаться, все знали, что Китти действительно чересчур нервная, неправильно понятое слово могло обидеть ее на полдня. Лучше всего не трогать ее, сама успокоится. Все сидели в большой комнате, той, что соединена с кухней, Министр разговаривал с Гансом, Тухмасиб сидел рядом с ними, пару раз Ганс неожиданно выпадал из разговора, поворачивался к Тухмасибу и начинал клянчить: «Тухмас! Ну давай...», и Министр тогда замолкал и лишь улыбался иронично, а Тухмасиб с хитрым лицом поднимал палец и говорил Гансу: «Сходишь по лестнице — помнишь про ступени? Завтра!», и Ганс обреченно вздыхал, поворачивался к Министру и продолжал прерванный разговор, и Министр отвечал ему что-то, иронично улыбаясь. Остальные сидели кто как, разговаривали друг с другом, всем было немножко лень и немножко хотелось спать.

Герла с короткими волосами, успевшая помыться к это-

му времени в освободившейся ванной, сидела рядом с Министром, обхватив колени руками, но думала про Китти. Китти ей понравилась здесь больше всех. Она думала: это, конечно, принципы — любовь, добро, свобода, но у Китти это не принципы, она просто так живет. Хотя она тоже наркоманка, а это плохо. Для нее плохо, у нее лицо серое, и она похожа на обезьянку. Но мне она очень нравится. Сейчас она плачет в коридоре, а добрая и светлая побежала ее утешать. А я не побежала, хотя мне очень хочется, чтобы она не плакала, а сидела здесь и говорила какие-то слова... всем... и мне тоже, потому что у нее нет различий между своими и чужими. Но добрая и светлая меня опять опередила... нет, она просто сделала то, чего я никогда не сделаю. Я знаю: ей завидую. Мне, наверное, надо уйти от Министра.

Герла с короткими волосами встала (никто не обратил на нее внимания) и вышла в кухню. Кухня с развешенными простынями была похожа на парусник. В ванной были открыты обе двери, и из коридора доносились голоса. Она прислушалась. Что говорила добрая и светлая, не было слышно, а Китти хрипловатым от слез голосом отвечала: «Все нормально. Уже все нормально. Ничего он такого не сказал». Потом, через некоторое время, они прошли через ванную и через кухню в комнату. Герла с короткими волосами, стоящая у окна, услышала, как Китти что-то сказала в комнате, уже почти нормальным голосом. Потом прошло еще какое-то время, она стояла у окна, упираясь в подоконник руками, смотрела в темноту. Тут открылась дверь из комнаты. Министр, отстраняя простыни руками, подошел к ней.

К ЗВЕЗДЕ

Бандит в башмаках с рюкзаком
кайфовал у шлагбаума
(фраза из учебника русского
языка для иностранцев: при-
водится в пример как предло-
жение, где нет ни одного
русского слова)

Принцесса Астрид — это я. Я еду в метро из института. Домой. К Владимиру Ильичу домой. Где Владимира Ильича нет, потому что у него депрессия, он в дурдоме. Я еду к Владимиру Ильичу домой, где Владимира Ильича нет, есть зато Катерина, первая официальная жена Владимира Ильича. Поскольку она официальная и эта квартира официально квартира ее и Владимира Ильича, а я неофициальная и еще с перерывом в три с половиной года, за который перерыв у Владимира Ильича были еще то ли две, то ли три неофици-

циальных, то пока Владимир Ильич в дурдоме, я живу у него как бы по инерции. Катерина в своей комнате, а я в комнате Владимира Ильича. Мы сталкиваемся с Катериной в кухне и общаемся. Мы хорошо относимся друг к другу. Катерина неофициально разведена с Владимиром Ильичом уже семь лет, поэтому она добродушно посмеивается надо мной. Все, что у меня, для Катерины уже пройденный этап. Она хорошо относится к Владимиру Ильичу, потому что у них все началось, продолжалось и закончилось, когда я в школу ходила. Ей неинтересно знать про Владимира Ильича, но она смиряется с ним как с фактом, у нее есть чувство юмора и Саша-музыкант. Со мной она смиряется как с фактом из продолжающейся биографии Владимира Ильича. Живи и жить давай другим, вот девиз Катерины. По кухне шныряют тараканы.

Если бы я любила Владимира Ильича, как тогда, я могла бы тоже посмеиваться над Катериной. Но сейчас я вовсе не уверена, что люблю Владимира Ильича. Я с нетерпением ждала, когда он ляжет в дурдом, потому что давно усомнилась в том, что мне стоило к нему возвращаться. Это был ностальгический порыв, стоило мне тогда чуть-чуть подумать головой, и я бы увидела, что он не имеет продолжения. Тогда я не захотела думать головой. Я и сейчас не хочу, но ностальгический порыв уже закончился, а мы с Владимиром Ильичом продолжаемся. Надо что-то делать, но я не могу, потому что сразу же стану виноватой. Рано или поздно я все равно стану виновата, а пока я просто жду, когда Владимир Ильич выйдет, излечившись от депрессии. Это просто оттягивание момента. Я все время думаю, но эти мысли никуда не ведут.

Здесь я останавливаюсь в мыслях. Происходит цепочка событий, в результате которых я снова еду в метро домой к В. И., но уже везу с собой четверых, из них трое маленьких мальчиков и одна маленькая девочка. Им негде ночевать (по крайней мере, они так говорят). Одного из маленьких мальчиков я откуда-то знаю. Второй с длинными волосами и похож на викинга, девочка — его, она напоминает мне маленькую черную мышку. Я не имею права везти их домой к В. И., поскольку см. выше. Я так давно не делала того, на что не имею права, что мне весело. Все это отвлекло меня от мыслей о себе. Это гораздо нормальнее. Где-то я как-то читала, что мы все братья, и поэтому, когда к тебе просятся ночевать, надо соглашаться и везти их, это называется добро. Слава богу, что я вовремя вспомнила, что надо жить так, — все произошло совсем неожиданно для меня.

В этот вечер ничего не случилось. Мы все сидели в комнате Владимира Ильича. Пришла Катерина, несколько удивилась, но на первый раз решила смириться с нами как с фактом. Мы пили чай, разговаривали про Владимира Ильи-

ча. Я была самая старшая из всех (кроме Катерины, конечно), и они смотрели на меня так, как будто я могу им сказать что-то полезное. Я не отрицала, наоборот, тон у меня был еще тот. Их всех интересовал Владимир Ильич. Они все про него слышали, но знаком с ним был только тот мальчик, которого и я откуда-то знала. Я рассказала им про Владимира Ильича все годичные новости — для них-то это были новости.

Викинг все время целовался со своей девочкой. Катерина вскоре ушла, и мы тоже стали ложиться спать. Но перед этим мы с викингом решили покурить на кухне и проговорили там часа полтора, очень даже мило. У него приятное лицо, и в нем есть какая-то детская убежденность. Притом, как я поняла, в его жизни не все так, как ему хотелось бы, и у него комплекс вины перед девочками, которых он любит. Перед мышкой тоже. Он говорил мне все это и смотрел так, как будто я могу чем-то помочь, а я делала важное лицо и раскладывала его случай по Фрейдю. В общем-то, дело, как я и подозревала втайне от себя, заключалось совсем не в том. Мы тоже пошли спать, и он мне мешал заснуть и молча гладил меня одной рукой под одеялом. С другой стороны от него лежала эта девочка, она уже вроде бы спала. Я повернула голову и очень тихо и убедительно сказала ему: «По-моему, ты повернулся не в ту сторону». — «В ту!!!» — зашептал он так горячо, что мне стало смешно. Я взяла его руку и остановила у себя на плече и держала так, пока она не перестала шевелиться. Потом мы заснули.

Назавтра я встала в семь и всех разбудила. Мне надо было в институт. Мы поели какой-то вермишели, потом оделись и вышли из дому. Мне надо было в институт, им — куда не надо. Мы договорились встретиться в семь часов в одном месте, где собирались такие мальчики и девочки и где я тоже собиралась лет пять назад. В метро мы ехали сначала вместе, но в метро было много людей, которые все ехали на работу, и я себя чувствовала больше с этими людьми, чем со своими маленькими мальчиками. Я знала, что не поеду ни на какую встречу с ними, а поеду в Кашценку навещать Владимира Ильича.

Однако в полседьмого я поехала туда, где мы договорились, потому что к этому времени решение мое изменилось. Я не могла после четырех пар ехать еще к Владимиру Ильичу, мне необходимо было развеяться и отрешиться от реальности. Я чувствовала, что они мне нужны. Но, когда я приехала, их там не было. Зато было много других мальчиков и девочек, которые меня не знали и я их не знала. Я стояла поодаль и развеивалась, морда у меня при этом была каменная, как у Владимира Ильича, когда он появляется в таких местах. Я все-таки надеялась, что они придут, и поэтому

простояла там довольно долго. Видя, что я курю, различные мальчики и девочки подходили ко мне, чтобы стрелнуть сигарету. Я раздала восемь штук и поехала домой.

Дома я легла спать, потому что не могла заставить себя поехать к Владимиру Ильичу, а больше делать было нечего. Меня разбудил звонок в дверь. Это были они, их было двое — викинг и его девочка. Я впустила их, а сама пошла мыться и мыть голову. Потом викинг пошел мыться и мыть голову, а его девочка стала рисовать на стене в нашей комнате лисенка. Я сидела и смотрела, как она рисует, волосы мои сохли. Лисенок был желтый, а фон — синий. Она рисовала пастельными мелками, которые у нее были с собой. Лисенок был похож на иллюстрацию Нади Рушевой к «Маленькому принцу», по-моему, она его оттуда срисовала. Я сама могла бы нарисовать лучше, но я ничего ей не сказала, все стены в комнате Владимира Ильича разрисованы всякими людьми, этот лисенок был не хуже и не лучше прочих. Потом мы с ней разговаривали. Она сказала, что, кажется, беременна. Еще — что хочет поступать в художественное училище. Она с Витей (это викинга так зовут) где-то неделю жила по чердакам и теперь простудилась. Я сказала, что тогда ей надо попить чаю с малиновым вареньем, и пошла делать чай. Потом мы пили чай, и она мне рассказывала про какую-то подругу. Было десять часов. Викинг наконец вышел из ванной и тоже пил с нами чай, мы о чем-то разговаривали, он сидел со своей девочкой в обнимку. Пришла Катерина, заглянула к нам, сказала: «А. Ну-ну», — и спросила у меня, ездила ли я к Владимиру Ильичу. Я сказала, что поеду завтра. Викинг изъявил желание поехать к Владимиру Ильичу со мной. Он сказал, что давно хотел познакомиться с Владимиром Ильичом. Он слышал, что Владимир Ильич собирает людей, чтобы уехать на север, поселиться в брошенной деревне и устроить коммуну. «В системе мало осталось таких людей, — сказал викинг Витя, — никто ничего не хочет, только дринчат и ругают совдеп». От слова «система» меня передернуло, как будто он сказал что-то неприличное. Я объяснила ему, что Владимир Ильич тоже ничего не хочет, он лежит в дурдоме и размышляет о тщете всего сущего. Потому что у Владимира Ильича «пять — бэ», маниакально-депрессивный психоз, и про коммуну он думал в маниакальной фазе, а сейчас у него депрессия. Викинг Витя сказал на это, что только в дурдоме можно встретить нормального человека. Это меня разозлило настолько, что я стала разговаривать тихо и ласково. Я спросила, был ли Витя когда-нибудь в дурдоме. Оказалось — нет, но собирается, потому что не хочет идти в армию. Я кивнула и сказала, что это распространенное заблуждение у тех, кто не бывал в дурдоме. Тут викинг Витя предложил перейти на кухню, потому что его девочка уже спала, развалившись наискосок

на двух матрасах. Он накинул на нее одеяло, я выключила свет, и мы перешли на кухню. Я поставила чай и села. Я сказала:

— Посмотри на тетю. Тете двадцать два года. Это очень старая тетя по сравнению с тобой. Четыре года назад тетя с маху поступила в иняз, потому что ей тогда было все до звезды. Она не заметила этого офигительного конкурса, потому что ей было наплевать на весь этот конкурс, потому что она не собиралась ни с кем соревноваться. Она приходила на экзамены, не спавши до этого ночь, потому что вот здесь, на этой квартире днями и ночами сидели кучи людей, и были все философы, поэты и революционеры, и называли Владимира Ильича — Владимиром Ильичем, а себя — соратниками, а тетю почему-то — Принцессой Астрид. В тот день, когда тетя сдавала последний экзамен, они провожали одного из соратников в Америку, ругали его на чем свет стоит и называли политической проституткой. И он не улетел в Америку! Потому что они ужрались до такого состояния, что проснулись в электричке, которая стояла в славном городе Калинин! И они страшно огорчились и устроили на вокзале митинг под лозунгом «Свободу передвижения цыганам», и половину забрали в милицию! — Тут я сама удивилась своему пылу и снизила тон. — Это было весело, — сказала я поучительно и подняла палец. — Я не знала других людей и поэтому думала, что всегда можно сделать весело. Я очень весело начинала учиться. Я даже не помню сейчас, как все кончилось. Когда я ушла от Владимира Ильича, все уже давно кончилось и Владимир Ильич был в депрессии и все время хныкал, а я еще тогда имела столько наглости, чтобы считать, что от перемены мест сумма меняется. Когда мы встретились с Ильичом после долгого перерыва полгода назад, мы неделю только и делали, что вспоминали, как было весело. Мы даже ездили в гости к соратникам. Тем, кто не уехал в Америку и не умер. Очень скучно. Очень, очень. Один женился, другой пошел по партийной линии... по настоящей партийной, разумеется. А в общем, все было неправда, раз так кончилось. Я знаю, все кончилось, когда я перестала пить пиво. Как это там, место определяет сознание — так? Вроде ничего не менялось, просто когда восемнадцать лет и случайно оказываешься на первом курсе — одно состояние, потом все идет так плавно, все время ждешь, когда что-то кончится, все время кажется: ну вот эти лекции и холодные зимы — это временно, а я такая же, вот она я, Принцесса Астрид. Но когда человек пытается задержаться в прошлом — это обман. И вот видишь — нет, на самом деле ничего не временно. Ничего нет, кроме того, что есть. Есть, а не было. И смотрим: а что есть? Есть студентка четвертого курса, которая посещает лекции и учит языки. Видимо, готовится стать учительни-

цей иностранных языков в школе... или, в лучшем случае, переводчицей... если очень сильно повезет. Первый год она еще кричала, что нет, что учиться просто так себе. И продолжала учиться. Открой глазенки, тетя! Открыла: ба-аюшки... Мрак. Кругом целеустремленные люди, есть очень хорошие люди, которые тебе очень нравятся, ты незаметно для себя что-то у них перенимаешь. Неудобно среди таких целеустремленных хороших людей быть разгнездойкой... Но где же Принцесса Астрид?!! Эй, люди, где Принцесса Астрид?.. И в панике кидаешься к Владимиру Ильичу, готовая покаяться, признать все и скорее вернуться, вернуться к ней, она была такая славная и веселая, она была принцесса... Ну что ж, Владимир Ильич тебе рад. Вас ведь связывает самый сладкий период вашей жизни. Он даже готов тебя называть прежним именем. Чего ты еще хочешь? Да, любить друг друга сколько угодно. Владимиру Ильичу уже тридцать лет, можно даже завести семью. Я ведь классная тетя, не так ли? И довольно еще молодая, всего двадцать два года. А у Владимира Ильича квартира в столице, ну, полквартиры, неважно, можно все равно пропастись и остаться здесь. Но стоп, стоп, тебе ведь не это надо было! Ты хотела вернуть ТО! Ах, ну пожалуйста, вот Владимир Ильич хочет, например, бросить все, собрать людей, и в коммуны. Ну да, ты, наверное, тоже бросишь все, хотя лучше бы попозже. Год всего осталось доучиться, а там можно бросить все, и в коммуны. Вот весело-то будет. Будем жить на севере. В брошенных домах. Целую деревню сплошь заселим своими людьми. Будем трудиться и ходить друг к другу в гости. Ты будешь обучать детей иностранным языкам. Здравствуйте, дети, повторяйте за мной: Wunder geschen hur aus Versehen. Ура! Будет лепота под развесистой клюквой. У Владимира Ильича больше никогда не будет депрессии. Он сразу станет хорошим и перестанет хныкать. А люди-то, люди сплошь какие хорошие. Это ничего, что соратники перевешались и переженились, мы им поставим памятники. Зато молодежь идет нам на смену. Вот, например, Витя. Он хороший мальчик и любит девочек. Он хочет в коммуны, потому что там, наверное, будет много хороших девочек. Все будут любить Витю. Ну да, только теперь осталось съездить в дурку навестить Владимира Ильича. Нехорошо бросать друга в беде. Я обязательно съезжу, только завтра. Сегодня я устала.

После этого я вдруг сразу перестала орать и почувствовала, как стало тихо. Витя молчал, я засмеялась и спросила, понял ли он, что я хотела сказать, потому что я уже не помню. Витя сказал, что да, ему тоже часто так кажется, что все плохо и все ерунда. Я положила голову на стол. Викинг Витя погладил меня по голове. Я сказала, что он очень хороший человек, потому что не перебивал. Теперь мне снова

хорошо и пусто. Теперь может он что-нибудь сказать, я тоже не буду перебивать. Витя сказал, что он меня любит. Я подумала и сказала, что это здорово, но, наверное, Витиной девочке не покажется, что это так здорово, и она еще беременна, а Владимир Ильич в дурке и нехорошо бросать друга в беде. Витя сказал, что это ничего. Но я засмеялась и встала, и сказала: пошли в комнату спать. И Витя тогда тоже засмеялся, беспомощно и огорченно, потому что я не дала ему себя любить. Мы пошли в комнату и легли, не включая свет, чтобы не разбудить девочку, которая спала, отвернувшись к батарее, у стены, и там долго еще разговаривали шепотом и смеялись над тем, что нам нельзя друг друга любить. И Витя все время поворачивался ко мне, чтобы погладить меня и поцеловать, но я убирала его руки и шепотом напоминала, что мне очень нравится его девочка и я не хотела бы, чтобы она огорчилась. А безвредный мороз гулял по городу и лез в щели, и редкие люди торопливо шли по улицам к себе домой, заворачиваясь в шарфы и воротники, а здесь было тепло, и мне мешал уснуть такой хороший викинг Витя.

ПРЕДЗЕРКАЛЬЕ

Хендрик любил Лену. Лена любила питерского Чебурашку. Чебурашка же любил Гелу Сульянову, и на этом цепь обрывалась, потому что Гела Сульянова никого не любила.

Хендрик напился пива и рисовал такие картинки, где они все ходят друг за другом. Рисовал, рвал, выбрасывал. Он все время оказывался в хвосте, что соответствовало истине.

Хендрик знал (сказали на тусовке), что Гела уехала с кем-то в Ригу, а Чебурашка ждет ее в Питере. Лена же поехала в Питер неделю назад и вот-вот должна была вернуться.

На дворе стоял месяц май. У стены стояло пиво в двух трехлитровых банках. Литра полтора Хендрик уже высосал. Родители были на юге, а он ждал Лену. Он думал, что Лена придет сегодня, но день уже перевалил за середину, а Хендрик сидел один в пустой квартире и накачивался пивом, как алкоголик. Было грустно и прекрасно знать о мире все в нескольких фразах: вот сидит одинокий Хендрик, которому ничего не стоит облегчить себе жизнь и поехать на тусовку, где его все знают и будут ему рады, — но Хендрик добровольно выбирает заключение в стенах своей квартиры на весь день.

Хендрик встал, перешел в другую комнату и лег на кровать. Он плавал в пиве, как пельмень в сметане. Пиво раз-

мыло границы и обезвредило ожидание. Хендрик закрыл глаза, он хотел думать про себя в контексте Лены, но подумал только «Лена...».

Разбудил его звонок. Он вскочил как ошпаренный, побежал к двери, в темноте наталкиваясь на косяки и углы. Пиво давало о себе знать. Но это была не Лена, это был Чебурашка. Хендрик, не веря, выглянул на лестницу, — может, она там? Не ведающий Хендриковых метаний Чебурашка уже завалил в кухню, обнаружил пиво, издал душе-раздирающий крик и припал к банке, не разуваясь. Хендрик, разочарованный, захлопнул дверь, вошел в кухню, отобрал у Чебурашки пиво и глотнул сам. Потом они поздоровались. «Ты откуда?» — медленно стал удивляться Хендрик, осознавая факт Чебурашкиного появления. «Я сбежал от Лены, — сказал Чебурашка. — Ты уж извини, брат Хендрик. Она неделю ходила за мной по пятам. Я устал». Хендрик плюхнулся на стул и сказал Чебурашке, чтобы включил свет. Он чувствовал себя хреновато, пить больше не хотелось, наоборот, хотелось, чтобы все прошло и сознание стало прозрачным. Чебурашка тем временем включил свет, сел на полу у стены с гитарой, побренчал немного, потом стал петь, сначала тихо, но постепенно сильнее. Хендрик опять стал удивляться.

Чебурашку любили все, потому что все у Чебурашки получалось легко и весело, он жил так же естественно, как дышал, и пел как жил, не ведая обобщений и сомнений («Чебурашка пишет песни и поет, Гела ездит круглый год напролет...») — но эта песня была совсем другая. «Мы свободные люди, мы сидим на верблюде», — пел Чебурашка и дальше, безо всякого уважения к словам, наворачивал фразу на фразу, но во всей этой лишенной логики фигне, как ни странно, брезжила какая-то очень крутая догадка. «Вот дождались мы чуда и сидим без верблюда», — пел Чебурашка. Хендрик решил, что это песня про людей, которые решили быть вместе, но никому от этого лучше не стало, а тогда они разошлись, но вроде бы и из этого ничего хорошего не получается. «Хоп! — сказал Чебурашка и хлопнул по струнам. — Про что песня?» — «А ты как думаешь?» — поинтересовался осторожный Хендрик. «А черт его знает», — откликнулся Чебурашка. Хендрик достал чашки и разлил пиво. Они выпили. Хендрик подумал и сказал: «Про зиму». Чебурашка засмеялся. Они еще разлили и выпили. Чебурашка сказал: «Мне кажется, она скоро сюда придет». Хендрик зачем-то встал, подошел к крану, включил воду и выключил, потом спросил: «Кто?» — «Лена, — сказал Чебурашка. — Сюда». — «А Гела?» — тупо сказал Хендрик. «О, Гела... Гела в Риге».

Вскоре они были добрыми напропалую. Искренние. Хендрик смотрел на Чебурашку полными любви глазами. На

всем свете не было у него человека ближе Чебурашки, они сидели вдвоем в этой кухне и пили пиво, остальной мир скрылся в загадочном мерцании и был несущественен. «Я так понимаю Ленку! — воскликнул расчувствовавшийся Хендрик. — Как ни странно, во мне нет зависти к вам. Я люблю ее и тебя и хочу, чтобы у вас все было хорошо». — «Честно говоря, — сказал Чебурашка, — ты не совсем прав». — «А-а! — Хендрик махнул рукой. — Брось, Чебурашка. Аленка — золотой человек, и ты сам это знаешь. Я знаю, тебя больше волнует Гела, но если бы ты дал себе труд хоть раз спокойно подумать о причинах? А я тебе скажу, Че, и не мешай мне, ты видишь, я добрый. Так называемая свобода Гелы есть не что иное, как свобода болтания говна в проруби — от края до края». — «Ты не совсем прав», — повторил Чебурашка. «Подожди, — сказал Хендрик, — дай я закончу, я могу ошибаться, но я должен сказать. Вы с Гелой в неравных... это... ну да, в неравных положениях. Для тебя свобода — лишь способ для чего-то главного. И ты, осуществляя перенос с себя на нее, считаешь, что и у нее есть это главное. Типа какой-то тайны. Но я смотрю со стороны, Че, я всегда смотрю со стороны, Че, на нее и на всех. И я говорю тебе, Че: пойдём на «этажерку», я покажу тебе пару дюжин так называемых герлов, а ты объяснишь мне, чем они отличаются от Гелы. Нет, подожди, это еще не все! Видишь ли, брат Чебурашка, есть такой вопрос: что значит быть грязным и свободным? Значит ли это, что нельзя мыться, а надо искать везде запреты, чтобы их нарушить? Или, может быть, это значит — будучи занятым чем-то... важным... забыть о процедурах очищения тела и... не видеть, не знать запрета? Вот в чем корень». Тут Хендрик выдохся и налил пива себе и Чебурашке. Чебурашка, глотнув едва ли половину, поставил чашку и сказал: «В том, что ты говоришь, есть смысл, и Елена и вправду светлая личность. Плохо только то, что она сама об этом слишком хорошо знает. Кто-то убедил ее в этом, и она поверила, и старается не подкачать. Я говорю «кто-то» — но ведь это мы с тобой. Она честно старается мне помочь и убеждена, что может это сделать. Но это невозможно, Хендрик, мы с ней совсем разные люди. У меня свои представления о порядке, поэтому мне тяжело с ней, я боюсь ее. Меня преследует кошмар, где Ленка сливается с моей класной руководительницей. Я сбежал от нее вчера... да, вчера, смотри, уже полвторого ночи. Я не выдержал, я почувствовал — еще полчаса, и я начну страшно орать. Да... — Чебурашка допил пиво и сказал: — А про Гелу я не могу ни возразить тебе, ни поддержать. Я ничего про нее не знаю. Так же, как и ты. Я знаю вот что: она приезжает, и я рад. Она все время молчит, мне хорошо молчать рядом с ней. Здесь нечего добавить. Я не знаю, что будет, и будет ли что-

нибудь». Он замолчал. «Эхма!» — воскликнул Хендрик. «Я не собирался этого делать, но вижу, что надо. Пойдем». Они перешли в комнату, и Чебурашка смотрел на картину Хендрика, а Хендрик торопливо объяснял, что здесь незакончено и чего он хочет и боится, потому что если получится — то все, можно умирать. «Это с детства во мне осталось... когда-то я хотел влезть в телевизор, думал, один шаг — и ты там, в совсем другом... потом понял, что нельзя... Зазеркалье, понимаешь? Я боюсь того, что получается... это больше меня, это черная дыра... Я уже неделю ее не трогал». Они пошли обратно в кухню, выпили еще пива, Хендрик попросил Чебурашку еще раз спеть эту песню и громко подхватывал, что запомнилось, молодецки гикая в перерывах:

Мы свободные люди, мы сидим на верблюде,
За окном жужжит метель восемнадцатый недель.
А наплевать нам на вьюгу, все мы любим друг

друга... —

и т. д.

На следующий день было тошно и стыдно. Чего он там наговорил... о господи. Чебурашка, видимо, чувствовал то же самое и со свойственной ему тактичностью слинял, не дожидаясь, пока Хендрик проснется. Оставил записку с телефонами, где его можно будет найти. Две пустые трехлитровые банки стояли у окна, Хендрик нажарил себе яиц и ел их, мрачно рассматривая перспективы наступившего дня, но тут позвонили в дверь, он опрокинул табуретку, побежал открывать, там стояла Лена. Лицо ее запуталось в волосах, она молчала и не входила, Хендрик почувствовал, как нечто обрушилось в его душе, он замер, рука его сама по себе потянулась сдвинуть занавеску волос и увидеть за ней страшное — так и есть, Ленино лицо было в слезах. Вдруг она сказала спокойным, лишь в конце рванувшимся голосом: «Хендрик, скажи мне, я что... совсем дура?» Дальше все непонятно произошло, она плакала, прижавшись к нему, Хендрик гладил ее по спине ужасающе нелепой рукой и ни черта не знал, что делать. «Он говорил мне... что я ему как мать. Хендрик! Я ведь ничего не просила, я не требовала благодарности, он сам, он все сам... я хотела... ведь Гела, ей все равно... я бегаю, как дура, по Питеру, я думала, с ним что-то случилось, потом мне сказали, я сначала не поверила, а что делать? Приезжаю, пошла на тусовку... здравствуй, Лена, — и все, больше ни слова, и ушел с какими-то... Объясни мне, Хендрик!» Хендрик бормотал какие-то бесполезные слова, а внутри у него все

кипело. Он знал, что он скажет Чебурашке. «Брат Чебурашка, — скажет он спокойно. — Все понятно, все нормально, но надо вести себя немного по-человечески. Если тебе наплевать на женщину, то не давай ей повода думать иначе». Нет, не так. «Че, попробуй быть честным не только в песнях». А, нет, черт, да что же ты за мудака, при чем тут Чебурашка — вот стоит она!

Моя любовь. Задача проста.

С этого момента Лена проводила с Хендриком почти все время. Даже на тусовку они ездили вместе. Чебурашку они не встретили. Первые три дня Хендрик еще собирался позвонить по телефонам, которые тот оставил, но так и не мог решить окончательно, что будет говорить; через три дня плюнул и выбросил телефоны, справедливо рассудив, что Чебурашки уже здесь нет. Чебурашка действительно к этому времени был в Риге, где умер через две недели в какой-то наркоманской квартире. Гела была тут ни при чем, она куда-то уезжала. Чебурашке изрядно не повезло — сами подумайте, кинуться от передозняка при первом знакомстве с наркотиками. Все.

ГАРМОНИЯ МИРА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Счастливо просидев в редакции часов до трех, Ика ехала домой. Сначала она шла к метро, и полученная свобода наполняла легкие и изливалась на встречных. Иногда, символически это подтверждая, она доставала из сумки пачку и закуривала посреди тротуара, потом шла дальше, держа сигарету между вторым и третьим пальцами на ходу, и между большим и вторым — когда затягивалась, скашивая глаза к кончику сигареты, чтобы увидеть, как горит. На ходу пальцы с сигаретой становились длинными и лишними, но зато она все время краем глаза подмечала, кто как смотрит, и если смотрели сильно, торжественно улыбалась, ни на кого ни глядя. Никто не знал, что на самом деле ее распирает хохот.

В метро острота возбуждения сглаживалась о чужие спины и плечи, вплотную прижатые друг к другу, и только изредка остренькими иголочками смех напоминал, что еще не кончился — когда вокруг начали ругаться и толкаться, и ее тоже задевали. На станции «Киевская» ее выносил людской поток, и потом ее выносил эскалатор, и она поднималась по лестнице, сыпала нищему мелочь, и так хорошо было снова оказаться на улице. Она на секунду застывала на площади, чтобы вспомнить, куда идти — от площади расходились несколько одинаковых широких улиц, и каждый раз она была не уверена. Но в конце концов ей казалось, что она узнает, и она шла, спиной поддержива-

емая Киевским вокзалом, и через пять минут уже видела магазин, и значит правильно. Да, а еще на площади она иногда медленно и внимательно обходила кооперативные ларьки и с насмешливым удивлением рассматривала красивые бессмысленные вещи и людей, которые их продают и покупают. Все это было неправильно, а она была устроена правильно, оттого ей и было так смешно. Она видела, что почти все в этом мире устроено неправильно и суетливо, и с насмешливым удивлением это наблюдала. Она приходила в редакцию через день или через три и подолгу сидела там, рассматривая с невысокой высоты — может быть, со шкафа в углу комнаты — себя, пытающуюся как можно более честно ответить на все вопросы, как можно понятнее объяснить им все, что их интересует: и людей, которые хотят впервые напечатать большую подборку ее стихов, но хотят как-то очень странно, тратят массу времени на всякую ерунду, и вообще, явно не справляются со своим делом. И, выходя из редакции, она воссоединялась с той, наблюдающей, и начинала смеяться над собой, как она помогает им не справляться с их делами. А солнце светило сверху и устраивало весну, и все знало, и никому ничего не говорило, и оттого, что Ика так хорошо понимала все про солнце, она радовалась ему и смеялась вместе с ним.

Она входила в большой стеклянный универсам, брала, как все, тележку и проходила в зал. Сначала она шла туда, где хлеб, или сначала туда, где молоко, и переключивала в свою тележку два пакета молока и еще пакет сливок, если хотела делать блины. И половинку вкусного хлеба, черного-черного, а половинку потому, что она одна этот хлеб любила, и еще один батон белого за двадцать пять копеек. Потом она везла эту тележку на колесиках туда, где лежали разные куски масла, обернутые в тонкий целлофан (ей нравилось говорить «салафан») и с магазинной этикеткой, наполовину белой, наполовину розовой, на белом была тонкими синими циферками напечатана цена. Она выбирала не очень большой кусок, граммов двести, и тоже клала его в тележку, и в тележке оставалось еще много места. Если мама недавно выслала ей перевод, она покупала еще мясо, стоя вместе с другими людьми у витрины с мясом и выбирая себе кусок, где поменьше костей или где поменьше сала. Если нет — тогда кусок колбасы, не очень большой, такой же, как масло. Если дома что-нибудь кончалось, она брала еще пакет вермишели или пакет риса. Иногда она воровала что-нибудь дорогое и вкусное: бутылку сиропа, например, или большой кусок ветчины. Делала она это очень просто: клала не в тележку, а в свою большую сумку и закрывала сверху каким-нибудь шарфиком, а потом шла к кассе и расплачивалась за все, что в тележке. Од-

нажды она украла так коробку майонеза, коробка была неплотно закрыта, и, выйдя из магазина, она увидела, что майонез разлился и испачкал всю сумку и все, что в ней. Она ужаснулась, но было очень смешно.

Если надо было купить картошку, она заходила в овощной рядом, который, наоборот, был маленький и похожий на подвальчик. Но внутри было все нормально. Если картошка была не нужна, она все равно заходила, за лимон. Лимон можно бросить в чай, можно положить на бутерброд. А можно целый лимон съесть просто так. А какую-нибудь петрушку или зеленый лук она больше любила покупать у старушек, которые сидели на ступеньках у этих двух магазинов. Потому что у старушек были маленькие пучки, и, значит, они не успеют испортиться и засохнуть. А еще -- было просто приятно брать у старушек зелень и давать им за это пятнадцать или тридцать копеек.

И вот она шла по этому проспекту, с тяжелой сумкой, и если сумка была полиэтиленовая (салафановая), то ручки растягивались и грозили оторваться, и тогда Ика брала пакет под мышку. И ей нравился этот город, и этот проспект, с большими домами и маленькими магазинами, и ей нравилась тяжесть сумок, в которых было все, что надо, и ей нравилось идти к остановке и ехать домой на автобусе, а не в метро, потому что в автобусе много места, и можно сесть и смотреть в окно, а сумку поставить на колени. И она шла к остановке и проходила мимо дома, на который она как-то забралась, когда в магазине был обед, и свинтила несколько лампочек с края крыши, и теперь она всякий раз этот дом узнавала и смеялась ему внутри, и думала, что может случиться оттого, что она свинтила эти несколько лампочек, — может быть, в дом врежется самолет? Она здесь много домов облазила, когда в магазине был обед, и ей нравились эти дома, не очень старые, но все-таки старше, чем в Минске, и ей нравилось, что подъезды в них запираются на кодовые замки, но почти всегда код нацарапан где-нибудь на стене. А в одном доме на чердаке она видела выброшенные кем-то почти новые кроссовки «Адидас», только маленького размера, и она думала — кому можно подарить эти кроссовки, может Урфину? У Урфина тридцать четвертый размер ноги, они ей могут быть даже велики. И она думала, что сегодня могут прийти Владимирский с Урфином и надо приготовить что-нибудь вкусное из еды для них и для Алекса. Потому что Владимирский и бритая Урфин всегда голодные, и денег у них нет, и живут они Владимирский во Владимире, а Урфин в Вологде, а здесь они тусуются и ночуют у Алекса, хотя Алексовы коммунальные соседи почти всегда против. И будет хорошо, если Владимирский со своим бритым Урфином приедут сегодня и будут ночевать, и надо приготовить что-нибудь вкусное.

Алекс научил ее готовить рис: на две части риса три части воды и ложка подсолнечного масла, а потом, когда закипит — бросаешь соль, размешиваешь и кладешь на кастрюлю несколько листков бумаги (только не газету) и закрываешь большой тарелкой, а сверху кладешь тяжелый кирпич, который стоит в углу коридора. И через сорок минут рис будет сухой и рассыпчатый, и можно делать из него шарики, как китайцы.

Ика говорила: «Я люблю готовить еду и стихи». Она приехала в Москву из Минска потому, что один толстый журнал собирался печатать подборку ее стихов и все люди в этом журнале хотели на нее посмотреть и сказать друг другу: вот наше юное дарование; но на самом деле Ика приехала к Алексу, и она рассказывала Алексу про этих людей в редакции, и они вместе смеялись. Алекс работал на заводе слесарем-наладчиком, один раз Ика приехала к концу смены встречать его, и она стояла у железных перил возле проходной и смотрела, как выходят люди, и вдруг она увидела Алекса, и у нее сжалось сердце — такой он был худой, высокий, так выделялся среди всех этих людей своими волосами и потертыми джинсами, и это был ее Алекс. И он увидел Ику, и лицо его осветилось, он подошел к ней, и они вместе, разговаривая и смеясь, пошли к остановке по ручьям, потому что была весна, и на Ике была красная куртка и пестрый шарф на голове. И они уже были совсем, совсем — абсолютно не похожи на всех тех людей, которые тоже шли с завода по домам, потому что они были вдвоем и потому что они были устроены правильно. Они познакомились три недели назад, когда Ика первый раз приехала в Москву, и за это время только раз поссорились, и жили в Алексовой комнате в коммуналке, и еще думали, что поженятся, когда Ике стукнет восемнадцать. И все, кто знал их в это время, еще думали, что они поженятся.

ВАНУ, СОМЕ

Зима в этом году наступила просто и неожиданно, как смерть, пришла в тот самый час, когда должна по календарю. Не было томительного ожидания, замерзших луж. Ветра, выметающего все лишнее из голов и с улиц. Просто однажды утром пошел мелкий быстрый колючий снег, за день присыпал траву, землю и крыши и больше уже не таял.

Человеку, стоявшему в этот час в подъезде у окна, зима не несла ничего хорошего.

Он слушал, как за дверями в квартирах люди разговаривают на чужом языке. Этот подъезд был случайным, но в этом городе, где три четверти людей разговаривали на

чужом языке, а с той четвертью, что разговаривали на твоём, не хотелось общаться, потому что остальные смотрели на них как на оккупантов (да они и были оккупантами, хотя не были в этом виноваты) — в этом городе три четверти подъездов оказывались такими же, одинаково и по-разному, как каждый человек, хрюпящими тайну чужого языка. Маленькие подъезды с высокими ступенями лестниц, с изогнутыми лицами перил, наполненные пересечениями жизней. Жизни ограничивались стенами квартир, но выходили за них обрывками голосов, разговаривающих на своём языке, жизни сплетались и накладывались друг на друга, и подъезд хранил их безмолвно и бережно, и он стоял в этом подъезде как между трех морей, и слушал всплески чужих жизней, и не чувствовал себя оккупантом, а чувствовал себя впущенным посторонним и молчал. На пятом этаже перед единственной забитой дверью на чердак лежали сваленные в кучу старые матрасы, как доказательство доверия жителей к своему незамечаемому привычному подъезду; и эти матрасы были для него незначительным и неважным, но все же подарком — разложив их, он ляжет и заснет перед забитой дверью на чердак в теплом подъезде на последнем этаже. Но это надо будет сделать потом, позже, когда голоса за дверями затихнут, и, значит, все уже легли спать, и никому в голову не придет подняться по лестнице на пятый этаж и посмотреть, что там с матрасами. А сейчас он просто стоял у окна между вторым и третьим этажами, слушал обрывки фраз на незнакомом языке и, когда голоса звучали ближе, немного напрягался: сейчас они выйдут, и он увидит этих людей. Но голоса снова скрывались в глубине квартир.

Ему не хотелось выходить из этого подъезда назад, на холодную улицу, но он понимал, что незачем зря рисоваться, раз он собирается здесь спать. Поэтому, постояв еще немного, он медленно пошел вниз по ступеням, касаясь перил руками. Дверь выпустила его на улицу и закрылась, ограждая чужие жизни. Он постоял к дому лицом, чтобы хорошенько запомнить и не перепутать, потом повернулся и пошел.

В этом городе было много костелов, где всегда открыты двери, где можно сидеть, и никто тебя не прогонит; было еще одно кафе, в котором люди, имеющие отличные от общепринятых идеи насчет самовыражения, собирались вместе, чтобы количеством доказать себе свое право существовать, — там он тоже чувствовал себя спокойно, потому что не привлекал внимания. Был и единственный православный монастырь, где он провел три ночи в большой комнате, условно именуемой «гостиница», и поначалу это даже оказалось интересным — появиться среди людей, случайно или не случайно оставшихся в этом городе без

ночлега и разговаривающих на твоём языке, и молча слушать, и вникать во взаимоотношения, и видеть, как они рождаются или продолжают. Но к третьей ночи все уже было понятно, и ещё кое-кто из старожилков, присматривавшихся к нему в то время, когда он присматривался ко всем, уже начал вовлекать его в разговоры и предлагать планы для совместного выживания. Кроме того, там надо было отстаивать все службы, а в этом он сейчас не видел смысла.

Глупо было надеяться на то, что этот город может его спасти.

Он сидел в этом кафе, очень медленно пил кофе из маленькой чашки (денег осталось совсем мало) и смотрел на лица людей, которые были ему приятны, потому что это были умные лица, или добрые лица, или красивые лица, и у многих были длинные волосы, и какое-то время назад он мог бы стать другом каждому из них, и выучить язык, если бы это понадобилось. Но сейчас это ничего бы не изменило. Все слишком запуталось, и, сколько он ни старался, он не мог разглядеть продолжения.

Он поднял чашку, прикоснулся к ней губами. Потом поставил чашку на стол и некоторое время сидел, не думая и почти не видя.

Потом в поле его зрения явился человек со снегом, выпавшим на воротник. Человек стоял в очереди у стойки. Медленно он понял, глядя на снег на воротнике, что снег идет на улице. Ему захотелось посмотреть, но окна в кафе были из цветного пузырчатого стекла.

Он знал, что увидит, когда выйдет: узкие улочки, такие белые и красивые, и снежинки в свете фонарей.

Я, Эгле Калиникайте, сидела за столиком с Аудрюсом. Я сказала Аудрюсу: посмотри на человека, который сидит за столиком у окна. Аудрюс посмотрел и обернулся ко мне. Ну, что, сказал Аудрюс. Я сама не знала, что. Я, то есть Эгле, сказала Аудрюсу: ты не находишь, что лицо его знакомо? Аудрюс только пожал плечами и ответил, что, наверное, он из Москвы или из Ленинграда, здесь их много. У нас с Аудрюсом отношения, но в последнее время мне не нравится его поведение. Мы здесь вдвоем сидим, но в то же время это традиция, находиться вечером в этом кафе. Почти все здесь более или менее знакомы, но этот человек — нет. Я говорю Аудрюсу, что, во-первых, нельзя быть таким дубовым националом, а во-вторых, по-моему, я где-то видела этого человека. Он здесь и вчера сидел, возражает Аудрюс. Эгле объяснила, что не в том дело: «Мне кажется, что это мой знакомый, но я никак не могу вспомнить». Аудрюс со скучающим лицом поглядел в потолок, где

красные лампы, побарабанил пальцами по столу. Потом он произнес, демонстрируя свободное обращение с первоисточниками: «Все, что ему нужно,— это любовь». Затем он предложил мне полюбить этого человека. В последнее время поведение Аудрюса сильно отдает хамством, поэтому мы расстались холодно. Аудрюс ушел, даже не сказал, куда, я осталась покурить с Ромой. Кроме того, мне хотелось еще раз посмотреть на этого человека и вспомнить, где я могла его знать. Мы поговорили с Ромой обо всем, потом вышла Анна и тоже закурила с нами, тогда я достала еще одну сигарету. Затем я немного проводила Рому и Анну, им было в одну сторону, и вернулась. Я знала, что кафе скоро закроется. Я стояла у окна и курила. Столик, за которым сидел этот человек, находился у этого окна, только с другой стороны. Отсюда мне не могло быть ничего видно сквозь стекло. Но я знала, что через двадцать минут кафе начнет закрываться и все выйдут, кто пока еще там сидит. Мне оставалось ждать не так уж долго.

Не успела я докурить свою сигарету, как увидела этого человека. Он вышел и посмотрел на меня. Я поняла, что он узнал меня и сейчас подойдет и скажет, где я с ним имела встречу. Все это была одна секунда: он шел ко мне и посмотрел на меня, и узнал. Улыбка встречи была готова сорваться с моих губ. Вдруг он прошел мимо. Мне было трудно понять, что я ошиблась. Если так, то значит, он не на меня так посмотрел. Но за мной и рядом нет больше людей. Действительно, кафе уже было закрыто.

Не успела я подумать, как я уже шла в ту сторону, куда ушел этот человек. Я шагала быстро и обогнала многих. В воздухе реяли блески маленьких снежинок. Я пока ничего не думала и, может быть, даже не за ним шла. Но зачем же я тогда шла? Совершенно определенно, я искала его глазами. И вот я увидела его. Он шел впереди, неспешным шагом. Это мгновенно отрезвило меня. Я могу спросить его, который час, могу спросить, откуда он, могу спросить, как его зовут и где мы могли встречаться. Однако, кажется, все уже было, и он ответит нет. Эгле красивая, и, если даже он просто посмотрел на нее поэтому, он пошел бы. Значит, он не захотел. Он имеет свои дела, просто нескромно останавливать его, если бы ему нужно было, контакт произошел бы уже тогда у кафе.

Каждую секунду я готова была остановиться и повернуть назад. Однако я все шла, держа в прицеле его спину. Единственным оправданием Эгле могло быть то, что об этом никто не знает.

Эгле идет прогулочным шагом, видит, что город красив. Я люблю свой город, свою маленькую страну, не люблю чужих, непонимающих, несущих грязь. Человек сворачивает в арку дома. Я дохожу до этой арки, глядя, как красиво

покрывает снег мой маленький, маленький старый город. Знаю, что пойду дальше. И сворачиваю за ним, вопреки.

Миллион мыслей проносятся в один миг. А если Аудрюс прав, вдруг он русский? Этот ужасный язык, я знаю, я никогда не смогу правильно произнести слово «мальчик». Нет, я не собираюсь ничего говорить, делать, мне не придется отчитываться. Эгле получается охотником. Он не видит, не заметил, не узнал. Хорошо, так. Улыбка улетела как птица в снег. Птица не пуля. Он не увидит, не узнает, не заметит.

Он входит в подъезд. Эгле видит. Она спокойно подходит к подъезду, берется за ручку. Ей надо услышать, щелкнет какая дверь. Она входит, поднимается по ступенькам. Она слышит только свои шаги, больше ничего. Она начинает подозревать, что он исчез, и это приносит облегчение и свободу, ей хочется рассмеяться, она вдруг видит, что делала. В следующий момент ее окатывает кипятком. Она видит, что этот человек стоит у окна между вторым и третьим этажами, к ней спиной.

Не чувствуя своих ног, Эгле поднимается. Его фигура четко очерчена на фоне белого окна, за которым снег. Эгле всходит. Шаг, шаг, он повернется — она умрет. Она опускает глаза. Проходит так близко, что слышит его дыхание. Она идет по лестнице вверх и не чувствует себя и своих ног.

Все, дальше некуда. Дальше на чердак. Она не пойдет туда. Она думала, что охотник, но оказалась в западне. Она стоит у окна, она не видит ничего, она слышит все. Она слышит молчание.

Лицо пылает, Эгле прижимает ладони. С каждым ударом сердца кипятки обливают ее. Из нее рвется крик, плач, вопль, но ужас превратил ее в камень. Она знает, что сейчас умрет, и животный ужас, не находя щели для обвинения наружу, мечется и заворачивается в круг.

Прошло не меньше жизни, прежде чем она услышала движение, а потом шаги, уходящие вниз. Она стояла.

ЦЕЛЫЙ ВАГОН УХОДЯЩИХ МАЛЬЧИКОВ

— Девчонки, подъем! Хватит спать, вставай, подъем! Станция «Вылезайка»!

Ика поразилась настойчивости, с которой эти люди осуществляют свое черное дело. «Девчонки спят», — говорил один кому-то. «Да они уже давно проснулись, просто притворяются», — отвечал другой голос, и — это уже ей — «Девчонки, просыпайтесь! Подъем!»

А вот вы не знаете, притворяюсь я или не притворяюсь.

А у меня ни одна мышца не дрогнет. Веки не шевельнутся. Улыбка не тронет губ. Вряд ли у меня такое благостное лицо было, когда я на самом деле спала. А потому что я в своем праве. А вы просто хамы, дорогие товарищи. Покричите, покричите, вам надоест раньше, чем я открою глаза. Ваше хамство наткнулось на границы моего права спать.

Но тут хамство перешло границы, и Ику потормошили за ногу.

Ика пробормотала невнятное, потом открыла глаза, поднялась на локте и сразу села в угол, поджав ноги и натянув на них куртку. В вагоне было холодно, и из окна дуло. Их было аж трое. Ика посмотрела на них сколь возможно более хмуро и мрачно. Трое коротко стриженных одинаковых мальчиков в телогрейках, двое рядом с ней и один с краю напротив. Мальчики смотрели на Ику с живым любопытством, и тот, что напротив, перегнувшись в соседний отсек, сказал кому-то:

— Проснулись девчонки.

И тут же оттуда выглянула еще одна стриженная голова, посмотрела на Ику, округлила рот и глаза и, охнув, исчезла. Мальчики ерзали на сиденье и скалили зубы.

— Какая станция была? — спросила Ика хмуро.

— Вильнюс, — ответили мальчики.

— Тишина, — сказала Ика, выворачивая голову, чтобы взглянуть в окно — поезд несся в сплошной черноте, — и спокойствие царили до Вильнюса. И люди спали. Но зачем людям спать. Это очень плохо, когда люди спят. Надоно немедленно всех людей разбудить.

— Мы к вам в гости, — сказали мальчики. — Хватит спать. Выспитесь еще.

Из-за столика, заграждающего от Ики соседнюю полку, явилась круглая рожа ее подруги Лизы. Лиза посмотрела на Ику круглыми, ничего не выражающими глазами. Зажмурилась и снова посмотрела.

— Это гости, — объяснила Ика. — Гости. К нам. Хватит спать. Выспишься еще. Когда-нибудь. Когда-нибудь послезавтра.

— Девчонки, — сказал один из мальчиков, очень похожий на одного Икиного знакомого, такого хорошенького дурачка с глазками-звездочками. Так сильно похожий, что Ике захотелось отождествить их, а потом стало неприятно, и она перевела взгляд на Лизу. — Девчонки, можно у вас взять сигарету?

Сигареты лежали на столике. Те двое тоже потянулись. «Берите, берите, — приговаривала Ика. — Все берите. Ботинки берите. Куртку — а зачем мне куртка? Пейте мою кровь».

— Девчонки! А как вас зовут?

Ика вдохнула побольше воздуха и гадким голосом завизжала:

— И-и-ирааа! — Все так и покатались со смеху. Даже сама она не ожидала, что так гадко получится.

— А тебя как? — спросил другой мальчик у Лизы, предвкушая веселье.

— Так же, — сказала Лиза тихо и значительно. — Но с другим ударением.

— Все, — сказала Ика, решительно опуская ноги прямо в ботинки; потом, поднимая по очереди, подтянула и завязала шнурки. — Я пошла курить.

— Мы и здесь можем покурить, — объявили мальчики.

— Вот вы здесь и курите. А я, пожалуй, туда схожу.

— Хо, важная какая, — загадели мальчики. Но Ика уже шла к тамбуру, шлепая большими башмаками. Башмаки стоили семь рублей в магазине «Спорт», Ика купила специально на два размера больше, чтобы можно было одеть пару шерстяных носков. Она услышала, как Лиза значительно отвечает мальчиком: «А я не курю».

В тамбуре лежал снег у обеих дверей и никого не было. Все остальные мальчики, какие есть на земле, скопились перед тамбуром, у туалета. Они открыли окно, и ветер дул им в короткие волосы. Они курили и выдували дым друг другу в уши, и выкрикивали фразы грубыми голосами, стремясь заглушить друг друга, стук колес и странный звук, похожий на далекий волчий вой. Ика с трудом протиснулась между ними, прикурила у кого-то и юркнула в туалет, завернув за собой замок. Ей вовсе не хотелось стать для них еще одним поводом перекрикивать друг друга.

Странный звук заполнял весь туалет. Это пела труба.

Труба умывальника, через которую вода стекает вниз, на убегающие шпалы. Ветер дул в нее снизу, ветер между колес. И она гудела. Это было похоже на целый симфонический оркестр, тянущий один, тревожный, печальный аккорд. И стук колес вплетался в этот низкий глубокий звук, как ударник.

Она докурила и вышла. Там уже никого не было, только один мальчик стоял у открытого окна. Ика спросила, который час, и мальчик хмуро ответил: три. Он был еще более хмурый, чем она десять минут назад. Ика закрыла за собой дверь и пошла по вагону.

Все остальные мальчики, какие есть на земле, теперь сидели в их отсеке. Увидев это, Ика застыла как столб. Лиза, затертая в дальний угол, мерцала оттуда своими круглыми совиными глазами. Лицо ее хранило неуместное выражение бесстрастности.

Ика присела на боковое место. Мальчики все обернулись к ней и сказали:

— О, вот она пришла, садись, садись сюда. — Мальчики веселились вовсю и курили прямо в вагоне.

— Нет,— сказала Ика.— Вас слишком много.— «Садись, садись, чего ты боишься»,— кричали мальчики. Ика посмотрела в круглые совиные глаза Лизы и сказала ей:

— Се вид отечества. Гравюра.

Дальше шло: «На лежанке солдат и дура».

Лиза оживилась и, давась смехом, провозгласила:

— Се вид отечества! Лубок!

Один мальчик тормозил Лизу и пытался ее приобнять. Лиза поджала губы и вежливо отстранила мальчикову руку. Тогда мальчик оставил ее и обернулся к Ике. Рот его расплылся до ушей. Он объявил:

— Это моя жена. — Его заявление было встречено взрывом радости. Мальчик продолжал: — У нас трое детей. — Довольный донельзя, он обратился к Ике: — Жена! Садись сюда!

Ика перевела взгляд в окно. Поезд несся в сплошной черноте. Снег едва угадывался.

— А вот и дедушка пришел! — закричали мальчики. — Дедушка, познакомься с нашими девушками! Это наши девушки!.. Это моя жена, у нас трое детей!

Дедушкой они называли еще одного мальчика, в кепке и с длинной челкой, заправленной за ухо.

— А, духи, вешайтесь! — сказал веселый дедушка. — Не вижу радости в глазах, отставить, упали, отжались тридцать раз от пола.

Мальчики захохотали, а один посоветовал:

— Это ты настоящим дедушкам скажешь, вот они тебе впендюрят.

Дедушка уселся на стол и спросил Лизу:

— Вы откуда?

— Я из Херсона,— ответила Лиза с достоинством.— А она из Минска.

— Тьфу ты,— сказал дедушка.— Едете, спрашиваю, откуда?

— Из Риги,— сказала Лиза, недовольно поджав губы.

— В общем вагоне? — удивился дедушка.— Могучие вы... девчонки.

Лиза повела плечом: так уж.

— В Минск едете? — продолжал дедушка.

— А потом в Москву,— сказала Лиза.

— И опять в общем? А что в Москве?

Лиза опять повела плечом, но снизошла до ответа:

— Друзья.

— А живете в Минске? в Херсоне? Все, я запутался! — объявил дедушка и откинулся к окну.

— Это моя жена,— сообщил ему мальчик.

Ика отвела взгляд от окна и сказала:

— Ваши жены — ружья заряжены. — Мальчики захохотали. Тот, что похож на ее знакомого, закричал:

— А знаете, почему женщин в армию не берут, знаете? Потому что они неправильно понимают команду «ложись»!!! — После чего посмотрел на Ику, и лицо его стало умильно-виноватым. — Извиняюсь. Больше не буду, правда. — Он доверительно заглянул ей в глаза, ставший еще больше похожим на того симпатичного дурачка.

— Спойте что-нибудь, девчонки, — сказал мальчик, сидящий у окна на Икином месте. — Скучно без музыки.

— В туалете музыка, — сказала Ика. — Я серьезно.

— Не, ну правда. Спойте. Эх, жалко, гитары нет.

— Какая гитара, — сказал еще кто-то. — Ща уже выйдть будем.

— А какая станция? Сейчас, да?..

— А я не пойду! — объявил мальчик, который говорил про жену. Лицо его сияло от удовольствия. — Я с девчонками в Минск поеду! Возьмете меня в Минск, девчонки, да?..

— Нет, — сказала Ика.

— Жена! — сказал мальчик строго и погрозил пальцем. Тут же лицо его опять расплылось в счастливой улыбке, он потянулся и вытащил из-под сидящего на столе дедушки браслет. — Чей браслетик?

— Мой браслетик, — сказала Ика.

— А подари... на память, во!

— Не дарится, — возразила Ика. — Заветный. Это мне любимый подарил.

— Да поставь, где взял, — вмешался дедушка, отобрал браслет и положил на стол. — Все равно деды все снимут.

Вдруг в общий галдеж прорезался сухой голос, приближающийся к ним. И вот по проходу прошел высокий, как шкаф, военный в серой шинели. Он мельком взглянул на мальчиков, скользнул по Ике и сухо приказал: «Всем одеваться и на выход». И тут же пошел дальше, его голос был слышен из другого конца вагона, и командовал одно и то же. Потом он прошел назад, уже ни на кого не глядя. Ика выпрямилась, стряхивая с себя его взгляд, отказавший ей в праве на существование, и посмотрела на мальчиков.

Мальчики вставали и застегивали телогрейки и вполголоса, со сдавленными смешками, перебрасывались словами. «Станция «Вылезайка!»» — повторяли они. Они стали вытекать в проход и слились с мальчиками, выходящими в проход из других отсеков. Вся куча мальчиков медленно продвигалась к выходу. Из-за перегородки, из кучи голов вдруг вынырнула голова в шапке, увидев Ику, расплылась в улыбке:

— Жена! Будешь изменять — убью! — Вагон дрогнул

и остановился. Голова повернулась затылком и смешалась с другими затылками.

— Это вам.— Дедушка, высунувшись наполовину в их отсек, бросил конфету, и Ика ее словила. Мальчики, толкаясь и ругаясь матом, потекли к выходу. В вагоне становилось пусто и тихо.

Ика встала и подошла к окну. Фонари на маленькой станции освещали снег, мальчики, сбившись в кучу, топтались посередине. Военный, похожий на шкаф, что-то командовал. Ика помахала им рукой. Кто-то из мальчиков заметил ее в окне и ответил, а потом все мальчики повернулись, и все махали руками. Ика послала им воздушный поцелуй. Еще немного постояла, потом отошла и села напротив Лизы. Лиза бесстрастно что-то жевала. Ика посмотрела на стол и увидела пустую конфетную бумажку.

— Сволочь! — восхитилась она.— Сожрала подарочек!

Лиза произвела лицом и плечами движение, выражавшее покорность судьбе.

— Вот,— сказал она, прожевав.— Тишина и благодать. Можно спать. А кто разбудит нас в Минске?

Ика встала и подошла к окну. Она увидела, как мальчики вереницей уходят вдаль по проторенной в снегу тропинке.

— Осталось, между прочим, три часа,— сказала Лиза.— Мы проспим, как суки.

По вагону прошли два человека, Ика, стоящая на коленях на боковом сиденье, посторонилась и убрала ноги с прохода. Потом она села на свое место. Еще какой-то человек пришел и сел там, где она только что смотрела. Лиза укладывалась, пытаясь натянуть свой полушубок на ноги и на плечи, и ворчала, что холодно и жестко. Поезд тронулся.

— А вы не до Минска? — спросила Ика у человека. Человек ответил, что да.— Разбудите нас там, пожалуйста,— попросила Ика.

Человек сказал, что если сам проснется, то конечно.

ДЕТИ

Матвей вернулся весной, в апреле, в три часа ночи.

В три часа ночи он, обернувшись назад, чтобы крикнуть «спасибо» и «счастливого пути» шоферу, едущему дальше, в Паневежис, спрыгнул с подножки КамАЗа на обочину кольцевой дороги. Затем машина уехала, разбрызгав грязь, а Матвей постоял, глядя на высокие дома, раскинувшиеся перед ним, достал «Беломор» и спички, закурил, перекинул за спину сумку и пошел в город.

В такие моменты человек имеет право не быть под

наблюдением, а потому мы не станем расписывать, что он думал и чувствовал, идя под желтым светом фонарей, глядя на желтый свет мигающих светофоров, глядя на редкие легковые машины, пролетающие мимо, до которых теперь нет дела, потому что осталось-то всего два шага. Встретите его — спросите, а если он не захочет вам рассказывать, то, значит, и не нужно.

Он вошел в знакомый до боли подъезд, вызвал лифт знакомым движением, увидел на стенке лифта пацифик, нарисованный им же триста лет назад. Елы-палы, подумал он. Однако, забавно. Кажется, это и впрямь его дом... весьма интересное ощущение. Потом он стоял у двери, обитой коричневым дерматином, и давил на кнопку звонка до тех пор, пока с той стороны не раздались шаркающие шаги и испуганный дребезжащий голос не спросил: «Кто там?»

Разбросав сумку, сапоги и куртку по коридору, Матвей сидел в кухне на табуретке, вытянув ноги. На плите кипел чайник. Бабка сутилась вокруг, доставала какие-то прянички и печенья, открывала и закрывала холодильник, бормотала что-то нелестное в Матвеев адрес. Матвей не слушал: секунду назад ему что-то показалось, и теперь он смотрел на бабку и пытался понять, что. Что-то очень важное. Он спросил:

— Ирина Казимировна, тебе сколько лет?

— Ну, конечно, — сказала бабка с достоинством, обращаясь от плиты. — Вот они, внучеки-то. Бабка их кормит, бабка их поит, бабка их на горбу носит, а они не знают, сколько бабке лет.

— Шестьдесят один, — сказал Матвей. — Я знаю, только я вдруг понял, что это неважно. Слышишь, ба, мы с тобой равны. И у тебя, и у меня все в первый раз.

— А трасцы ты в зубы не хочешь? — поинтересовалась бабка. — Равны! Ишь ты его, был оболдуем, а прошлялся год неизвестно где, так совсем с глузду съехал. Проживи сначала с мое.

— У нас одна-единственная дистанция, — продолжал Матвей, боясь упустить то, что показалось. — И мы проходим ее единственный раз... первый раз. И все, что мы видим, мы видим первый раз. А значит, нет никакого опыта, это только иллюзия... Или нет, лучше так, каждый раз опыт, но поскольку ничего не повторяется, то каждый опыт мы вынуждены решать самостоятельно... Понимаешь?.. Опыт, возраст, старость — ничего этого нет. Мы все — дети... а еще мы не от однообразия устаем, а именно от разнообразия, от того, что вынуждены решать мир по новой и по новой, и окончательного решения... Это фигня, что говорят про смену поколений и что вот вы, родители, виноваты — как они могут быть виноваты, в чем виноваты, если они

все видят первый раз?! В чем их можно обвинить, если они ничего не знают, они точно как мы, вот у тебя, например, впервые внук из дому ушел, а через год впервые вернулся, откуда ты можешь знать, что делать?..

— Не понимаю я, что ты такое говоришь,— сказала бабка и от неудовольствия аж рукой по столу прихлопнула.— «По новой и по новой»,— передразнила она,— заладил, попугай желторотый. Побираха ты, вот что, и больше ничего.

— Мы все дети,— медленно повторил Матвей.— То, что тебе шестьдесят один год, это все равно, что ты вчера родилась.— Он откинулся к стене и закрыл глаза, чувствуя ясность открытия и думая, не покажется ли ему это завтра, когда он выпитися, бредом.

— Вот свинья беспардонная,— удивилась бабка.— Вот холера. Черт лысый.

Матвей встал и выключил чайник, который злобствовал, испуская пар, и тоненько позвякивал крышкой.

Евгения Перепелка

ШОФЕРА

В нарядах из роскошных дыр
Толпятся рощицы косые.
Раскинулся холодный мир
Над увядающей Россией.
Сводя дороги в тупики,
Огромным дулом ночь зияет.
В ней шофера, как ямщики,
Друг другу честно помогают.
И если даже ветер стер
Надежду в карте пред тобою —
Иди! Тебя спасет шофер.
И даже двое. Или трое.

* * *

Как я хочу быть тем мужчиной
В потертой куртке черных кож,
Как бог, владеющим машиной,
А чувством меры — ни на грош,

И сесть в машину, хлопнув дверцей,
И быть спокойным, как никто:
Курить, не вздрагивая сердцем,
Когда спидометр за «сто».

Он зрелый, скоро будет старый.
Ему на это наплевать.
И он летит, сжигая фары,
И нечего ему терять.

* * *

В плену у кожаной тужурки
Таксист томится целый день.
Его глаза наглы, как урки,
Которым шевелиться лень.
Он вас разденет и оденет,

Обыщет, вывернет карман.
Но только вот куда он денет
Ленивых глаз своих туман?
В тумане том стоят болота
И люди мерзнут у ларька,
И кто-то смотрит на кого-то,
Как будто взгляд его — река.





Авиа-3042VI

НИНА ИСКРЕНКО, имеет пол, возраст, образование, семейное положение и ряд других признаков, не играющих существенной роли в процессе художественного постижения действительности. Член московского клуба «ПОЭЗИЯ». Стихи и тексты публиковались в Москве, Ленинграде, Париже, Сан-Франциско, Иерусалиме, Одессе и др. Жертв и разрушений нет.

ЮЛИЯ НЕМИРОВСКАЯ: «Амазонки никогда не вызывали у меня симпатии. По-моему, нет ничего лучше семейственности и миролюбия. Я люблю обывателей, заботливых мамаш, работяг и сельчаков. Изнанка романтической взвинченности гораздо прозаичнее нормы. Для стихов, напротив, заурядность гибельна. Поэтому жизнь и поэзия редко едины».

МАРИЯ ГАЛИНА: «...1958 года рождения, по специальности — биолог. Жила и работала в Одессе. Печаталась в областной и республиканской печати. Побывала с экспедициями во многих районах Советского Союза. (Можно называть — Маша Галина, чтобы не путать имя с фамилией.)

ЕЛЕНА КАЦЮБА: «Я представляю здесь группу ДООС (Добровольное Общество Охраны Стрекоз), куда входят поэты и художники. Нас объединяет отношение к Слову как иероглифу, в котором соединяются в одно целое СМЫСЛ, ЗВУЧАНИЕ и ИЗОБРАЖЕНИЕ. Наш девиз: «Ты все пела? Это — дело!» Стрекоза — это символ неудержимого полета и безграничного зрения».

ЭВЕЛИНА РАКИТСКАЯ: «Можно обо мне скажет мой друг?» — «Можно». — «Кажется, что Эвелина говорит последние, самые важные для нее слова, как в пропасть кидается, и это для нее единственный способ жить и писать. В пропасть, чтобы не пропасть. Стихи о России — для нее самая что ни на есть задушевная лирика...»

МАРГАРИТА ПОТАПОВА. Родилась во Владимирской области. Жила в Новгороде. Сейчас живет в Каргополе Архангельской области. Двое детей. Дочь Маша, сын Егор. Муж Саша.

ЛЮДМИЛА АБАЕВА: «Поэзия — язык души, которому следует столь же прилежно учиться, как алфавиту и нотам, пока с беспощадной ясностью не откроется, что красота спасет мир...»

Нина Искренко

ФИВАНСКИЙ ЦИКЛ

(88.)

Пролог
Краткое содержание цикла
Призрак (монолог Эдипа)
Осада Фив (битва Этеокла и Полиника)
Допрос
Колыбельная (ночь после допроса)
Поход эпигонов
Референдум

ПРОЛОГ

ЗАЧЕМ

высоким голосом наитья

ЗАЧЕМ

спокойным голосом рассудка

ЗАЧЕМ

скабрезным басом вождельня

ЗАЧЕМ

сухим хихиканьем безумства

ЗАЧЕМ

блаженным космосом толпы

Зачем перелопатили могилы
Перекупили лучших летописцев
свернули в матрицу пивные прорицанья
и отраженья в ступе истолкли

Когда слепые входят в царство мертвых
Когда выходят мертвые из трупов
и как партнеры поднимаются по трапу
и держат паузу как рыбы и пророки
и медленно сошествуют в народ

Когда река течет наоборот
и берега срastaются в подвалы
дебилы рвутся в интеллектуалы
и пушки занимают левый ряд
и верные сыны уходят в запевалы

Когда трава вмерзает в кованую медь
Когда судьба кончается на Ять

и хочется пинать ее ногами
и хочется урвать положенную треть
и выстроить дворцы в помойной яме
а то и просто в землю закопать
а то уж и не хочется
Как знать

Кому пристало говорить с богами
Кому серпом ударить по кимвалам
Кому на бочку влезть
и пукнуть в рифму

Кому отстать
и тенью захлебнуться
изображая только пустоту
Зачем тебе герой
седьмая голова
и семивратный град
в котором не родишься
Когда и так всего боишься
зачем тебе еще права
Как тот орел картонный раздвоишься
Как эта топь по-своему жива
пробудешь

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА

Вот мчится мчится колесница
не остановится никак
Летает камень сам-дурак
Овсы с испугу колосятся

Сейчас здесь будут убивать
Единогласно Или списком
Оглобли разлетятся с треском
когда случится убивать

А слуги будут горевать
жалея те оглобли
Слуги
нелепые распустят слухи
чтоб веселее было горевать

Сначала сын убьет отца
Но как бы не подозревая
Как бы уныло напевая
столкнет с обрыва мертвеца
Потом утешит мать-вдову
но тоже там не по-фрейдистски

а по-товарищески детски
обнимет в придорожном рву
сквозь сон и прочую
халву

Потом их дети захотят
себе чего-нибудь немножко
И вынуть ножик или пушку
их вера им не запретит
Как брата брат
 побрив макушку
они друг друга сократят

И в пункте А случится взрыв
негодования и отваги
Напялив каску на бумаги
вспорхнет герой всегда готов
занять пустующие дроги
и скотный трон и псарню
 и альков

И отделив добро от брака
от грека грека отделив
собакам бросит горделив
излишний труп
 Который час однако?

Час от часу
 Потя впрок
межу пропадет просветитель
Летите голуби летите
Труби трубач Алей Восток

Потом безумная босячка
по-христиански рассудив
останки закопает в кочку
обштопав стражу и ментов
Но это вялый рецидив

Ее свинтят как дважды восемь
В семейный упакуют склеп
Она удавится
 Без карточек на хлеб
без пенсии и современных песен

И будет тесен миру мир
И взор Создателя капризен
И весь сюжет изжеван и безвкусен
застынет как тягучий вар

Комар прославится трудом
И мышь совою поклянется
И вор починет колесницу
И снег пойдет
по проводам

ПРИЗРАК

(монолог Эдипа)

Я немного старый чтобы выпить
и немного трезвый чтоб колоться
Здесь так много окон Или это лица
У меня отшибло только память

Я в опале Или во поле Не помню
Я законный брат своим сынам законным
Здесь так много окон Черные на черном
Словно лица Или это камни

Тут пришли какие-то хлопочут
говорят Айда на баррикады
Фарисейство мол И Сумрак Ночи
Не пойду ребята Гадом буду
Ухмыляются Мол будешь будешь гадом

Ухмыляются поглаживают китель
Кони их пощипывают травку
Убери ты к черту монтировку
Я тебе не первый заместитель

Я немного мертвый чтоб бодаться
и немного слеп для красной тряпки
у меня в ушах немного гвозди
И одна нога чуть-чуть в колодце

Я ни за кого не голосую
Я живу в лесу и ем каштаны
Не спасут меня родные стены
Если даже я их не спасаю

Я всего лишь царь И мне не отвертеться
Мне давить вино повапленной рукою
и махать кровавым полотенцем
из одной античности в другую

Я ни за кого не голосую
Только это тоже не спасает

ОСАДА ФИВ

(битва Этеокла и Полиника)

— Привет, старик.
— Что у тебя в руке?
— Да так, валялось на дороге. Нно, не балуй.
Окороти-ка, слышь, своих амбалов.
Давай вперед поговорим на ветерке.

— Давай.
— Что дома?
— Я не знаю где твой дом.
— Не знаешь? Блин.
(Короткий выпад слева)

— Ах, так. Дешевой славы захотел, шалава.
СТАНЬ ЗДЕСЬ.
(Становятся в позицию один.
Становятся. Садятся. Встают из-за
стола.

На мрамор сыпят пепел.)

Что? Замохал?

Давно ты, парень, братской помощи не нюхал
из арамейского котла.

Давно в твоём раю бесплатное метро,
как крыса, по тебе не пробегало.

И ведомость хозяйственного мыла
не плавала в бачке, как видимость утрат.

Пора, мой друг, пора!

И так мы дали фору.

(Дерутся. Курят. Опрокидывают трамвай.)

— Что? Изувечил? Не переживай.

Тебя же похоронят под фанфары.

Причешут, склеят. Будешь, как живой.

Причешут, склеят. Если мухи не склюют,
со мною спутав.

— Есть еще вопросы?

(Вопросов нет. Есть дротики, обрезы.

Есть даже пулемет.

Дерутся. Поворот,

укол, захваты, пассы,

и новый поворот.

Шесть городских ворот

горят как алтари.

Тепло от клюквы, хлюпающей в латах.

Шесть городских ворот

в кишках и амулетах.

И только на седьмых — державная заря.

И только на седьмых, вне знаков и систем, —
державная заря. Условная, как знамя.

Дерутся. Умирают. Дергают ногами.
Встают. Расходятся задами
по внутренним покоям и скитам.)
— Прости, старик. Что можем мы
в сравнении с тем,
что могут с нами...

ДОПРОС

АНТИГОНА

девочка с приветом
Что ты замышляешь под гребенкой
Кто тебя ушиб бетонной стенкой
Ты же кончишь даже не стройбатов

Что ты так вцепилась в эту пададь
Гром небесный Выгляни в окошко
Всюду праздник Белые рубашки
Унтер-цезарь шпарит по бумажке
Умники его стоят поодадь

Над его врагом кружат вороны
Он не будет нынче похоронен
ОН НЕ БУДЕТ Слышишь Антигона
Ну и вонь Закройте что ли рамы

Может быть ты просто идиотка
Кто же ходит поперек трамплина
Камикадзе Скомканная ватка
в горле триумфального тромбона

Антигона посмотри на Дядю
У него же лапы как у быдла
Антигона У него же когти
У него же дети слышишь падло

Пожалей ты старого болвана
Что о нем подумают потомки
Кардиналы Фюреры Генсеки
Антигона У него же танки

Ты бухая дочь кровосмешенья
Тани Лариной и Зои-партизанки
У тебя же лопнет селезенка
стоит им начать свое шуршанье

У тебя же ухо в рот поедет
как они свои откроют сейфы

Антигона Нет такого кайфа
на какой у них мозгов не хватает

Или ты не знаешь гороскопа
Вспомни Боги потакают Эпигонам
гуннам конокрадам и легавым
Или ты ослепла с недосыпа

Ну очнись же Братец твой подонок
А жених ни курица—ни яйца
Будь они из Фив или с Лубянок
А х и н е й ц ы это А х и н е й ц ы

Деточка А может ты стукачка
шустрая лаврушкина подружка
биогормональная ловушка
и гребешь свое по безналичке

Или ты никак с иглы не спрыгнешь
Или что не сходится по Фрейду
У тебя в башке какой-то клавиш
западает Хочешь сигарету?

Ну подумай На кого ты тянешь

Хахали твои отвоевались
Скурвились дружки А может вышли в люди
Кто в Пелопоннес Кто в мегаполис
Кто опричь Да то ли еще будет

Антигона В мире антиномий
В мире верблюжатины и СПИДа
В фокусе общественного бреда
В мире книг животных и спецмнений

Кто ты Антиголубь Антимира
или диссидентская химера
в ракурсе Софокла и афгана
в темноте в отчаянье в тщете
во главе и в ГУМе у фонтана
Со щитом ты или на щите

Антигона Кто ты Антигона

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
(ночь после допроса)

Сегодня опять ничего не будет
Когда подойдет к бегущей груди ^{смирись}
Когда упадут в кипящую медь ^{вода}
Опять не поднимется легкий дымок ^{пруды}
Ты будешь собою когда позовут ^{здесь}
Ты будешь женою когда повелят ^{встань}
Ты будешь слюною когда зашипят ^{ляг}
Ты будешь звездой когда упадет ^{плюнь}
далекой звездой упавшей в пустой снег ^{снег}
Какой-то паршивец какой-то срамной ^{гном}
играет на розгах когда ты идешь в ^{храм}
и бродят собаки вдоль черных слепых ^{стен}
Ты знаешь что нет ничего за чертой ^{там}
Ты вспомнишь об этом когда позовут ^{встань}
Ты забудешь об этом когда повелят ^{ляг}
Ты вздрогнешь читая об этом в глазах ^{рабынь}
Ты эхом ответишь далекой звезде ^{ы-ы-ыnnnnnnньь}
далекой звезде ^{упавшей в пустой снег}

P.S.
В наборе банальностей есть вековой ^{смысл}
В молчании зрителей зреет дверной ^{скрип}
В дрожании зеркала жив горловой ^{спазм}

Но мало искусства в игре выхлопных труб
Но мало искусства И это дурной знак

P.P.S.
В палатке у озера есть надувной круг

ПОХОД ЭПИГОНОВ¹

Рожденный
после
ломать
не строит

Нас бросала молодость
под лежачий камень
Нас водила молодость
строим по нужде
величала молодость
корешки вершками
и желала сча-астья нам
в далекой Кулунде

Научила уступать
старшим
лейтенантам
мерить сантиметрами
площадь потолка
и локатором ловить
голос континента
и глушить
без просыпа
и писать в ЦК

Нас имела молодость
на колесах чертовых
нас манила молодость
словно грудь
четвертого
Трудовым почином
починили нас
Целиной-Сучаном
исцелили нас
чтобы не глядели мы
словно волки в лес

¹ Эпигон (букв.) — рожденный после.

чтобы и не вздумали
отойти от масс

Физики и шизики
медики и педики
чижики и пыжики
тузы и короли
самовары-чайники
граждане-начальники
чукчи и арцахи
псы и патрули

Берегите молодость
от дурного сглаза
на дубовой вешалке
в номерном шкафу
чтобы не пристала к ней
чуждая зараза
чтобы не пришили ей
пункт или графу

Берегите молодость
ивушку зеленую
над рекой склоненную
под-воду концы
Берегите принципы
орешки каленые
фигушки карманные
талоны и шприцы

Шитому и крытому
досыта не битому
шептуну горбтому
крестному отцу
Всем потрафит молодость
наша душка-молодость
наша-пышка-молодость
наша гоп-цаца

Вся она как стеклышко
от шнурка до колышка
всем она под горлышко
всем она к лицу

Спим как победители
Бдим как победители
Нам как победителям
все плывет само
С нами наша молодость

наша комсомолодость
вечная как молодость
прочная как
чмо

РЕФЕРЕНДУМ

Говорил Педераст Антиквару
Говорил Антиох Кантемиру
Говорил Одиссей Телемаку
Говорил йес-ыт-ыз Невер-мору
Говорил МНС Инженеру
и Пегасу коню говорил Телемост
прямо в морду

Ты Конек говорит Подзаборный
Перворотный мой сын миру-мирный
Ты лети напрямки выше хляби-реки
От Бараньего Рога до Курской дуги
с пересадкой на Курской-товарной

Говорил Корифей предрекая
примиренье Эдипа и Лая
Говорила Сивилла икая
чек в не винный отдел выбивая
о крестовом походе

без крестов и вериг
о походе крестовых шестерок в престольный кабак
и о кровосмешении рек

Говорил Пантократор а может быть рек
Ты лети мой конек Байконурный
между красной икрою и черной
между Черною Былью и Красной Москвой
И покуда не станешь травой морской
И покуда не глянешь в проем воровской
Между кованой грудью и тенью эфирной
И покуда не выпьешь Имбирной
на заплеванной станции Вечный Покой

Не касайся нас Господи светлой рукой

Юлия Немировская

СТИХИ О ЛЮБВИ

Мне нравится имя: Елизавета.
Я именно так назову свою дочку.
И ты с ней в Ялту поедешь на лето,
И ты ей купишь, что она хочет.

Я очень люблю, когда ты смеешься
В минуту, когда никто не смеется,
И женщине хочется быть бессмертной,
И дикие вещи на ум приходят.

Но раз не читал ты Марселя Пруста,
И раз ты вообще мне духовно чуждый —
Совсем уходи. Нет, ко мне поди ж ты,
Поди ко мне, чтоб тебе было пусто!

Глаза не целуй: плохая примета,
Платок не забудь: это всё к разлуке,
Я дочь назову свою Елизавета.
Умру от любви — и умру от скуки.

« »

Вотще, — с листа заметил Пушкин,
И я сосала это ще,
И, хохоча, как от щекотки,
Дала простор своей душе.
Вотще — рыдательное слово.
Как март, звук нов и водянист.
Так раскричался декабрист,
Радищев, шука у Крылова.
Почувствуй, как оно стекло
Из красной капельницы сердца
Такого зверя, как поэт,
По трубке весом в двести лет
В твои раскрывшиеся вены.
Напрасно (красной) — и мгновенно
Стал страшно ясным небосвод,
И рыхлый снег потек и высох.—
Напрасно биться в этих высях,
В огне неистовом горя.

Вотще, короче просто зря
 (Зрачок заранее напрягся),
 Зря как, зря где, каким зрачком,
 Какое из событий мира?

« »

А-а-а!

На самую первую букву откликнитесь,
 На огромную букву — размером с разинутый рот,
 Вы, друзей моих неисчислимые рати!
 Помогите! Придите со мной посидеть!
 Не тайком приютиться в больничной палате,
 Не за стол пировать, не оплакивать смерть —
 Просто так.
 Ты, влюбленный в сонаты и в девятиклассницу мальчик,
 Я глазами черчу голубую оправу очков
 На листе освещенного полдня,
 Ты, любимая с детства хвостатая Оля,
 В непривычных кудрях, в непривычном и праздничном
платье,
 Ты, мой пифагореец, крутящий загадочный кубик,
 Придите!
 Я одна здесь и бьюсь над своей беззащитнейшей жизнью.

А-а-а!

Меня время бросило в землю,
 Я должна прорасти в эти голые ветки стихов.
 Ну хотя бы чтоб срезать, чтоб срезать меня, приходите!
 Быть одной так нелепо, так стыдно — но без перерыва
 Вы проходите мимо и смотрите мимо счастливо.
 Я вас очень люблю, я ко всем вас до смерти ревную,
 Но уже не зову, а на землю ложусь ледяную,
 И одно за другим мне на руки слетают слова.
 А-а-а!

« »

В булочной-кондитерской
 Народу набралось.
 А где мое дитяtko? —
 Еще не родилось.
 А где моя книжечка? —
 Не вышла она,
 И кому моя книжечка
 Окажется нужна?
 А мне ваша булочка
 Нужна позарез.
 Несу ее надкусанную,
 Мокрую от слез.

Мария Галина

— что такое дорада?
— это рыба такая.
— что такое мурена?
— тоже рыба такая.
— что такое сирена?
— это дева такая
и устройство такое
для гудка и для воя.
И над морем молчащим,
в ожиданье застывшим,
и над лесом горящим
и над городом бывшим.
Что за предназначенье —
накричаться до дрожи —
на востоке — свеченье
и на западе — тоже.
На единственной ноте
так в ночи голосила —
та, из крови и плоти
состязаться не в силах...
Вплоть до сводов небесных
плача, требуя, споря...
Ей становится тесно
в этом внутреннем море.

« »

За скользкой подводною глыбой, за гранью поверхностных
вод,
где плавают черная рыба, где белая рыба плывет,
в накатанных водных просторах, меж ребрами материков
стоит неразборчивый шорох от всех корабельных винтов.
Их жители вод различают, однако, всему вопреки,
туда, где их сети встречают, сбиваются косяки.
Должно быть, их путает кто-то, живущий на материках:
сбивает их гул самолета, разряды в ночных облаках,
и вспышки ракеты сигнальной, и взрывы, и пульс маяков,

и грохот континентальных, бессонных ночных поездов...
Спешат за луною приливы, мерцает морская вода...
Куда же вы — Черная рыба, и Белая рыба — куда?

«»

Беспощадна зелень южных трав,
южный ветер, как наждак, шершав,
да волна, гремучая, как жесть —
вот и ладно, вот и все, что есть.
Да над морем — парочка планет —
ничего другого больше нет.
Что ж мы шарим посреди миров
пальцами ночных прожекторов?

«»

Прощай, Фаина! Ты проходишь серыми
дворами накренившимися, треснувшими,
где после стирки соседки с соседками
перекликаются, простыни развешивая.
С домов насупленных лепнина осыпается,
из кухонь тянет подгоревшими обедами.
Все крепко спят, никто не просыпается,
что бы ни делали, в какой бы сон ни бегали.
С лимана сырость осенняя просачивается,
под вечер натирают туфли новые,
и как ленивый маятник, раскачивается
над мостовую сумка продуктовая.

«»

Если считать от третьих ворот, что справа,
или идти от четвертых ворот, что слева,
до переулка, где покосилось древо
с выгоревшей, свернувшейся листвою —
там отсчитать пять шагов на юг, а потом — на север
на закате, когда тени всего длиннее,
то попадешь на холодный обрыв над морем,
где медвяная кашка растет и клевер.
Ничего с тобой, честно говоря, не будет,
не откопаешь никакого клада,
потому что больше ничего и не надо —
только смотреть, как облако цвет меняет.

А меня не убьют, потому что я здесь не жила
в этом скудном краю — понимаешь, какие дела,
в этом бедном доме, где темнеет в четыре часа,
потому как ни грамма не вешу на здешних весах.
А меня не убьют, потому что я здесь не нужна,
потому что еще никому ничего не должна,
там, где светится слово в сыром ноздреватом снегу
— там меня не убьют, потому что я жить не могу,
в этом городе, где темнота затопила дома,
вы простите меня. Всяк по-своему сходит с ума.
В ожиданье чудес, в предвкушении спелого дня
— если вы не убьете меня, то простите меня.
Я пройду незаметно по шаткой дороге земной
и полотнища света сомкнутся вдали надо мной.

Елена Кацюба

РОЖДЕНИЕ ЕВЫ

Анатомический атлас тела
бумажный атлас тела
метель
и металл
мельница опахал
плаха
для топора
опара
хлебного теста
тесно
ему на страницах атласа
бумага просвечивает красным
бьются артерии сетью, полной живой рыбы
рвут бумагу ребра
локти
отталкиваются от бумажной плоти
лопнула на губах бумага — получилась улыбка
рыбка
языка
раздвинула зубы
волосы
выпутываются
из бумажной трухи
пейте
из коленных чашечек
пейте
из чаш груди!

ВАРИАЦИЯ НА ВОСТОЧНУЮ ТЕМУ

По ступеням —
стук-стук
по дорожке —
шлеп-шлеп
деревянные сандалии восточного бога.
На его ноге-скамеечке

сидит маленькая девочка —
тростниковые ладошки —

хлоп-хлоп.

Полулунные глазницы, раздвоенный зрачок,
обезьянка на цепочке —

скок-скок.

Веером вибрируя,
щурился игриво.

Красный шелк — о чем-то тайном,
черный шелк — волос касанье,
белый шелк — пошел на кожу,
а на коже нет застежек.

Табакерка музыкальная на розовом меху,
там жемчужные фонарики внизу и наверху
помирают со смеху.

По морю как по суху.

посуху как по морю,

с посохом по миру —

хром-хром.

Вышитая шапочка набекрень,

на ногах браслеты —

дзень-дзень

в середине тела жужжит оса,

а на правой щеке — след колеса.

Эвелина Ракитская

* * *

Шестого ноября,
а это было в среду,
вернее — в пять утра седьмого ноября,
я поняла, что я
когда-нибудь уеду
к далеким берегам на теплые моря...

Стояла у окна,
курила и смотрела,
как медленно плывет осенний гиблый снег.
Я завтра уплыву, и мне какое дело,
как общая вина разделится на всех...

Я завтра уплыву в Америку с Канадой,
а может быть — южнее, на теплый материк.
Не оглянусь назад.
Не удостою взглядом.
А если оглянусь — окаменею вмиг.

...С тех пор я каждый день
как будто уезжаю.
Приходят провожать меня мои друзья.
И я их так люблю, как будто провожаю.
Нельзя не уезжать.
и уезжать нельзя.

И вот я все тяну, оттягиваю время,
как будто выбор дан,
и доброволен крест...
И общую вину
уже делю со всеми,
и так уже люблю,
что не спасет отъезд.

...И все так страшно мне,
как будто в самом деле
давно уже, давно,
окаменев, стою.
И при чужой луне,
в каком-нибудь отеле,

на теплых берегах,
в неведомом краю,
застывшим взором я
прикована к востоку,
и лишь последний путь
вернет меня туда,
где родина моя, как небо, одинока...

1986

АФГАНСКАЯ БАЛЛАДА

Кате Даниловой

Кто сердце бросит и в тоске умрет
за родину любую... за любую.
И родина его переживет,
за ним смыкая землю, как живую.
Где солнце режет землю, будто нож,
и красные цветы земного рая,
другие не умрут... а ты умрешь,
из глаз любую родину теряя.

Солдат серьезной северной земли,
где лед долбят, когда могилы роют,
умрет в любой оранжевой дали
и будет отрицательным героем.
Его вернут в запаянном гробу,
как за ноги подвешенную тушу,
в песке забыв ненужную ему,
ногою прочь отброшенную душу...

Но разве кто-то в этом виноват?
...И воздух полон сказочных мелодий...
Одних — в могилы — к северу — назад.
Другие — в землю родины уходят.
Сердца одних запаяны в гробах.
Сердца других — тверды и непреклонны.
...Верблюды там — о десяти горбах,
и сказочны их пышные попоны.
...И я хочу, чтобы замкнулся круг,
чтоб умереть за родину любую,
прийти туда не с севера на юг,
а встать вдали по сторону другую.
Стоять и ждать в коричневой пыли,
лицо закрыв от ужаса, как дети,
пока солдат из северной земли
меня в дали оранжевой заметит.

И нехотя поднимет автомат,
меня вместив в прицеле автомата.
И будет он ни в чем не виноват,
и буду я ни в чем не виновата.
А просто вниз глазами упаду,
из глаз теряя родину люблюю,
и сердце брошу в сторону одну,
а душу брошу в сторону другую...
...Потом себя увижу на песке:
как медленно ладони разжимаю
и как люблюю родину в тоске
упавшими руками обнимаю...

1986

* * *

Марине Георгадзе

Когда я буду в Гарварде читать
какой-нибудь спецкурс, и будет странно,
что всё, о чем я буду вспоминать,
лежит за вечной гладью океана, —

я буду неподвижна и стара,
студенты — веселы и белозубы...
Мне будет тяжело вставать с утра
и тяжело улыбкой делать губы.

Беспомощно, как холод по спине —
когда из подворотни в спину дует, —
я буду говорить им о стране...
и вдруг пойму, что говорю впустую.

И, выронив спасительную нить
какого-то простого рассужденья,
увижу я: мне им не объяснить —
веселым и свободным от рожденья.

И я скажу, не подымая глаз,
далекую цитату вспоминая:
«Страна необитаема для нас.
И целый мир для нас необитаем...»

1986

«Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления». (*Баратынский — Киреевскому, 1832 г.*)

ПОЕЗД «РОССИЯ». 1986

И время будут мерить на века...
Гранитными цветами землю славить,
где веская Господняя рука
могла бы править — да не будет править.

И в забвении пребудет навсегда
держава серокаменных пророков,
где жизни запрессованы в года,
а кости запрессованы в дорогах.

В дорогах, уходящих на восток
такой огромной выстраданной ложью,
что в поезде «Москва — Владивосток»
зайдется сердце непонятной дрожью:

как беззащитна спящая страна —
раскинулась от края и до края...
Пусть эту землю отнял сатана,
она родная, все равно родная...

...А время будет медленно ступать
звездообразной поступью железной.
Никто не отвернет лица от бездны,
и ничего не повернется вспять.

1986

* * *

А еще мне снился сон,
что тарелки прилетели
и махали из окон
нам пришельцы в чем-то белом...

Были кудри их светлы,
лица были снежно-белы,
и они куда-то шли,
шли и пели, шли и пели...

Выводили голоса
белоснежные форшлагги,
и сияли их глаза,
будто поднятые флаги...

Слишком правильно поют.
Слишком весело шагают.

Вероятно, нас убьют.
По-другому не бывает.

1987

...«Пятого мая будут погромы...»
Слухи

Убьют меня пятого мая.
Придут, постучатся, убьют.
Я буду лежать неживая,
нарушив домашний уют.

Я буду убита не пулей, —
без боли, без слез, без вины, —
а нож, что в живот мне воткнули,
наружу пройдет из спины.
...Да я и жила, как умела:
всё в небо глядела, рвалась...
И вот, наконец, полетела.
И вот, наконец, дождалась.
И вот, наконец, допросилась,
и в дом постучалась беда...
...Но будет спасенной Россия
по смерти моей навсегда.

Поднимутся древние храмы,
и добрыми станут сердца,
и те, кто убил меня, сами
допишут стихи до конца!

...Да я и жила как чужая:
всё было мне холодно тут...
Пускай уж Россию спасают:
а может, и вправду спасут?

1990

Маргарита Потапова

ДЕРЕВНЯ

Я тебе расскажу о местах, где ни разу ты не был,
о заросшей тропинке, бегущей в заброшенный сад,
где в высокой листве, опрокинутой в звонкое небо,
прячет жаркие щеки румяный июньский закат.

Где грустит на холме незатейливый храм меж деревьев,
осеняя крестом подступившие к низу поля.
Где на десять дворов домовитой когда-то деревни —
две дремучих старухи, приезжий художник да я.

Да еще — в час, когда открываются ставни и медной
самоварной трубой запыхтит на Востоке заря —
в этот призрачный час — Живы все еще, старые ведьмы? —
зацветет под окном золотистый вихор косаря.

Те уж рады, шумят — Живы! Все еще живы, сердешный.
И из темных углов выступают на солнечный свет.
И подолгу стоят у калитки под старой скворечней,
бестолково крестясь, бестолково кивая в ответ.

Я тебе расскажу — я когда-то считала, что вправе
петь о собственных бедах, о дружбах, что рвутся по шву.
И свои драгоценные слезы в блестящей оправе
выставлять напоказ — мол, смотрите, как трудно живу.

Эта детская ложь! Но угодно ль узнать об известном:
вместо кукольных фраз и умытых слезами страниц —
щедрый выплеск морщин, что размашисто, грубо и честно
обозначат судьбу на пергаменте выцветших лиц.

Вместо ветхой, как дым, старой догме о Дыме и Доме,
вместо звездных дорог, окруженных космической мглой —
в воспаленном мозгу — до конца! — как в гигантском
разломе —
стая глупых старух над присыпанной пеплом землей.

Замолчи — о Душа! — в этом резко очерченном круге
печатлений и дум, навевающих мрачные сны —

что тебе до старух? Да и немощны стали старухи — говорят, что навряд ли дотянут до новой весны.

Да, наверно, помрут. А глухая деревня на Каме почернеет от горя и от поминальных дымов, и обхватит себя, как безумная баба, руками заколоченных накрест и брошенных на смерть домов.

А пока здесь цветы — хороши, как ребячьи улыбки. И ликуют стрижи, проносясь над песчаной косой. И премудрый художник с печальной фамилией Скрипкин пишет только пейзажи и ходит все лето — босой.

* * *

Я помню ваш упрямый рот,
Слова любви и жест несмелый...
Едва касаясь темных вод,
Летела яхта. Я смотрела.

Ну чем я вам могла помочь —
Понять, обнять, промолвить: Милый?..
Но тут явилась эта ночь
И темнотою исцелила.

И обступили берега,
И звали, как иные страны.
Окрест душистые луга
Тонули в мареве тумана.

Такая тишь была окрест!
Вдали печальным изваяньем
Застыла церковь. И о крест
Дробилось лунное сиянье.

Не страсть, скорее нежность к вам
Меня заставила ответить.
Я вас любила пополам
С той ночью. Вы ж могли заметить.

Благословляю вашу даль!
Спокойна я. Вы мне не лгали,
Хороший мой. А все же жаль:
Какую ночь мы потеряли!..

О НОВГОРОДСКОЙ ПОГОДЕ

Вот, завершив свое круженье,
Озябший лист к стеклу приник...
И снова дождь. Как наважденье.
Как неотступный грустный лик.

И, объявляясь самой важной,
Приходит мысль, вселяя дрожь:
Кого так горестно, так страшно
Всю ночь оплакивает дождь?..

Ветров глухое завыванье
И всхлипы громов за стеной
Зовут во мне воспоминанья
О тех, ушедших в мир иной...

О тех, кто волей providенья
Иль умер сам, иль был убит.
О тех, на ком лежит забвенье,
Что тяжелей могильных плит.

...Недолговечна наша память!
Она жива, покуда в нас
Играет кровь, бушует пламя
В движеньи членов, блеске глаз.

Умрем — собьются в кучу дети
И будут жить. Таков закон.
Но уж никто на целом свете
Не назовет простых имен.

Тех, кем когда-то дорожили
И выделяли из людей.
И для кого, возможно, жили
До роковых, последних дней...

Кто он ни будь: молчун, речистый,
Негромких званий или вождь...
Лет через двести, через триста
Над ним заплачет только дождь.

Откуда это сожаленье?
И жизнь, как сон, — другой не жди.
И этот дождь, как наважденье...
Как часто здесь идут дожди!

Людмила Абаева

* * *

Мужчина, которого я люблю,
Со всем белым светом в споре:

Он в нашем, давно сухопутном краю
Живет, будто рядом море.

И чинит свой парусник на берегу
Реки, что совсем обмелела.

А я краткий отдых его берегу
И тем состою у дела.

Он гонит усталость, подьемаля груз
Причуды своей отважной...

И все больше, все больше боюсь,
Что он уплывет однажды.

РЕКА

Зеленая...

Быть может, живописец,
старательно раскрасив берега, в ней кисти вымыл?
или это звезды повадились купаться по ночам
и в глубине сейчас — застигнутые солнцем?
или русалки частым гребнем волн
зеленые расчесывают косы? —

Не угадать.

Так зелена вода,

как самое доверчивое детство,
которое лепечет и смеется,

и я невольна счастлива в ответ.

О господи, осень!
Погожий денек для двоих,
Бредущих одной бесконечной конечной дорогой
Всем мимо и сквозь шелестящих, летящих, убогих
И солнцем последним пронзенных просторов твоих,

И солнцем последним, слегка веселящим унылость
Домов, и скамеек, и сквериков цвета дождей.
Поддай же нам, господи, солнца на сырость и сирость,
На зябкую старость, на бедные игры детей.

И дай мне свободу лететь и лететь
Безмолвной листвой устилая безмолвную твердь.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА ДОМОЙ

До корчи стволов, до звенящего стона в груди
насквозь пробирает, и крутит, и жжет непогода.
Уйти в воротник и твердить, что зима без исхода
до первой проталины — только на ночь впереди.

Найти в тростниках ледяную пастушью свирель
и в ней отдышать мотыльковые верхние ноты,
где бьются сосульки и шлепают мокрые боты
из детской забавы с наивным названьем Апрель.

И вот, торопясь из оттаявшей легкой гортани,
сквозь зыбкие тени лилейной сквоззя белизной,
рождается звук. Но дыханьем серебряным — тает
в безмолвной пустыне, дымящейся над головой.

А ночь по пятам, и свиваются тени и тени,
но, дом угадав в загустевшем свинцовом снегу,
лечу, задыхаясь, по черным высоким ступеням.
Я больше уже не могу, не могу, не могу!..

МОРЕ

На выступы скал посылая удар за ударом,
Что прячет оно в недоступных глубинах?
Как много, как мало оно отдавало нам даром,
Горбятя свою вековую рабочую спину?

Мы снасти готовим, смоленые доски кроим,
Зовем, запрягаем стальные ветра в парусину,

Слагаем молитвы — с молитвой по топям морским
Летим безоглядно в разверстую настужу пучину.

Не силой на силу, но слабостью наперекор,
Но тягой ребенка, еще не видавшего моря,
Без удержу дразним нешуточный этот простор
И спорим с волной, хоть она не участвует в споре.

Но, хрупким веслом одолев за волною волну,
Мы слышим, как тело гудит каждой жилой и костью,
Как будто птенец изнутри пробивает свою скорлупу.
И звезды стоят под рукой, хоть вычерпывай горстью.

И, может быть, рыбы из самых укромных глубин,
Поняв, как мы странно близки и по сути плавучи,
Придут и откроют подводные тайные кручи,
Где вечность живет, как дитя, и не знает седин.

А может быть, волны себя разомкнут до глубин,
Горящих в ночи голубыми сквозными огнями,
И мы на блуждающий свет полетим.
И воды сомкнутся над нами.

* * *

Все было ничьим и останется впредь:
Тоска без причины, пространство без меты
Словам не даются, и без толку петь
Все эти протяжные многие лета,

Когда и мгновенье — дрожаньем ветвей,
Пугливостью птицы, клюющей с ладони,—
Вдруг так зазвучит и такое затронет —
Язык онемееет в словесном загоне,
Как с нотой не сладивший соловей.

* * *

И нет в творении творца...
Ф. Тютчев

Нет замысла и нет спасенья.
Мы сироты вовек.
Венец природы — червь творенья;
в житейском море человек —
и гибнущий корабль, и крыса,
бегущая с него.

Возня волны, метанья, визги...
Неодолимо, низко-низко
влечет, на дно.

Мне непосильно это бремя —
двойная жизнь и смерть вдвойне.
Всесокрушительное время
течет во мне.





Амазонки:
Today - сюды

ВАЛЕРИЯ НАРБИКОВА: «Есть писатели, которые любят перечитывать написанное, а есть такие, которые — просто ненавидят. Когда я читаю то, что я написала, я думаю: как же я это написала? Вот сейчас я так бы никогда не написала. Хорошо, что я это уже написала, что это уже не надо писать. То есть, когда я начинаю думать, чего мне не хватает в каком-то из моих произведений, я начинаю об этом думать: не от своего лица, а от лица живых и даже умерших любимых писателей, потому что умерших любимых — больше, чем любимых живых, как раз это грустно — относительно мертвых и живых. И я начинаю думать, что вот, например, Набокову это могло бы и не понравиться, но хоть что-нибудь одно вдруг бы понравилось, может быть, понравилось бы, хотелось бы, чтобы понравилось. Но вот Пушкину точно бы не понравилось. Потому что он простой и ясный. А вдруг ему, простому и ясному, понравилось бы сложное и неясное. И как перенести через время, чтобы оценить? Для этого — современники. И благодаря моим современникам я начинаю понимать то, что же я все-таки написала. Что же, в самом деле?»

ЛАРИСА ВАНЕЕВА. Родилась в Новосибирске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Работала журналистом и дворником. Автор книги «Из куба». Живет в Подмосковье.

— «Забылось вам, как звездное небо оделось в человечество, а человечество — в звездное небо?» (Эта фраза мне приснилась).

Валерия Нарбикова

ОКОЛО ЭКОЛО...

Повесть

Всегда что-то предшествует тому, что потом за этим следует. Приведем три примера совсем из другого романа, и первый пример даст представление об относительности места, второй — о постоянстве времени, а третий пример — о (см. ниже)...

Первый пример:

Однажды В. Н. и И. К. прилетели в Симферополь поздним вечером (в 23 ч.), но им надо было дальше, совсем в другое место, за 80 км от Симферополя. Туда ходило только такси за 80 руб., а поскольку эта сумма была больше суммы двух билетов на самолет из Москвы до Симферополя, они, решив несложную арифметическую задачу, где спрашивалось, где же дороже — в воздухе или на земле, отказались от предложения таксиста не потому, что сумма была головокружительной, а потому, что кружилась голова от доступной платы за самолет и недоступной за автомобиль. Они сели на троллейбус и приехали за 80 коп. в Алушту, чтобы, сделав круг, доехать по морю до нужного им места. Итак, успокоившись в Алуште, что ничего так поздно уже не ходит, они решили переночевать где-нибудь на пляже. Но пляж, разделенный на отсеки, был заперт на замок, и они удалились в лесок, который покрывал гору, чтобы залечь где-нибудь в кустах. Гора была в самом центре города, то есть город стоял на горе. Удалившись наконец немного от центра, они обнаружили такое темное и глухое место на теплой земле, высланное теплыми сосновыми иголками и мягкими веточками кипариса. Они присели и, когда глаза чуть-чуть привыкли к темноте, увидели чуть ниже дорогу, примерно в 50 метрах, а чуть выше — какое-то сооружение (дом?). Именно и дом, и недом. В темноте казалось, что он примерно трехэтажный, а может, и четырех, что он вообще-то достроен, но как будто нежилой, что он ничем не обнесен, хотя вид имеет какой-то номенклатурный, что, может быть, он — ателье или почта, но эта догадка ничем не подтверждалась. Это был точно не пансионат и не кинотеатр, это был дом неизвестного назначения. Но поскольку было все-таки темно, В. Н. и И. К. решили, что, когда будет светло, они точно определят, у какого же дома они заночевали.

Они выпили две бутылки Гурджаани, которые привезли с собой из Москвы, и красиво заснули прямо на земле. Когда они проснулись в шесть часов утра и было уже светло, они увидели этот «дом» в мягких серых лучах южного утра, но так и не смогли определить, что же это за дом. Пока они складывали сумки, собирали бумажки и пустые бутылки (свой мусор), они перекидывались соображениями насчет этого дома, но ни одно из этих соображений не могло их удовлетворить:

— Это не почта.

— Не-а.

— Он же недостроен!

— Почему? Стекла-то есть, а вон занавеска, кажется.

— Вид недостроенный какой-то.

— Неприятное какое-то место, ты куда мою сумку дел?

— Я на ней спал; какое-то страшное.

— У тебя деньги из штанов высыпались, какое-то странное место.

— Пошли отсюда быстрее.

И по-быстрому свернувшись, они, можно сказать, скатились с горы, удирая из непонятого места, от непонятого дома. В общем, так и непонятно, что это было за место, которое нельзя было опознать не только в темноте, но и на свету.

Второй пример:

В. Н. и И. К., поджидая своих друзей с пивом, вожделенно смотрели на остренький мыс, который уходил в море чуть резче остальных полукруглоовальных очертаний. Находясь в одной точке, они смотрели в другую точку, находящуюся от них за 5 км, они смотрели из Нового Света в Судак, и сами они, абсолютно настоящие в Новом Свете, абсолютно не различали людей в Судаке, а только знали, что вон тот вогнутый берег и острый мыс есть Судак. И потеряв всякую надежду, что их друзья когда-нибудь вернутся с пивом, они, еще долго прообсуждав, что быстрее будет поехать самим, очутились не так скоро в Судаке, именно в той точке, которая была видна им из Нового Света как точка. Зато теперь Новый Свет, то место, где они находились не так давно, казался им точкой. Было трудно сказать, в какой точке они по-настоящему были настоящие, если между Новым Светом и Судаком прошло всего часов шесть; но если не учитывать это время, которое всего лишь песчинка в песке времени, всего лишь капля в море — в море времени, то получалось, что они по-настоящему были настоящие в двух точках одновременно.

Третий пример:

Один (родственник?) попытался восстановить реальную жизнь автора по одной повести, которая случайно попала к нему в руки. От деталей, которые ему показались

абсолютно биографичными, он пришел в ужас и на остальную жизнь автора смотрел не иначе, как разукрасив ее вычитанными деталями. Когда автор об этом узнал, он пришел в ужас от того, как вообще люди (родственники?) читают книжки. Автор очень кипятился и не соглашался с тем, что все детали абсолютно автобиографичны, хотя зачем, спрашивается, нужно было автору все так тщательно замаскировывать в своей повести, если бы детали эти были не автобиографичны?..

1

...если мысль, то какая? Они нашагали уже километры из одной комнаты в другую.

— тебе просто наплевать на все,— сказала старшая сестра младшей.

— на что?

— да на все.

С каждым словом они удалялись друг от друга все дальше.

— что я тебе сделала? — сказала младшая и села.

— ничего ты мне не сделала,— ответила Ездандукта.

— тогда скажи, что я тебе сделала?

— я скажу — ты, Петя, невыносима, я тебя выношу только потому, что ты мне сестра.

— знаю, ты бы на мне не женилась,— сказала Петрарка, — но ведь мы родственники.

Ездандукта ничего на это не сказала. Она влезла в свитер, надвинула туфли и уже в дверях сказала: «значит, можно так издеваться, если мы родственники?»

— скажи, что я такого сделала? — сказала Петя.

И вопрос этот, прихлопнутый дверью, так и застрял в дверях.

В городе такая осень... если осень, то какая? «прекрасное» солнце, двигаясь по «роскошно-синему» небу, так прямыми лучами и осветило развороченную грязь: ямы, доски, набухшие от дождя бумажки, и ветер, пройдясь по мусорным ящикам, так «легким» порывом и усыпал асфальт: арбузными корками, косточками и огрызками — всем, на что так «щедр» осень. Даже не зима, когда мусор, вмерзший в землю и присыпанный «снежком», слабо выбивается «первыми» ростками, а именно осень, такая «обильная». И день, накачанный звуками, где каждый звук — «торжество» сознательной «человеческой» деятельности: звуки троллейбусов, трамваев, эти звуки «венчают» «человеческую» «мощь», то, на что способен «человек» в это «прекрасное» «солнечное» «утро» в конце двадцатого века.

Петя влюбилась в Бориса. Она знала, что она любит

только его и больше никого; что больше ничего, кроме того, что она любит его, она не знает.

Борис опаздывал. Уже подали на перрон поезд, у которого они должны были встретиться, у первого вагона в начале перрона, но поезд подали наоборот, и первый вагон был в конце перрона, и теперь Петя не знала, почему нет Бориса, и где он есть, и оставаться ли ей в начале перрона или пойти к первому вагону в другой конец перрона. Все это было так ужасно, что Анне Карениной сразу нужно было броситься под поезд, на котором она ехала и опаздывала к Вронскому, даже не одной броситься, а вместе с мамой Вронского, с которой они ехали вместе, чтобы она не мучила ее на протяжении всего романа, чтобы Вронский с самого начала остался без Анны и оплакивал ее целый роман, а не в последней главе. Борис нашел Петю в середине перрона, она стояла, как она стояла, как тень. И как только он ее увидел, он услышал: «не уезжай!»

— я скоро приеду, — сказал он, — через три дня.

и через минуту она сказала: «не уезжай!» И он сказал: — я тут же вернусь.

и она тут же сказала: «не уезжай!»

И пока она его уговаривала, поезд уехал, а Борис остался. Поезд уехал без Бориса, он уехал совершенно пустой, и незачем было под него бросаться, потому что он все равно бы не раздавил, потому что был легким, как перышко. Зато у Бориса на сердце стало тяжело после того, как поезд легко и быстро уехал.

Петя любила Бориса уже целую вечность, которая пронеслась за месяц, который они были знакомы. Каждый день ей необходимо было его видеть по нескольку раз в день. У нее были пустые от счастья глаза, и ни одной мысли в голове, кроме мысли о Борисе.

В Борисе на нее произвело впечатление то, что сначала на нее не произвело никакого впечатления. Сначала на нее не произвела впечатления его внешность, зато потом все остальные мужчины, которые хотя бы чуть-чуть смахивали на Бориса, уже были достойны ее внимания, тем более что внешность у Бориса была типичной для мужчин: у него были прямые волосы, прямой нос, светлые глаза, светлые волосы. Если ему было сорок лет, то он выглядел моложе своих лет, хотя если ему было тридцать лет, то он выглядел старше своих лет. Ну, в общем, он имел такую внешность, что внешность любого мужчины можно было бы довести до внешности Бориса. Сначала на нее не произвела впечатление его работа. Если внешность у Бориса была типичной, то работа у него была абсолютно нетипичной — он не ходил на работу. То, что он имел возможность делать дома, он бы не имел возможности делать на работе; он делал дома скульптуры, которые звенели, блестели,

ходили, сидели, а одна скульптура называлась: «глаза — зеркало души», там в самое обычное зеркало были вправлены самые обычные кукольные глаза, это была как раз та работа, которая потом на нее произвела такое впечатление, которое не произвела сначала. Даже первая ночь с Борисом, которая кончилась утром, показалась ей днем совершенно невпечатляющей, и вечером Петя не позвонила Борису. Зато, когда на память ей пришли все впечатления, которые на нее не произвел Борис, она влюбилась в него без памяти.

А вот эти скульптуры, которые делал Борис, раскупили бы во всем мире и в «Мире искусства», но Борис никуда не выезжал, в отличие от Гоголя, который выезжал, Тургенева и Достоевского; он не выезжал, как Пушкин; ездил, конечно, в деревню и на Кавказ, но не дальше Михайловского и Бахчисарая. Петя сразу же влюбилась в один храм, макет которого Борис показал Пете не сразу, а только когда сам влюбился в нее. Этот храм снаружи выглядел как обычная девятиэтажная башня, такая белая блочная коробка, типичная девятиэтажка, ничем не отличающаяся от остальных девятиэтажек в Москве; зато внутри он был повторением Коломенского храма снаружи: то есть как только человек попадал внутрь этой блочной коробки, взору его открывался вогнутый Коломенский храм: то, что в Коломенском храме было выпукло, в Борисовом храме было вогнуто, и под крышей девятиэтажки был вогнутый купол, синий с золотыми звездами.

После того как Борис не уехал, он почти сразу же ушел; они расстались с Петей на вокзале, чтобы встретиться завтра у нее дома, когда ее сестра уйдет.

Ездандукта не могла простить Пете «корейский самолет», как будто это Петя его подбила. Как раз за месяц до Петинной встречи с Борисом подбили корейский самолет, и Петя со своими друзьями изображали самолет, надев ему на нос темные «шпионские» очки. Но потом «самолет» демонстративно снимал с себя шпионские и робко надевал обычные детские диоптрические очки, и вот тогда все остальные начинали палить по этим очкам, очки разбивались, и «самолет», ничего не видя, сначала наткнулся на разные предметы: полки, стулья, столы, потом с трудом добегал до туалета, и только за ним закрывалась дверь, он с грохотом проваливался в унитаз, потом все стихало, и потом было слышно, как в унитазе мирно журчит вода. — дебилы, — сказала Ездандукта, — ничем хорошим это для тебя не кончится.

— чем? — спросила Петя.

— ты почему мне задаешь вопрос, на который я тебе уже ответила, — и, помолчав, она ответила еще раз: «ничем».

В лице Ездандукты не было ничего отталкивающего, оно даже притягивало. Притягивало, чтобы оттолкнуть. Как мордашка зверька, искусственно выведенного человеком, притягивает человека своей аномалией: маленький носик в процессе отбора становится все меньше и меньше, пока совсем не исчезнет, а глазки все больше и больше, а ушки еще тоньше, а шея еще толще. Ездандукта еще так неудачно раскрашивала лицо, что все и без того маленькое казалось еще меньше, а все большое — еще больше.

...если слова, то какие? Какие нужно сказать, чтобы они дошли до Ездандукты раньше, чем позвонит Борис, чтобы они до нее так, чтобы она сразу же ушла, не сказав Пете ни одного грубого.

Как на зло, Ездандукта собиралась как на бал: сначала она надела одну юбку и одну кофту, потом другую кофту, и к ней — другую юбку. Она пила чай и потом ходила его допивать. С недопитым чаем она доедала несъеденный бутерброд. Когда Петя бросилась к телефону, когда Ездандукта уже взяла трубку, когда Петя сказала: «это меня», когда Ездандукта уже положила трубку, когда сказала: «положили трубку», Петя села рядом с телефоном в полном отчаянии, причиной которого была Ездандукта. Она, как причина, без всякой причины ходила из одного угла в другой и своим беспричинным хождением причиняла Пете боль. Уже не надеясь, что она когда-нибудь уйдет, Петя надеялась только на то, чтобы она только ушла. Причиной Петинной боли была Ездандукта, которая все не могла уйти, и следствием Петинной боли был Борис, который не мог прийти. В конце концов причина и следствие так перепутались, что причиной ее боли был сам Борис, который не мог прийти, а следствием этой боли была Ездандукта, которая не могла уйти, и то, что Раскольников убил старушку — это причина, а то, что он пошел на каторгу — это следствие, и то, что он убил — это преступление, а то, что пошел — это наказание, но лучше бы он сначала на каторгу пошел, а потом старушку убил, лучше бы сначала декабристов сослали, а потом бы они вышли на Сенатскую площадь, самое страшное было то, когда следствие менялось местами с причиной, больше всего Петя боялась, что сначала не придет Борис, а потом уйдет Ездандукта, что сначала Наполеона посадят на Св. Елену, а потом он завоюет весь мир.

— никуда, — сказала Петя, когда Ездандукта спросила ее, куда она сегодня.

— так и буду, — ответила, когда Ездандукта сказала ей: «так и будешь весь день в таком виде ходить?»

И после того как Ездандукта уже ничего не сказала,

и Петя ей ничего не сказала, Ездандукта почти сразу ушла, и почти сразу же позвонил Борис.

— ну что?

— где ты?

— напротив почты твой дом?

— а ты рядом с почтой?

Петя сказала этаж и квартиру. И как только она ему открыла, и только успела закрыть дверь, и как только они обнялись, они уже не прекращали обниматься, они только что и делали, что жутко обнимались и целовались прямо в дверях у вешалки, где висели пальто: «сними ты свое пальто», — «а ты свое». Борис оставался в пальто, а на Пете была ночная рубашка, в которой было жарко, как в пальто, и сзади у нее на «пальто» была здоровая дырка, и когда она уткнулась лицом в пальто, которое висело, Борис расстегнул свое пальто, а Петя так и оставалась в своем дырявом «пальто», и тогда он через дырку в ее рубашке, совершенно явную дыру в плоскости попал в объем, через пустоту он попал в глубину. «Потом скажу», — сказал он, когда она спросила: «ты что?», потому что он так вздохнул, что ей показалось, что он не может дышать, «сейчас скажи», — «потом», и потом, когда они пили вино, и Борис разглядывал ее комнату, которая ему сразу жутко понравилась: с приколотыми к обоям стихами, которые были только что написаны и еще сохли на булавках, и бабочкой из литья, которая издадала казалась шоколадницей, у которой были даже металлические усики, Петя спросила:

— что ты хотел сказать, когда сказал, что потом скажешь?

— потом скажу.

— когда?

и когда они вместе вышли из дома, чтобы их не застучала сестра, Борис увидел дырку в заборе, которая переходила в дырищу бетонной трубы, и когда Петя с Борисом пролезли в дырку забора, они оказались внутри трубы, когда пересекли дырку в плоскости, они оказались в глубокой тьме объема, они через пустоту проникли в глубину, они вместе оказались внутри Пети в коридоре у вешалки, и теперь они вместе целовались у Пети внутри, пригнув головы в трубе.

— поняла, — сказала она.

— здорово, — сказал он.

И они еще раз вместе это повторили: пролезли через дырку забора в трубу.

— ты думаешь, рабочие про это знают? — спросила Петя.

— про твою дырявую рубашку?

— теперь мне кажется, что все про нее знают, что ты меня публично вы... через забор в трубу.

Высший момент счастья, куда еще выше? самый кратчайший путь к счастью — начать прямо со счастья. Не такой длинный путь, как в прошлом веке, где счастье начи-

нается с легкого ветерка и кончается бурей, начать с бури и кончить бурей. Если бы Петина любовь началась в девятнадцатом веке, она как раз бы к концу двадцатого века достигла своей кульминации, потому что только в прошлом веке Борис заметил бы сначала, какие у Пети «шелковистые» ресницы и «персиковая» кожа, и Борис шел бы к своему счастью не торопясь, в полной гармонии с природой, и какой-нибудь лунной ночью или в грозу или в полдень они с Петей не упустили бы своего счастья, и счастье бы их не упустило. Борис обнимал свою девочку, которая была уже не девушкой, и то, что он у нее был не первый, и то, что она у него была не первая, во-первых то, что во-вторых у него это была первая любовь, и у нее во-первых это была первая любовь; а то, что на первом курсе у нее был первый мужчина — студент второго курса, у которого она была первой, это было во-вторых.

Петя засыпала с мыслью о Борисе, и только она просыпалась от мысли о Борисе, как мысль о Борисе не давала ей заснуть. Самая ранняя мысль — о Борисе — поднимала ее с постели, у нее и в мыслях не было другой мысли. Она так дорожила мыслью о Борисе, что дороже этой мысли была только мысль Бориса о Пете. Если *sex* как орган в девятнадцатом веке перешел в двадцатом веке в *sex* как понятие, так и Борис, в прошлом веке как человек перешел в настоящем веке — из прошлого в настоящее — в понятие о любви, потому что до Бориса Петя не имела о любви никакого понятия. Петя мыслила Борисом, и он стал для нее не просто именем собственным — Борис — он, собственно, стал названием ее любви и ее собственным именем; и не в одном языке, даже в «великом могучем русском» не было этому названия, только мертвая латынь, на которой никто не говорил, объединив и Петю и Бориса и их чувство в одно целое, вполне способна была обозначить это целое, как *borisus*.

...если жизнь, то какая? чтобы она была такая, чтобы прожить ее так, чтобы не так, как у..., чтобы так долго, но чтобы не так, чтобы она все еще была впереди.

Дом Бориса был его крепостью, и в своей крепости Борис чувствовал себя как дома: железная загородка от палисадника, Коломенский храм в коробке, пень — вся эта роскошь, он был с человеческий рост — макет «храма изнутри», и когда Петя с Борисом вошли внутрь храма, их головы оказались в самом куполе, и можно было купол поцеловать, можно было поцеловать все звезды на куполе, и Петя поцеловала одну звезду. Нет такого чувства, которое нельзя передать словами, но нет таких слов, которыми можно передать чувство, и поцелуй, запечатленный на губах и на побелке, когда на побелке остается отпечаток губ, как в небе, на котором остается отпечаток розового облач-

ка, размытого ветром, и отпечаток розовой помады на по-
белке, размытый дождем. Петя показала Борису, какое у нее
красное горло, было больно даже сглотнуть слюну после
поцелуя. Даже такое горячее чувство здесь было бессильно,
только горячее пиво могло вылечить горло, горячее пиво
было сильнее самого горячего чувства. Петя легла, а Борис
пошел греть пиво. Она выпила стакан, еще один стакан,
и третий стакан так подействовал, что когда Борис прикос-
нулся ледяными от ледяного пива губами к ее горячим
от горячего пива губам, из-за колоссальной разницы темпе-
ратуры Петя с Борисом попробовали еще одно средство,
а именно: она как в рот воды набрала, но это была не вода,
и когда он сказал: «выплюнь, если не можешь прогло-
тить», она не могла ответить сразу, потому что у нее был пол-
ный рот, и она ответила только после того, как прогло-
тила: «могу».

Пока они в таком темпе лечились, время тоже не стояло, и
этот ускоренный метод лечения разогнал до такой степени
время, что когда они глянули на улицу, там, где было светло,
стало темно, а под фонарями, наоборот, стало светло.

— а что ты скажешь сестре? — спросил Борис.

— на дне рождения была, — ответила Петя Ездандукте,
заявившись утром домой.

Между вопросом Бориса и Петиним ответом пролетела
ночь, в которой было столько счастья и правды, что Петя не
могла сказать Ездандукте правду, потому что эта правда не
принесла бы счастья.

— не могла, — ответила Петя Ездандукте на ее упрек: «а поз-
вонить ты не могла?»

— подумала, — сказала Петя, когда Ездандукта ей сказала:
«а ты обо мне подумала?»

Петя подумала, что никогда бы не сказала сестре о Борисе
правду, потому что Ездандукта подумала бы, что это непра-
вда, пусть лучше Ездандукта думает, что неправда — это
неправда, чем что правда — это неправда, так, правда, будет
лучше.

И утро, такое какое-то, какое бывает только в такие дни,
тогда, когда, и тогда как; и тогда, когда так все, что уже ос-
тальное все кажется каким-то таким, что уже это все не
может изменить ничего.

После того как Петя и во вторую ночь не пришла домой,
Ездандукта ей сказала в первый раз: «чтобы это было в
последний раз». Петя вышла из дома и могла идти на все
четыре стороны. Она пошла не в сторону магазина, куда ее
послала сестра, а совсем в другую сторону. И когда она
переходила дорогу, так резко притормозил троллейбус,
как частник. Петя вошла в троллейбус, за который платили
Кострома и Дыл.

— за «три» можно было бы и на частнике, — сказал Дыл.

— я люблю за «три» на троллейбусе,— сказал Кострома. Кострома отдал пареньку-шоферу три рубля, и троллейбус покати́л в бор, который был не стеклянный, не деревянный, а серебряный, с одним «н», может, из-за сосен, довольно-таки серебряных зимой, серебряной речки, а может, из-за тридцати серебряников плюс деревянного с двумя «н» дома, который по службе получил дедушка Костромы за свою верную службу. Он делал то, что велели. И то, что велели, то он и делал. Он так зорко смотрел в будущее, что взгляд его совсем остекленел, у него был стеклянный, с двумя «н» взгляд.

— дедушка дома? — спросила Петя у Костромы.

— на задании,— ответил Кострома.

— Дыл,— сказала Петя,— чего-то мне не охота с вами, я вообще-то в магазин шла.

— чего тебе в магазине делать,— сказал Кострома,— у нас там все есть.

— хлеб есть?

Они шли к даче деда Костромы, к «деда дачи» Костромы и говорили про любовь.

— Кострома, ты дедушку любишь? — спросил Дыл.

— а ты, Дыл, своего дедушку любишь?

— из-за твоего дедушки моего дедушку убили.

— и мою бабушку,— сказала Петя.

— твоя бабушка его дедушке в матери годится.

— значит, он убил ее как мать, самый страшный грех.

— разве она ему в матери годится, она ему как сестра.

— значит, он ее как сестру убил.

— да если бы даже он убил ее как дочь, все равно это ничего не меняет,— сказал Кострома, я вам своего дедушку не дам убить.

— а кто собирается твоего дедушку убивать,— сказал Дыл,— ты разве, Петя, собираешься его дедушку убивать?

— а зачем мы туда идем? — спросила Петя.

— а ты что думала, мы идем дедушку убивать, мы идем кофе попить,— сказал Дыл.

— я своего дедушку не дам убить, он сейчас, как младенец, только что рожденный на свет, еще омытый кровью матери.

— надоел ты со своим дедом,— сказал Дыл.

— а надоел, так не приставай.

— зачем мы туда идем? — спросила Петя, когда они уже подошли к «деревянному».

— за чемоданчиком,— сказал Кострома.

Они буквально сели деду на шею, поднявшись на второй этаж, где временно обитал Кострома. «Показывай чемоданчик».

Интерьер комнаты был совсем необычным для обычного человека: необычным было то, что самые обычные стулья, диваны, шкафы были окольцованы, как перелетные птицы,

надо полагать, для того, чтобы мебель никуда не могла улететь. Петя села на стул с инвентарным номером, и, пока Кострома лазил под — с инвентарным номером — диван, Петя смотрела в — с инвентарным номером — окно, за которым стояли деревья с инвентарными номерами, с которых опадали листья, которые принадлежали деревьям, которые принадлежали дому, который принадлежал деду Костромы, которому все это не принадлежало. Дед здесь будет жить, пока не умрет, а когда умрет, здесь будет жить другой дед, точно такой же, немножко другой. И в этом пространстве, которое было постоянным: с постоянной мебелью, стенами, этажами — временным был только человек, а именно дед Костромы. В этот постоянный интерьер, созданный раз и навсегда, мог вписаться только такой дед, который был создан по образу и подобию этого интерьера. Здесь не человек подбирал для себя интерьер, а интерьер подбирал для себя человека. И все эти люди, которых подбирал для себя интерьер, были смертными, а интерьер был вечным. Даже если бы похоронили этот интерьер и закопали бы его в землю, остались бы инвентарные номерки, по которым потомки смогли бы воссоздать и стул, и шкаф, и Т. Д.

Дыл просто глазам не поверил, когда Кострома открыл чемоданчик. Кострома его открыл, а потом сразу раз — и закрыл. И Дылу показалось, что ему показалось. А Петя не видела, что Кострома открыл чемоданчик, потому что смотрела в окно, а когда она повернулась к чемоданчику, он был уже закрыт. Это был кондовый, с железными углами чемоданчик.

— дай три на троллейбус, — сказала Петя Костроме, — я поеду. Кострома неуверенно полез в карман, уверенный, что у него нет трех, и вместе с платком вытащил деньги. И когда он отдал Пете три, и она пошла к две, чтобы уйти, он открыл чемода, и когда Петя огляну, она увидела то, о чем раньше только слышала.

— Петрарка, — сказал Кострома. Он сказал это громко и торжественно, но у него вдруг что-то случилось с голосом, и он еще раз сказал: «Петрарка», но уже намного тише. Кострома подхватил чемоданчик, как шкатулку, и преподнес его Пете, которая улыбнулась, потому что он был набит драгоценностями, которые любят все женщины: царицы, бляды и девушки, но в то же время нельзя было назвать драгоценностями то, что было в чемоданчике. То есть там было и золото, и алмазы, но это были не украшения, то есть поскольку они были как бы в шкатулке, они были как бы украшения, но это были не нормальные украшения: перстни, браслеты, булавки, это были именно ненормальные украшения — ордена.

— чье это все, — сказала Петя чуть слышно, но Кострома расслышал и чуть слышно ответил: «твое», но Петя не рас-

слышала и еще тише сказала — «че»?, но Кострома не слышал и больше ничего не сказал, и стало так тихо, что стало совсем ничего не слышно, то есть стало слышно даже то, что ничего не слышно. Но как звякнул металл, когда Кострома поставил шкатулку, абсолютно все услышали. И Дыл абсолютно спокойно сказал: «где взял?» Кострома посмотрел на него спокойно и сказал: «знаешь анекдот, где взял, где взял?» — Кострома рассказал анекдот: бежит человек с топором, а за ним бежит другой человек и кричит ему: где взял?, тот с топором остановился, тюкнул его топором и пошел себе спокойно. Идет и приговаривает: где взял, где взял — купил!

— вот, что ты будешь приговаривать, когда тебя тюкнут, — сказал Дыл.

— почему это меня тюкнут?

— а ты что думал, за такие вещи награждают?

— а за какие вещи награждают?

— ну, может, посмертно наградят.

— а может, они ненастоящие, — спросила Петя.

— как это ненастоящие, — возмутился Кострома, — что, я красивой девушке буду фальшивку дарить?

— а кто красивая девушка? — спросила его Петя.

— ты, ты и есть красивая девушка.

И Дыл с Костромой посмотрели на Петю, лицо которой было похоже на лицо мальчика, в котором так много женственности.

— а я разве не красивая девушка? — спросил Дыл.

И Петя с Костромой посмотрели на Дыла, в лице которого было так много женственности, что он лицом походил скорее на девушку, чем на юношу, но почему-то Петино мальчишеское лицо притягивало, а женственное лицо Дыла отталкивало. То, что Дыл был мужского пола, и то, что в нем было так много от противоположного пола, было ему не к лицу, но то, что Петя была женского пола и в ней было что-то и от противоположного пола, так было ей к лицу, что Кострома не сводил глаз с ее лица, и у Пети выступил румянец на лице. А Кострома вообще часто краснел, и это особенно бросалось в глаза, потому что он от природы был белым: белая кожа, белые волосы, белые ресницы, белые брови. И если бы он был девушкой, ему можно было бы подкрасить брови и ресницы, и они были бы заметны, но поскольку он был не девушкой и подкрасить было нельзя, заметно было то, что они почти не заметны.

— ты хочешь сказать, что весь чемодан — Петраркин? — сказал Дыл.

— я уже это сказал.

— ты что, влюбился?

— а что, влюбиться — это преступление?

— погодите, — остановила их Петя, — я же влюблена.

Кострома и Дыл посмотрели на нее так, словно это было чудовищное преступление с ее стороны.

— я влюблена, разве это преступление?

— как это влюблена, — сказал Кострома, — в кого?

Петя ничего не сказала и отошла от чемоданчика.

— когда ты влюбилась? когда подбили самолет, ты же не была влюблена.

— тогда еще нет.

— так его же недавно подбили, когда ты успела влюбиться?

— недавно, после того, как его подбили, почти сразу.

— ведь месяца не прошло, как его подбили.

— почему, уже два месяца прошло, — сказала Петя.

— разве уже два месяца прошло? — сказал Кострома.

— ровно два, — сказала Петя.

— так ты сразу после самолета влюбилась? — спросил Кострома.

— почему сразу, через месяц.

— кто он? — спросил Кострома.

— кто? — не поняла Петя.

— кто? — еще раз сказал Кострома.

она сказала Борис, она, что он, что он и она, что она без него, и когда его нет, она, что это может быть только он, что она бы никогда, но он, и когда он тоже, то она...

— да, это оно, — сказал Кострома.

— что «оно»? — спросила Петя.

— оно самое, чувство, — сказал Кострома.

— за такое чувство надо давать Золотую Звезду, — сказал Дыл.

— Орден адмирала Ушакова!

— Георгиевский крест!

— они все твои, — сказал Кострома и положил ордена к Петиным ногам, — неси, — сказал он Дылу.

— где? — спросил Дыл.

— под диваном, справа.

Дыл полез под диван, достал бутылку коньяка — «у тебя тут и рюмки».

— и рюмки давай, давай все, что там есть, там еще колбаса.

— ты что под диваном не запираешь?

— что, дырку запирать?

— дырку прежде всего и надо запирать!

Они нарезали, налили и выпили по рюмке.

— за «оно», — сказал Кострома, — такая редкость в наше время — «оно», это же высшая заслуга перед народом — «оно»!

У Пети на груди появилось сразу пять.

— а вообще это такой труд, любовь, еще какой труд, — сказал Дыл, — надо за это давать Ветерана труда, — а тебе тоже можно было бы дать Золотую Звезду, — разговорился Дыл, — ты ведь влюблен.

— нет, если один человек влюблен — это не считается, — сказал Кострома, — мало ли кто в кого влюблен, надо давать только за чувство, которое распространяется на двух людей, — рассуждал Кострома, — собственно, надо давать не людям, а чувству, а людям только как представителям этого чувства, так же, как надо давать делу, а людям, как представителям дела: добились какой-нибудь скорости, надо скорости дать Ветерана труда, добились времени — надо дать времени.

— если за чувство, — сказала Петя, — тогда половина орденов — Бориса.

— половина — его, — согласился Кострома.

Ничего не забыли — все в чемоданчик: недопитую бутылку и колбасу.

— на свадьбу позовешь? — спросил Дыл.

Петя так резко встала, что так резко ударилась, что сказала: «ой».

— до свадьбы заживет, — сказал Дыл.

И они поехали. Таксист их думчал от бора до бульвара за считанные минуты, и, когда они ему отсчитали, когда он остановился рядом с институтом, где учились Петя и Кострома, а Дыл поучился и бросил, зато он мог восстановиться, а Петя с Костромой, наоборот, могли бросить, они перешли через бульвар и вышли к Новому МХАТ-у, но «старый» был лучше новых двух, Кострома прочел стих: и нога в перспективе — это та же нога, и глаза в перспективе — эта те же глаза, и звезда в перспективе — это все же звезда, но любовь в перспективе — это тоже любовь.

Дыл взглянул на Кострому, у которого не было никакой любви, ни в настоящем времени, ни в перспективе, это было бы большой удачей для Костромы, если бы он резко бросил писать стихи.

— еще чего-нибудь прочти, — сказал Дыл.

Кострома прочитал еще.

— а теперь спой, — сказала Петя.

Так с песнями и стихами они подошли к дому Бориса, посмотрели на его квартиру, которая была на первом этаже, даже чуть ниже тротуара, но не совсем в подвале. Петя сверху вниз заглянула в его окна, его не было.

— подождем? — спросил Кострома.

Они помаялись на холоде, Кострома начал читать еще один стих, но Петя так на него посмотрела, что он прервал чтение и сказал, что он еще его не дописал.

— почему у нас нет частной собственности, — сказал Дыл, — зашли бы сейчас в частное кафе, погрелись.

— а в государственное не можешь зайти?

— в государственное — нет, там — воняет.

— чем там воняет?

- то, что едят, тем и воняет.
- так едой же воняет.
- я люблю, когда едой пахнет, а не воняет.
- а я не против, чтобы все было частное, — сказала Петя.
- а кто против, — сказал Дыл, — все должно быть частное, только границы государственные.

Петя подумала и сказала: «можно ко мне заехать», потому что подумала, что сестры нет дома. Поистратившись, они прокатились до Петиного дома на метро. И когда Петя стала открывать дверь, с другой стороны ее открыла Ездандукта, с одной стороны, в этом не было ничего плохого — она открыла и пошла назад, как вдруг с другой стороны вышел Борис. При виде Бориса Петя должна была бы упасть в обморок, и то, что она не упала, и то, что она стояла, и то, что она даже сделала один шаг вперед; она должна была бы потерять дар речи при виде Бориса, и то, что она сказала, и то, что она ответила, и то, что она потом спросила, оказывается, с той самой минуты, как она увидела Бориса, она не переставала говорить, и то, что она стоит и молчит, казалось только ей, потому что на самом деле она ходила и говорила, а ей казалось, что все ходят и говорят, а на самом деле все стояли и молчали. Ездандукта стала спрашивать, а Петя стала объяснять, но Ездандукта ничего не могла понять и просила только объяснить, откуда взялись ордена, а Петя не могла понять, откуда взялся Борис, и когда Ездандукта на свой вопрос получила Петин ответ: «из космоса», она на Петин вопрос дала Петин ответ: «из космоса». А Борис не понял, что ордена — за любовь, и ускользал от Дыла и Костромы, как рыбка: вот он уже у них в руках, и вот его нет, но когда он понял — что за любовь на нем заблестели ордена, как чешуя на рыбке. Петя не переставала смеяться, потому что чувству ее не было конца, а был конец чувства, Ездандукта абсолютно белая сказала, что абсолютно все услышали: «уходите». И Петя спросила: «кто?», и она ответила: «все». И Петя с Борисом, позвякивая орденами, пошли к двери. Дыл с Костромой пошли к двери. И когда они все вместе стали спускаться вниз по лестнице, Ездандукта выглянула из двери и сказала: «Борис, можно вас на минуту». И Борис развернулся и пошел обратно к двери, и когда за Борисом захлопнулась дверь, Петя хотела тут же вернуться и открыть ключом дверь, потом она хотела позвонить в дверь, потом выбить ногой дверь, но когда Кострома сказал: «пошли, подождем внизу», Петя пошла за Костромой, и внизу они стали ждать. Первая минута была как минута, но прошло еще пять минут, и Петя стала считать минуту за минутой, «сколько прошло?» — «десять минут», и после того, как прошло еще пять минут, Пете показалось, что прошел уже час, и она сказала, что больше не будет ждать ни минуты, и ровно через ми-

нуту они уехали, и ровно через минуту вышел Борис. Он постоял у двери несколько минут, потом за минуту обошел все вокруг, и, подумав минуту, он решил, что вернется на минуту.

2

...а тот, кто не может иметь ребеночка, может иметь андюшу, это такая небольшая металлическая скульптурка, которая вещает, или другого андюшу можно вывести из яйца; взять яйцо черной курицы и вместо белка влить сперму, заткнуть пергаментом, чуть увлажненным, и в первый день мартовской луны положить его на кучу навоза; через тридцать дней инкубации появится монстр, напоминающий человечка, его нужно кормить земляными червями и канареечником... и пока он будет жив, ты будешь счастлив.

— а ты хоть знаешь, где мы сидим?

— не-а.

— это стадион.

— поле большое, а скамеек нет.

— может, с другой стороны скамейки, а мы — с другой.

— а скамейки — вокруг.

— а мы — вокруг скамеек.

— а ты видишь, там туман.

— какой?

— ночной туман, и скамейки в тумане.

— а почему звезды?

— звезды — в небе, а туман — на земле.

— а в небе?

— звезды.

— а на земле?

— скамейки.

— там есть еще глоток?

— откуда ему взяться.

— мне сегодня приснилась женщина, такая красивая с коричневыми глазами в красном платье, и она сказала: когда ты будешь счастлива или когда ты будешь несчастна, подумай обо мне, и я к тебе приду, у нее на лбу был глаз, кроме двух обычных глаз, и глаз на лбу то проваливался в глубину затылка, то всплывал, как поплавок, как бы по такой трубочке, уходившей в глубину затылка, а потом он всплывал на поверхность лба, — с чувством рассказывала Петрарка.

— ты его любишь? — спросил Кострома.

— Борис — это мое чувство, — ответила Петя.

И Кострома, предчувствуя, что Петрарка что-то еще скажет о Борисе, сказал про другое:

— вон видишь, там под небом — сарай, там хранят инвентарь.

А бесчувственный Дыл сказал:

— сразу видно, что Петрарка влюблена.

Оттуда, где они сидели, не только не виден был сарай, даже не видно было скамеек, и стадион был их представлением о стадионе.

А Петя так расчувствовалась от того, что видно и не видно, что ее подбросило почти на полметра от земли, и когда она приземлилась, нет, когда она даже была между небом и землей, в момент приземления, нет, уже когда она встала на ноги, она сказала, когда она уже села:

— я люблю Бориса.

она говорила, захлебываясь от чувства, и так как ничего, кроме того, что она любит Бориса, она не говорила, ее речь нельзя было назвать просто речью, это была мелодия: та-та-та-та, это была одна мелодия, которую знает какая-нибудь одна птица, и мысль, заложенная в этой мелодии, была такая простенькая, что одну птичку на Кавказе, которая облюбовала себе одну ветку в Эшере, хотелось подбить за то, что с утра, радуясь солнцу, она щебетала до самого вечера: «я люблю-бори-са». И если бы птица запела теплоходным гудком или трамвайным звонком, или пением своим она тормознула бы в небе, как автомобиль, — это могло бы поразить слух, но в том, что птица — поет, девушка — любит, в самой мелодии как мысли, и в мысли как мелодии — не было ничего поразительного: ну любит, ну поет.

— я никогда больше не полюблю. Никого, — сказала Петя. Эта новая песня пронимала еще сильнее, и когда она еще раз сказала: «никогда», — пошел снег, и ближе к небу он был больше снегом, а ближе к земле — он был больше дождем, и особенно сильно было видно, что между небом и землей несколько ярусов. Это было видно с точки зрения человека, а хорошо, если бы это было видно еще из какой-нибудь точки.

Петя вернулась домой не так поздно, но позже, чем ушел Борис, но раньше, чем Ездандукта пошла спать.

Ездандукта сияла как никогда, т. е. никогда еще Петя не видела, чтобы Ездандукта так сияла. Она мыла посуду и летала по квартире, и летая и сияя, она мыла и говорила, что они с Борисом говорили на разные темы, и на тему ее диссертации, что у нее поменялась тема после того, как умер ее первый руководитель, и теперь тема диссертации называется: «тема природы в философско-любовной лирике первой половины 19 века», а во второй половине дня, когда Петя с друзьями вернулись, они не успели договорить на эту тему, и Ездандукта попросила Бориса задержаться на минуту, но они стали говорить совсем на другую

тему, и Ездандукта сказала ему, что она очень рада, что у ее сестры появился нормальный знакомый, потому что все остальные ее знакомые абсолютно ненормальные, «и ты с ними пропадаешь по ночам», — сказала она Пете, а Борис сказал: «у вас очень талантливая сестра».

— когда это я пропадала по ночам? — спросила Петя.

— две ночи подряд тебя не было, — сказала Ездандукта. И тут Петя не сказала, что эти две ночи она пропадала у Бориса, а что до этого врала, что она раньше врала, а теперь не врет, что любит Бориса, и он ее любит, и что две ночи подряд они любили друг друга, а про день рождения она соврала; и вместо того, что она не сказала, она сказала:

— ты его супом кормила?

— я надеюсь, ты не влюблена, — сказала Ездандукта.

— в кого? — спросила Петя.

— в Бориса, например.

Петя спросила: «в какого?» только потому, что не могла говорить с Ездандуктой о своем Борисе, но зато спокойно могла говорить о Борисе вообще: о Борисе Годунове, о Борисе и Глебе, о борисе-барбарисе. А Ездандукта не хотела говорить о борисе-барбарисе и опять заговорила о Петинном Борисе, и у Пети случайно вырвалось:

— да ты сама, наверное, в него влюбилась.

И вдруг Ездандукта ответила ей так серьезно и тихо:

— если бы он хоть чуть-чуть полюбил меня как человека, я готова была бы любить его всю жизнь.

Такого полета Петя не ожидала.

— как это, как человека? — задала она вопрос.

— вот так, — сказала Ездандукта.

В окно светила здоровая луна, известно, что за птица эта луна, ничего не известно, Петя пошла к себе в комнату, бренча орденами, и бриллиант так сверкнул при луне, как при солнце, любовь была как дружба, сестра как брат, мать как отец, дурак как дурак, и перед сном Петя подумала, что иногда ей снится Борис, но не как человек, а как какой-нибудь предмет или зверюшка, например баночка или черепашка, но она точно знает во сне, что баночка или черепашка — это Борис, и относится во сне к ним не как к банке или черепахе, а как к человеку, «вот это, что ли, имела в виду Ездандукта?» — подумала Петя. Но Ездандукта имела в виду не это.

И тут на нее напала такая тоска по Борису, что она затосковала не только по Борису; и место, где живешь, страна, нагнала на нее такую тоску, что ничего не возможно изменить, что если резко начать все менять, все сделать частным, только границы — государственными, это не удастся сделать мирно, все передерутся и перебьют друг друга; почему нельзя открыть границы и съездить с Бори-

сом, скажем, в Японию (только кому скажем?) с выставкой его скульптур, а потом вернуться через год и написать картину, или начать ее писать в Японии, а закончить хотя бы в Москве, почему для того; чтобы съездить хотя бы в Японию, надо убить на это полжизни: сначала кончить, потом начать-вступить-зарекомендовать-потом суп с котом; а что Япония, у нее здорово развивалась культура, пока триста лет были закрыты границы; так она же маленькая, Япония, она же — остров и ученица Китая, а мы же часть материка, часть Азии и Европы, у нас тоже не дремлет культура, только жизнь вымирает. Живем, как враги, и остается только валить дурака. Редкая страна, где не живут, а только все время борются, страна экспериментов, но ведь жизнь — это не эксперимент, жизнь — это жизнь раз в жизни. Вокруг не дети, а октябрята, не молодежь, а комсомол, не люди, а члены. Петя подумала, что Борис нарочно упрятал Коломенский храм в коробку, чтобы его не видно было снаружи, а видно было только изнутри. И пока, лежа в постели, Петя не могла заснуть, измучившись от всех этих мыслей, Борис, измучившись на аэродроме, заснул, потому что никак не мог вылететь со своим храмом в коробке не в Японию, а в довольно-таки среднюю Азию.

Нельзя сказать, что ранним утром Борис вылетел из Москвы, просто из мертвого города он отлетел, как душа. Он нарочно не сказал Пете, что ему надо лететь, чтобы все-таки улететь, потому что вспомнил, как он не уехал, когда сказал ей, что ему надо ехать. Зато он оставил ей ключ от своей квартиры, и Ездандукта сказала, что передаст его вечером вместе с приветом, но привет она передала, а ключ решила передать утром. И пока утром Петя спала, Ездандукта не дремала. Она прикатила к Борису, чтобы навести у него красоту по своему представлению: красиво расставить стулья и стопкой сложить белье; она так далеко зашла в своей уборке, что после того, как она перемыла полы и посуду, она взялась за окна. Она довела их до такой прозрачности, что сквозь прозрачные чистенькие стекла полуподвала улица казалась особенно противной. Она сдвинула скульптуры в сторону, и все, что раньше ходило и звенело, теперь стояло и молчало. Когда Ездандукта к вечеру вернулась домой, она неторопливо стала рассказывать, но Петя так ее торопила своими вопросами, потому что Пете не терпелось узнать, где же Борис, а Ездандукта терпеть не могла, когда Петя ее перебивала, когда она говорит; и то, что Ездандукта хотела рассказать все по порядку, а беспорядочные Петины вопросы ее сбивали, Ездандукта как раз сбилась на самом интересном месте рассказа, в том месте, где речь шла о самолете, потому что когда Петя перебила ее вопросом: «как это улетел?» и Ездандукта ответила: «ну как обычно летают — самолетом», и Петя ста-

ла задавать вопросы: «когда улетел», «каким самолетом?», в конце концов Петя сказала: «не мог он улететь самолетом», Ездандукта сначала даже растерялась, но потом спокойно ответила: «он улетел вчера, а сегодня уже прилетел». «Ну почему же самолетом!» — сказала Петя. Это Ездандукту даже рассмешило: «а на чем же ехать в Среднюю Азию, не на поезде же?»

— почему в Среднюю Азию? — спросила Петя, — он должен был уехать на поезде в Ригу.

— все правильно, в Ригу — на поезде, в Ташкент — на самолете. Петя просто возненавидела самолет, который летит в Ташкент, уже прилетел, не потому, что он набит до отказа, с грязными чехлами на креслах, и не проветривается, не дезинфицируется, даже не потому, что внутри самолета летают мухи, мухи в воздухе — это спорт, бегают тараканы, она ненавидела его как транспорт, который улетел-прилетел, быстро и комфортабельно, «пользуйтесь услугами аэрофлота, они всегда к вашим услугам», она его ненавидела за эти услуги, пусть в поезде тоже услуги, но в поезде больше человечности, и если попросить его, как человека: «не уезжай», он и не уедет, а самолет улетит, как козел, а еще больше человечности — в колесах, на такси точно не уедешь, если попросить: «не уезжай», но самый бесчеловечный транспорт — это собственные ноги, на которых уносишься, как на крыльях.

После самолета Ездандукта даже не вспомнила о ключах, а Петя не спросила, а Ездандукта не сказала, и Петя не узнала. Она вспомнила о ключах, когда Петя уже вышла из дома, она решила, что скажет, когда Петя вернется, тем более что перед уходом она сказала Пете: «не поздно возвращайся». В институте был семинар, который был посвящен одному прозаику, сокурснику Костромы, и одной поэтессе, которая училась с Петей на одном курсе, а вел семинар один молодой критик, который уже был на последнем курсе, и он сразу сказал, что когда в рассказе героиню зовут по фамилии, а героя по имени, то это очень плохо, лучше всего, когда героиню зовут по имени, а героя по фамилии, а еще лучше, когда героиню называют не полным именем, а неполным, например, не Татьяна, а просто Таня. Это оказалась самая острая тема, потому что на другую тему уже никто не говорил. И только в самом конце сказали, что в стихотворениях молодой поэтессы по-настоящему чувствуется мужская сила, и на прощание ее назвали сложившимся поэтом. После такой тоски Петя с Костромой вышли в садик, где стоял тот, кого разбудили декабристы, который сам потом кое-кого разбудил.

— зря они друг друга разбудили, — сказал Кострома и показал на памятник, такой маленький и страшенький

с тремя тюльпанчиками на нечищенных ботинках и продернутым шлангом между ног.

Еще поговорили на тему: кто кого разбудил, кто больше спал, а кто меньше, «а Наполеон вообще мало спал, всего три часа в сутки, зато много гулял, все время на улице, на поле сражения», — «а другой днем любил спать, выспится днем, а ночью из-за него никто не спит», — «а сейчас люди вообще любят поспать, если бы еще не надо было на работу ходить, вообще бы никто не шевелился», — «а чего шевелиться, все равно никакого толку, лучше поспать».

Подошел Дыл, «чего вы тут сидите, — сказал он, — пошли». И они пошли. Какой чистый воздух, как пахнет хорошо, «чем?» — «чебрецом», — «а ты нюхал чебрец?» — «а как же», — «а где?», — «а в аптеке», и так хочется, чтобы, точно, все было чисто и хорошо, а не точно, как в аптеке. Петя по-быстрому распрощалась с Дылом и Костромой, чтобы посмотреть на окна Бориса, которые были прозрачные, как стекла, грязные, как воздух. Борис улетел, и все было так бессмысленно, и некуда было податься, и Петя подалась домой.

Уже поздно вечером Ездандукта сказала:

— совсем забыла, тебе Борис оставил ключи.

— когда? — спросила Петя.

— опять начинается, — сказала Ездандукта, — ты опять задаешь бессмысленные вопросы.

— какие? — сказала Петя, потому что очень волновалась.

— глупые, — ответила Ездандукта и пошла спать.

Петя долго не ложилась спать и долго сидела на кухне, она хотела расспросить сестру о подробностях, но Ездандукта не показывалась. Зато когда она вышла из своей комнаты, Петя сразу ее спросила:

— а когда он мне оставил ключи?

— вчера, — сказала Ездандукта, — да, я еще тебе не сказала, — и тут она сказала такую страшную вещь, что Петя даже вздрогнула, — я ездила к нему сегодня и немного прибралась, но тебе это, наверное, все равно.

— все равно интересно, — сказала Петя, — ну и как?

— нормально, — сказала Ездандукта и ушла к себе в комнату.

«Все будет хорошо, — подумала Петя, засыпая, — все будет прекрасно», — и прекрасное хорошо увлекло ее в свое прекрасное далеко, не так далеко от дома, в область сна, где по области ожидалась осадка и местами заморозки, и все места для пассажиров с детьми и инвалидов были заняты, в местах общего пользования, в самом интересном месте сна, где обычно появлялся Борис, его все еще не было во сне, и впервые с момента их любви он должен был появиться не в той точке, где пространство пересеклось со временем, не в том месте, где два часа дня пересеклись с

Гоголевским бульваром, не в то время, когда часы показывают пять-ноль-пять рядом с зоопарком — он должен был появиться только во время дождя — вовремя — и сам он мог быть на улице, на море и в кафе, в любом месте, где бы она его застала во время сна, допустим, в три часа. Но его не было во сне ни в одном месте сна ни в четыре, ни в пять, и только когда вместо семи часов стукнуло девять, и Ездандукта стукнула дверью, от этого стука на рассвете, который лез вместе с солнцем в глаза, в точке пересечения солнечного луча и звонка будильника — появился Борис.

Сначала Петя даже не поверила, что это на самом деле он; он мог быть в воздухе, в Средней Азии, но то, что он стоит в дверях, было так невероятно, что вероятнее всего это был сон, в котором она проснулась во сне; и то, что обстановка в этом сне была такая, какая была наяву, ни о чем не говорило. И только когда Борис заговорил с сестрой, а Петя села на кровати, стало ясно, что это на самом деле говорит Борис, а Петя на самом деле сидит на кровати. Какой тут может быть сон. Она накинула халат и вышла на кухню. Ей хотелось расцеловать Бориса, но не при страже же! Попили втроем кофе, но ни на одну тему толком не поговорили, потому что у Пети с Борисом была своя тема, у Ездандукты с ним — своя, а у Пети с Ездандуктой — своя, то есть у сестер своей темы и не было, они не говорили на тему родственников, которых не было, на тему любви — не было, на разные литературные темы они почти не говорили, а разные темы, касающиеся хозяйства, малоприятные темы, но иногда они говорили: «купила?» — «не купила», — «почему не купила?» — «не было».

Ездандукта ушла на работу, но Петя так боялась, что она может вернуться в любую минуту, что она сказала Борису:

- может, к тебе поедем?
- а ты без меня была у меня?
- не успела.

Зато Петя сказала, что сестра — успела, и даже успела там прибраться. Борису это было неприятно услышать, а еще неприятнее ему было услышать то, что Ездандукта ничего не слышала о Петиной любви.

- ты почему меня прячешь? — спросил Борис.
- все равно бы она не поверила.

На минуту Борис забылся, когда Петя стала его целовать, а потом он уже обо всем забыл, когда Петя не забыла ему рассказать свой сон:

— представляешь, — сказала она, — там совсем не обязательно договариваться о месте, не надо точно договариваться — на бульваре или у метро, нужно только условиться о времени, например, сказать: давай в три часа, и в каком бы

ты месте ни находился в три часа, именно в этом месте я появлюсь ровно в три: если бы так было на самом деле. Он сказал: «здорово», потому что так здорово было то, что они пересеклись, и точка пересечения была не на бульваре или в кино, а в самой нежной точке, распаленной до такой степени, что ни о какой степени сравнения в этой точке не могло быть и речи; и с точки зрения Бориса, Петя вся целиком становилась этой точкой, то есть это была точка отсчета, от которой вверх и вниз по всем лучам разбегалось ее тело, движимое как бы центробежной силой, а с точки зрения Пети, все ее тело устремлялось к этой точке, подталкиваемое другой, как бы центростремительной силой, и когда уже у нее не было сил сдерживать эту силу, она сказала: «все», потому что она дошла до этой точки, а он довел ее до этой точки. Время прокатилось и укатилось, «я пойду», — сказал он, когда Петя его спросила: — ты куда? а я?

— а ты еще поспи.

И он, правда, ушел, а она, правда, заснула и услышала во сне звонок, который наяву был телефонный, это звонила сестра.

— ушел Борис? — спросила Ездандукта.

— давным-давно, — ответила Петя.

— я сварила суп, я ему отвезу, — Петя не стала выяснять, где именно Ездандукта сварила суп, в метро или на работе, удивительные эти домохозяйки, которые варят суп прямо на остановке.

— не беспокойся, — сказала Петя, — я как раз сварила суп, остужу его чуть-чуть и отвезу.

— ты сварила суп? — в голосе Ездандукты было неподдельное удивление.

И чтобы не рассердить сестру, Петя сказала дружелюбно: — так что ты спокойно работай и не беспокойся, я сама отвезу.

— я скоро вернусь домой, — сказала Ездандукта и повесила трубку.

И Петя стала со страшной скоростью варить суп. И капуста с морковкой стали вариться с такой скоростью вместе с картошкой, с такой же скоростью, с какой Петя вращалась вокруг кастрюли, протыкая ножом морковку: сварилась — не сварилась, а впереди еще был лук, который жарить отдельно вместе с помидорами, которых не было. Наконец, морковка стала мягкая, а лук — золотистым, и Петя объединила все отдельное вместе, и получился суп, который не успевал остыть до прихода Ездандукты, которая «скоро придет». Тогда Петя поместила эту маленькую кастрюльку в большую кастрюлю, в холодную баню, но все это так медленно остывало, и тогда она эту маленькую узкую кастрюлю поставила в широкую, и на дно широ-

кой положила холодный душ, и когда суп охладился под душем, и в литровой банке закружилась морковка, это было похоже на аквариум с экзотическими рыбками, которых нужно подкормить, и Петя насыпала сверху укропу, и когда она была уже в дверях, она столкнулась в дверях с сестрой и сказала ей:

— там суп в кастрюле я сварила.

А Борис совсем не удивился Петиному супу и, может, и не обрадовался. Они вместе порадовались, когда, случайно оказавшись в конце хвоста в ресторан «Якорь», им сказали, что их обслужат, но чтобы они предупредили, что за ними уже не занимать. Через часок их впустили и предупредили, что их не успеют обслужить до санитарного часа и что во время санитарного часа им могут принести вино и холодные закуски, а после санитарного часа принесут горячее. И вот что еще было приятно: те, кто успели съесть свое холодное и горячее до санитарного часа, разошлись, ресторан опустел, это напоминало безлюдный пляж, а еще напоминало страницы французских писателей: Мопассана, Пруста, и русских: Бунина, всех. И было приятно до тех пор, пока не появилась тетка с веником и совком, которая стала подметать под столами, и Петя сказала Борису:

— спорим, что она скажет: поднимите ноги.

Но она не сказала. Согнувшись пополам, она бесшумно передвигалась по зальчику: мать двоих детей, жена — мужа-алкоголика, бабка — трех внуков, тетка — одного племянника, носительница имени древнего рода, однофамилица. И то, что в ресторане рыбой и не пахло, и то, что на улице не пахло зимой, а тетка была замусоленной, а девушка-официантка такой слабенькой и худенькой, и так неумело она расковыривала бутылку шампанского, и под куском осетрины были упрятаны осетриновые косточки, непонятно для какой цели — все это никому было бы непонятно, кроме советиков, которым была понятна вся эта кухня. Вино Европейское, дешевое безликое винцо, которое с таким же успехом могло называться: Азиатское, Африканское, Американское, «когда открыли Австралию?» — «в 19 в.», Австралийское с 19 в., вино было только как понятие, вино и все, а не вино как обобщение, включающее в себя разнообразие вин, так же коньяк как понятие, коньяк и все, водка — была одна. И не только в ресторане, но и рядом в жизни, фрукты были чем? только яблоками на прилавках. В магазинах, в отличие от растительности и животного мира, полностью отсутствовали виды, отряды и породы, колбаса была только одна, и никаких у нее не было разновидностей, никаких видов, отрядов и пород. Зато сколько было в меню названий блюд! и если представить, что у каждого названия есть вкус и плоть, то получалось, что закуска была вкусной,

а обед плотным. Петя поковыряла икру и слизнула ее с яйца, в сущности, она ее даже не распробовала. В меню советской жизни, совсем как в меню сущность заменялась названием, например, такое сладостное название: осетрина, запеченная в горшочке — была в сущности кусочками какой-то безвкусной таинственной рыбы и только при сильном воображении напоминала осетрину. Но вино и шампанское так распалют воображение, что все кажется очень вкусным, и даже трезвая холодная солянка кажется пьяной и душистой. В конце концов не есть же они сюда пришли! а что? а просто посидеть. Поесть можно и дома — съесть пол-литра супа. И они посидели, пока народ не стал заходить; а после санитарного часа народу набилось столько, как будто все пришли на боевик.

Петя с Борисом вышли из ресторана под звуки оркестра, который что-то играл, он вполне мог играть и гимн Советского Союза. То, на фоне чего они были людьми, была улица, и даже неважно, что она была — Горького; сегодня — Горького, вчера — Тверская, завтра — ля-ля; все уйдет, все переменится, только красота останется (памятники искусства и архитектуры), нет, только любовь останется, сказал поэт, и он сказал чистую правду, и с тех пор, как он это сказал, через сто лет, осталась любовь, а революция пришла и ушла, и от нее остались флажки, тюрьмы и памятники, культ пришел и ушел, и от него остались памятники как тюрьмы (но не памятники искусства и архитектуры), а завтра что останется? флажки?

3

В последнюю ночь перед новым годом, выпросив всего на одну ночь у Костромы книжку, Петя добросовестно проглотила ее к утру, и только к утру ей стало ясно, что в самом начале книжки Мартыну дано было англоманское воспитание для того, чтобы в конце он совершил подвиг, то есть попер в Россию, несмотря на то, что в воспоминании о ней вывез: автомобиль, теннис, футбол, резиновые мячи и ванны, которые любил, и не вывез: пушкинскую няню со спицами, русские пословицы, поговорки и загадки, которые не любил. Эта книжка была слепым ксероксом, который еще так неудачно переплели, что часть слов уходила под корешок и приходилось догадываться, что -торый — это который, а -ец — это все-таки конец, потому что «пиздец» все-таки выбивалось из лексикона писателя ровно настолько, насколько он отбился от России. Но внешний вид книги: отсутствие полей, дрянная обложка, слепой шрифт — настолько соответствовал ее содержанию, то есть и без того тоска по России еще больше усиливалась за счет плохенького вида книжки, и может быть, из-

датель сделал бы бизнес, выпустив часть тиража кое-как. И утром, когда у Пети стали слипаться глаза, она подумала, что не так-то просто будет выпустить книги плохо в «Арди-се», где привыкли выпускать только хорошо, но эта «плохая» книжка была такая «живая», что Петя подумала с нежностью обо всем плохом, но «живом»: о потолке, который был слишком «живой», с трещинами и подтеками; обоях, трубах, полах и разных мелочах, и она уже стала засыпать, и тут прорезался телефон, который так живо раззвонился, что это могло обозначать две вещи: что сестры нет дома, раз она не подходит, и что это звонит сестра, раз она знает, что Петя подойдет, ну Петя и подошла.

— прочитала?

— а, это ты, — сказала Петя.

— давай в час у института, — сказал Кострома.

Петя попыталась перенести встречу часов на пять, но, учитывая, что день не простой, а предновогодний, Кострома сказал:

— нет, в пять поздно, книга не моя.

— ладно, давай в три, — сказала Петя.

И решили — в три. Но до трех Петя не заснула, потому что мысль о том, что надо быть в три, не давала заснуть, она пару раз позвонила Костроме, чтобы перенести встречу на час, но Костромы не было, и она разозлилась на полную бессмысленность этой встречи в такой важный день. Помимо этой встречи, были еще два важных дела: взять у Ездандукты на работе заказ, пришить к платью металлические украшения и встретить Бориса, с которым они вместе решили встречать Новый год вместе с Ездандуктой.

В три часа произошла встреча: Петя отдала книгу, Кострома положил ее к себе в мешок, и вроде бы все, и тут Кострома спросил:

— ты сейчас куда?

— надо заказ взять у сестры.

— а потом?

— платью дошить, — и Петя рассказала о платье: что оно из кусочков меха, шелка, и там еще должны быть такие металлические украшения, которые она не успела пришить, — а ты? — спросила она.

— я — к Дылу. Можем вместе заехать.

— а где он?

— в центре.

Петя позвонила из автомата, и все выяснилось: что Ездандукта получила заказ и сама привезет и что Борис приедет в одиннадцать.

— давай заедем, — сказала она, потому что время еще было.

Но оказалось, что Дыл обитает в центре какой-то окраины, потому что они туда ехали-ехали и вот приехали: вышли у огромного сталинского дома, но единственного во

всей округе; напротив него был сквер, а в сквере — обелиск; они вошли в дом, но не со стороны подъездов, а со стороны приделанной лесенки, которая сначала поднималась вверх, потом была дверь, которую Кострома открыл, а за этой дверью была лестница, которая круто уходила вниз, и было абсолютно темно. И вела эта лестница к двери. Кострома постучал, и Дыл открыл. Комнатой это, конечно, можно было назвать с трудом. Но висели занавески, и стояли кровати, которых было почему-то четыре, а посреди стояла крашеная школьная парта старого образца, и к стенам были прибиты такие штуки, куда вставляют флаги, и они висели над кроватями, и Кострома, когда вошел, сказал:

— зачем во флагалища елки засунул? — из дырок торчали еловые ветки.

— пускай будут, — ответил Дыл.

— на иголках будешь спать?

— я на другой буду спать.

Петя походила, посмотрела, все-таки это была не комната, а какая-то гадость, она только спросила у Дыла:

— почему так много кроватей?

— здесь можно вчетвером жить, — пояснил Дыл.

— а с кем ты живешь? — спросила Петя, прежде она совсем не интересовалась его жизнью.

— один, — ответил Дыл, — а плачу за четверых.

— значит, ты платишь в четыре раза больше?

— нет, в два.

— почему, — удивилась Петя, — если за одного пять рублей, то за четверых — двадцать.

— я плачу — тридцать.

— значит, ты платишь больше, чем в четыре раза?

— нет, ровно — в два, потому что с каждого — по пятнадцать.

— а кто сдает, интересно?

Кострома достал из мешка какую-то роскошную бутылку, и то ли Пете стало уже не так интересно, но она не переспросила, а Дыл не переответил.

Кострома стал открывать эту красивую посудину, а Петя раскрыла занавески и тут только увидела, что окон-то нет, что занавески висят прямо на стене.

— нету окон, — сказал Дыл.

— но это же страшно, — сказала Петя.

— мне тоже было страшно, я и повесил занавески.

То, что Дыл был такой хорошенький, а жил в таком нехорошем месте, может, было и не очень хорошо.

— а раньше где? — спросила Петя.

— в Караганде, — пошутил Дыл, но, кроме шуток, раньше он мог жить и в Караганде.

В таком невеселом месте трудно было развеселиться, и Кострома, может, чтобы повеселить Петю, сказал, что они

с Дылом решили завести андрюшу. Про андрюшу она стала расспрашивать, а Кострома стал рассказывать, что они с Дылом хотят ребеночка, но они не гомики, а Дыл не женщина, а Кострома не девушка, что они к марту выследят черную курицу, и выкрадут у нее яйцо, и у кого получится, тот это яйцо и оплодотворит, а может, они и вместе впрыснут, и будут за этим яйцом ухаживать, и у них будет свой монстр, и тогда они будут счастливы, а пока они несчастны, пока у них нет андрюши. И когда Кострома по-латыни написал androide, Петя почувствовала, что ее так развезло от портвейна и андрюши, что она еще успела подумать по-латыни bogisus, после чего по-свински заснула... Кроватей было как раз на одну больше, и сквозь сон Дылу показалось, что Кострома спит сразу на двух кроватях в двух экземплярах, но из всех троих Кострома был единственным, кто не спал всю ночь ни на одной кровати ни в одном экземпляре. Сначала он подумал, что Петю надо разбудить и отвести домой, но потом он подумал, что лучше ему об этом не думать.

Все можно предположить, кроме того, что предположить нельзя. Стукнуло двенадцать, стрелки перевалили, Петрарка не пришла. И Борис с Ездандуктой чокнулись. И выпили. Поздравили друг друга. С чем? Да с Новым годом. Есть такой праздник. Новый год, когда пьют, поздравляют и расходятся. Они не разошлись. Последовал ужин. Они съели все вдвоем, они нажрались и легли спать. Он трахнул сестру Петрарки, и памяти об этом не может быть. Борис вспомнил об этом утром, часов в шесть, в частнике за три рубля, около восьми. Они проснулись с Ездандуктой вместе в одной постели, и он даже не знал, что ей сказать, потому что так и не знал, что ей сказать перед тем, как это сделал, и сделал он потому, что не знал, о чем дальше говорить, но после того, как он это сделал, он не знал, что дальше делать и о чем говорить, и он заснул, и проснулся, когда уже можно было ничего не делать и ни о чем не говорить. И когда машина стояла у светофора, он на красный свет вспомнил все — что Ездандукта — девственница. Даже сделанное ею признание, что он у нее первый мужчина. Она так ловко это ввернула, как будто девственная плева обновляется с каждым годом, и в ту минуту ему показалось, что он у нее первый мужчина — в новом году, и это было так естественно, тем более, что стрелка прошла всего по обороту. Но сейчас вдруг до него дошло, что это признание относится не к этому году, это было признание вообще. Все признаки того, что он у нее был первым — были. Не было единственного признака — его. Он явно отсутствовал в этом деле, и то, что она сказала, и то, что он ответил, и то, что она спросила, и то, что он сказал, и то, что он заснул, сказав. Девственница в тридцать пять лет, в новом году, в сорок лет, в восемьдесят пятом году, в том числе в рот.

А все-таки странно, что вот все идет, идет, а потом остановится, а потом уже совсем другое идет. Петя открыла глаза, но была такая темнотища, не было никаких признаков света, и она захлопнула глазки. А потом опять открыла — и опять темно. В этой тьме, где даже не было видно ничего, она поняла, где она. И зашевелилась. Потом зажгли свет, но маленький. И люди были маленькие, а тени большие. И тени курили. Эти увеличенные тени пускали дым, и дым был тенью.

— проспали Новый год, — сказал Кострома.

— сколько сейчас? — спросила Петя.

— семь часов первого.

— какого?

— первого восемьдесят пятого.

— дурак, — сказала Петя.

Она сказала и разревелась. Она так страшно разрыдалась, что Костроме даже стало страшно, даже Дылу стало страшно. Она рыдала за партой, размазывая краску по щекам, она навалилась на парту и уткнулась лицом в рукав, и так двинула локтем Кострому, когда он попытался сесть рядом, а потом, нарыдаввшись, грохнула крышкой парты.

— здесь есть вода? — спросила она у Дыла.

— вон там, — сказал он.

И она пошла — вон туда. Вон там — был и туалет, и душ — все в одной каморке, и все такое замызганное и заплеванное, хотя на это было уже наплевать.

— отвези меня домой, — попросила Петя Кострому.

— ты же просто спала, — сказал Кострома, — что тут такого, объяснишь ему, и он поймет.

Она еще раз сказала ему: «дурак», и он больше не лез со своими утешениями. Домой-то он ее привез, и Ездандукта открыла, и Кострома ушел. Ездандукта ничего не собиралась скрывать. Она сразу вывалила всю правду, да такую неправдоподобную, что Пете показалось, что сестра врет. Ездандукта сказала, что у нее никогда ни с кем ничего не было, и что Борис у нее — первый, и это было сегодня ночью — впервые. Петю поразило, что у Ездандукты с Борисом было, но и сам факт, что ее сестра была девственницей — был поразительным. Это был не факт, а fuck. И Петя как села на кухне, так сидя и сидела. А потом она уже у себя в комнате лежа лежала. И думала, и ничего придумать не могла... Она подумала, что она бы ее не убила, даже если бы Ездандукта была ей и не сестра, потому что Ездандукта была мыслью, а как можно убить мысль? И мысль: он не хотел, а она хотела, и у них все произошло, она не хотела, а он захотел, и у них произошло, оба не хотели, но произошло. Она себя так замучила.

Провалявшись так полдня в постели, наплакавшись, умывшись, и опять расплакавшись к вечеру, Петя говорила

себе: «ведь я же люблю его, я его жутко люблю, ведь он же меня любит, мы же друг друга любим, почему тогда так все ужасно?» Она поехала к Борису, непонятно даже, как она доехала: выйдя из дома, она не знала еще, что она едет к Борису, и ответив на вопрос сестры: «прогуляться», она не представляла, что она уже едет к нему. Она довольно долго ехала, на разном транспорте, и не самым коротким путем, и даже сначала не к нему, а просто в его сторону. И оказавшись в его стороне, она как-то незаметно оказалась у него дома, и увидя, что у него горит свет, она так обрадовалась, что заявила к нему бесконечно радостная. Борис удивился, откуда столько радости, и не понял. Все объясняются в любви одинаково, но все выясняют отношения по-разному: причин для объяснения в любви мало — даже всего одна причина — любовь, а причин для выяснения отношений много, даже слишком много, чтобы выяснить отношения сразу. Борис сразу стал выяснять, почему Петя не пришла в Новый год, и сразу же выяснил, что «она просто спала». Эта причина показалась ему не самой главной причиной, ему показалось, что за ней стоит другая, главная причина, а главная причина заключалась в том, что ей «страшно хотелось спать». Все это были не причины, чтобы не прийти в Новый год, но других причин не было. Но когда Петя сказала Борису, что она все знает, что сестра ей все рассказала, и стала умолять Бориса, чтобы он назвал ей одну-единственную причину и сказал, как это все могло случиться, Борис сказал: «сам не знаю, без всякой причины».

То, что за этим последовала «любовь», было плохо, то есть во время «любви» было «хорошо», но лучше после любви не стало. И даже когда Петя клялась Борису, что она любит только его, что она никогда больше не полюбит никого — от этого признания Борису стало не лучше, то есть лучше бы этого признания не было, потому что лучше всего ему было раньше, когда она это не говорила, а было просто хорошо. И когда она его спросила:

— тебе сейчас хорошо?

и он ответил:

— хорошо.

это был ответ не самый лучший, и когда после этого она сказала:

— но тебе сейчас лучше?

и он сказал:

— может, лучше.

ей показалось, что ему на самом деле хуже, потому что самой ей было хуже, и она решила вернуться домой, потому что решила, что так будет лучше.

И когда она возвращалась домой одна, потому что сказала, что провозжать не надо и машину ловить не надо, и когда она вышла из метро, ей стало страшно от мысли, как страшно

она его хочет разлюбить. Она знала, что она любит только его и больше не полюбит никого. Именно поэтому ей хотелось его разлюбить, чтобы больше уже никого не полюбить. Она точно знала, что больше не полюбит никогда, поэтому ей хотелось разлюбить его навсегда. Она решила, что из всех сил постарается его разлюбить, чтобы больше уже никого не полюбить. И такая вот сильная мысль отняла у нее последние силы, и Петя завалилась спать, осилив всего несколько страниц одного сильного писателя из одной слабой страны.

4

То, что Дылу с Костромой сначала показалось шуткой, очень скоро их не на шутку увлекло, а именно — обзавестись андюшей. И то, что в марте бывает первый день мартовской луны — это закон. Не бывает такого марта, чтобы в нем не было мартовской луны. И не бывает такой луны, которой бы не было в марте. Курицу Кострома купил заранее на птичьем рынке, правда, на черном, потому что курица требовалась тоже черная. Он принес ее к деду на дачу, и держал у себя в комнате. Чего-то она ничего не несла. По крайней мере, пока ни одного не снесла. Кострома сообщил об этом Дылу, и тот забеспокоился: «а может, она крашенная?» — «почему крашенная?» — «может — старая?» — «какая разница, старая, молодая, я думаю, может, она гермафродит», — «не думаю, — сказал Дыл, — подождем еще немного, может, снесет, а если нет, продадим и новую купим». И подождали. И ни одного. В ближайшее воскресенье Дыл съездил на рынок, но даже на черном — ни одной черной не было. Решили курицу не продавать, а ждать первого дня мартовской луны. По календарю получилось, что этот день пришелся на день рождения деда. Кострома удивился этому совпадению. А Дыл сказал, что никакого совпадения нет, потому что если бы они решили завести андюшу в прошлом году, то дни бы не совпали, потому что первый день мартовской луны движется, а день рождения деда стоит на месте, и в будущем году дни бы не совпали.

— но андюшу-то мы решили завести в этом году, — сказал Кострома, — значит, совпадение.

Пошел снежок. Они стояли в саду перед дачей, луны в небе не было видно, она там гуляла, за облаками.

— не совпадение, не получится ничего, — сказал Дыл, — где у нас яйцо?

— несется, сегодня снесется.

— в честь чего это оно снесется, в честь рождения твоего дедушки? я бы у таких дедушек вообще рождения отменил.

— это в честь чего это?

— в честь моей бабушки и дедушки. Я зна-а-ю, куда он их дел.

— он как член партии выполнял приказ партии.

— а я бы и у партии такой день рождения отменил.

И тут в небе промелькнула луна, явно, под снегом, то есть казалось, что снег идет прямо на луне. И такое поднялось кудахтанье, что Дыл с Костромой бросились из садика в дом. И точно — она снесла яйцо. Оно было полное, как луна, на нем были даже дымчатые разводы, как горы на луне, которые видно с земли.

Оказалось, что так легко полюбить и совсем не легко разлюбить, потому что Петя полюбила Бориса ни за что и просто так, а разлюбить его нужно было за что-то, и это было не так просто. Когда Петя просто любила Бориса, она не предполагала, как много всего она в нем любит, она не любила его отдельно за: внешность, акт, талант, все это отдельное она любила вместе как borisus. Но решив его разлюбить, нужно было разлюбить все по отдельности: отдельно лицо, отдельно искусство, отдельно — все. Когда она говорила себе, что не любит его лицо и не любит целовать его лицо, она еще больше начинала любить его искусство и готова была расцеловать Коломенский храм в коробке. Но когда она говорила себе, что она больше не любит его искусство, что все это уже было в искусстве, что она любит академическое искусство, тогда ей больше всего хотелось его любить, независимо от его искусства, и любить совсем не академически. В общем, Петя совсем не знала, как ей разлюбить Бориса. Иногда ей казалось, что это вообще невозможно, и тогда она начинала его ненавидеть за то, что она его так сильно любит. Любить — это было всего одно чувство, но разлюбить — это оказалась бездна чувств. В общем, разлюбить — было самое плохое чувство, хуже которого нет никакого чувства, хуже которого, может быть, есть только одно чувство — полное отсутствие всякого чувства.

И она стала хуже. В первый раз она стала хуже, когда оказалась у Дыла во второй раз. Дыра его ничуть не изменилась, только из флагилиц торчали чуть-чуть не елки, а чуть ли не палки. И парту Дыл толкнул в сторону, а так, те же занавески, и все то же, и там же. По дороге Дыл сказал Пете, что скоро у них с Костромой будет свой андрюша. — в новый год тебе Кострома рассказывал, не помнишь? То, что Дыл напомнил Пете про новый год, было преступлением с его стороны, но и с Петиной стороны было нехорошо тащиться сейчас в такую даль к Дылу, потому что это место и было местом преступления, потому что с ее стороны было преступлением не прийти домой в новый год.

— расскажи, — попросила Петя.

И Дыл стал охотно рассказывать, что андрюша развивается и

скоро уже вылупится из яйца, вот тогда они и будут счастливы.

Яйцо лежит в кучке навоза, курицу съели.

— ты убил?

— все неправильно получилось, — сказал Дыл, — мы с Костромой решили убить ее правильно, ну так, как положено.

— это как?

— как в книжке написано, пособие по убиению домашних животных, а дед нас опередил, там все написано: как правильно убить корову, как курицу, свинью, чтобы и им было не больно, и чтобы человеку было не больно на них смотреть.

— так ее дед убил?

— он так, чувствуется, ее зверски убил, что она проглотила язык, я даже думаю, что он ее пытал, чтобы она ему все сказала.

— что? — сказала Петя.

— ну, все, все, что знала. Знаешь, какая у нее кожа была, когда ее дедушка ощипал, Кострома сказал, как у мулатки, а дедушка сказал, что сварит суп.

— ты ее ел?

— съел немного.

— вкусная?

— не-а.

В конце рассказа они уже были в начале апреля, в течение которого Петя с Борисом не виделись ни разу, то есть не было ни одного раза, чтобы в апреле они увиделись хоть раз, поэтому апрель раз-два и прошел, и пришел май, и как только Петя пришла к Борису, она сразу же заметила новую работу, которую он сделал, но она не сразу спросила об этой работе, она сразу спросила:

— ты любишь меня?

— люблю, — сказал он.

— я тебя бесконечно люблю, — сказала Петя, — я тебя больше люблю, чем ты меня.

— я думал, что ты меня больше не любишь.

— я из всех людей больше всего люблю тебя.

— ты обманываешь меня.

— если я разлюблю тебя, я больше никого не полюблю.

и Борис сказал:

— полюбишь.

и она сказала:

— нет.

и он сказал:

— да.

и она сказала:

— нет.

и он сказал:

— о чем мы спорим!

- я изменила тебе,— сказала Петя.
- зачем?
- я сделала это нарочно.
- зачем.
- чтобы стать хуже.

Петя сказала, что когда все вокруг становятся хуже, и она должна стать хуже, а если все само собой станет лучше, и она станет лучше.

- самой собой не станет,— сказал Борис.
- ты же не мне тоже изменил,— сказала Петя.
- я же не нарочно,— сказал Борис.

И во время акта она стала допытываться, получил ли он наслаждение с Ездандуктой во время акта, «ты с ней делал то же самое, что и со мной?»; и тогда, чтобы она замолчала, чтобы она больше ни слова не сказала, он засунул ей в рот, и несмотря на то, что у нее был полный рот, она сказала: — я тебя люблю.

это было последнее, что он услышал, потому что когда он увидел, что ее нет в комнате, он услышал, как хлопнула дверь.

То, что Борис был Петиной любовью, и то, что Петя была его любовью — это было несомненно; она его любила — да, он ее любил — да. Но любовь не любила Петю и Бориса, то есть любовь их исторически не любила. Исторически не в смысле историй: романтической, сентиментальной, реалистической; исторически в смысле той истории, которой они были свидетелями, и как свидетели, они могли засвидетельствовать, что не слишком это историческое время было благоприятно для их любви. Конечно, теоретически можно сказать, что практически можно любить в любую историческую эпоху, ну они и любили в любую, это любовь их не любила, это любовь, исторически, была против Пети и Бориса, ведь накануне нового года Петя читала книжку, которая могла бы быть настольной, то есть быть у каждого на столе, и тогда не нужно было бы глотать ее за одну ночь; но этой книжки не было ни у каждого, ни у каждого второго, она была только у третьего лишнего, а ведь писатель, которого любила Петя, любил свою родину, от которой он был вдалеке, а родина любила своего писателя, от которого она была вдалеке? ведь и родина и писатель — оба русские, но писатель удалился от родины — по-русски, а родина удалилась от писателя — по-английски. И то, что любовь исторически не любила Петю и Бориса, было плохо; было плохо, что любовь любила их порнографически, а это как? а как типичских героев в типичских обстоятельствах, когда они занимались любовью.

И вдруг в сумерках — яйцо взорвалось, от внутреннего толчка при появлении андрюши в один момент скорлупа разлетелась в пыль. Вот это был толчок, вот это была скор-

лупа, скорлупа брызнула — и все! такого еще Кострома никогда не видел, а Дыл так и не увидел, и когда Кострома стал рассказывать, Дыл стал спрашивать.

— как пыль, — сказал Кострома.

— ты же сказал, как фонтан.

— брызнула, как фонтан, но в воздухе стояла стеклянная пыль, а потом, когда пыль рассеялась...

— жалко, меня не было.

— то есть, знаешь, так стекло бьется в машине при огромной скорости.

— при скорости света?

— почему при скорости света, даже при скорости 80 км в час.

— да! космическая скорость, — заулыбался Дыл.

— а ты не улыбайся, для наших автомобилей — это космическая скорость, и стекло как раз при ударе разлетается в пыль.

— обычное стекло?

— нет, не обычное, забыл, как называется.

— но скорлупа-то была не из стекла, стекло — это химия, а скорлупа сделана из органических веществ.

— откуда ты знаешь, из чего она сделана?

— знаю.

— ну из чего?

— из скорлупы.

— в том-то и дело. Похоже, что андюша ездил в яйце вот с такой бешеной скоростью.

— знаешь, на что это похоже? — спросил Дыл, — ты подумай, — и подумав, Дыл ответил: «ни на что это не похоже».

— похоже, что ни на что, — согласился Кострома.

— это даже невозможно представить, — сказал Дыл.

— представляешь, скорлупа — в пыль, а андюша — стоит.

— а потом?

— так вот ты мне все никак не даешь сказать, — сказал Кострома, — потом он куда-то делся, он вылутился и раз — и его нет, я его даже не рассмотрел.

— но он вертикальный? как человек?

— подумаешь, вертикальный, цыпленок тоже вертикальный, на двух ногах, он же не человек.

— но хоть внешне какой?

— не рассмотрел я, — сказал Кострома, — не успел, к тому же были сумерки, а в сумерках?..

То, что происходит в сумерках, говорит о том, что никакого цвета в природе нет, есть воображение солнечных лучей, физическая загадка глаза, смешение спектра в тумане, когда желтый кажется красноватым, а зеленый желтоватым, а что такое автодорожный знак — «сужение дороги»? он подразумевает сужение дороги в перспективе? не физически сужение дороги. И в сумерках предмет — неопреде-

ленный, то есть у него не совсем есть границы, то есть его контуры как бы пульсируют, он в сумерках оптически дышит, и вот не цвет и не форма, а это оптическое дыхание говорит о том, что предмет присутствует, и почти нет разницы между неодушевленным предметом и одушевленным или почти нет, потеряв цвет, стул теряет и вес, его ножки как-то утончаются, углы стола делаются мягкими. И Кострома посматривал в потолок в сумерки, которые застали его на час позже, лежащим на диване, потому что предыдущие были в апреле, а эти уже в мае. Он услышал, как где-то далеко говорит радио, и не только непонятно было, где оно говорит, но и что оно говорит. И он потянулся к звуку, и звук этот оказался прямо рядом с ним, хотя казалось, что радио говорит где-то далеко. Этот звук был прямо рядом с диваном, а Кострома искал этот звук на потолке, а он оказался — на полу, и когда Кострома перевел взгляд с потолка на пол, он увидел андюшу, который издавал как раз эти звуки, похожие на радио. Сходство было поразительным: казалось, что это какая-то далекая волна, которую к тому же глушат, и на каком языке говорят, невозможно уловить, но это явно человеческая речь, во всяком случае, похожая на человеческую. Кострома слушал, как андюша говорит, и смотрел на него. Его было достаточно плохо слышно и еще хуже видно, но все же Кострома увидел, что он как бы сложен пополам по линии носа: в профиль он был вполне человек, этот монстрик, но когда он поворачивался к нему прямо лицом, то представлял из себя размытую линию, и само понятие «прямо лицом» становилось каким-то размытым понятием; эта линия была без глаз, рта, ушей, без всего. И Кострома как молчал до его появления в комнате, так ни слова и не сказал, он даже Дылу на следующий день ничего не сказал, он хотел, чтобы Дыл сам все увидел и услышал, и сказал ему: «поехали ко мне», — «не слышу!» — сказал Дыл, и Кострома на это ничего не сказал.

5

Лето, такое короткое, как короткие зимние дни, началось и кончилось, пришло и ушло, встало и село, оно только блеснуло и закатилось, оно только-только, и только от него и осталось воспоминание о лете, о том, что было и прошло, взшло и погасло, и летний дождь, такой короткий, перешел в длинный осенний дождь, который начинается днем и успевает еще захватить длинные осенние вечера, и успевает даже замерзнуть к утру, и дождь стоит в воздухе, как снег, нет, не как, потому что это и есть самый настоящий снег, а не сравнение со снегом, потому что пришла самая настоящая зима, без всякого сравнения — для сравнения можно даже сказать,

что она морозней, белей и чище и лучше, нет, она, вне всякого сравнения, хуже прошлой зимы.

Петя все еще любила Бориса, но не видела его ровно столько, сколько и Борис не видел Петю. Она не видела Бориса, зато много о нем слышала от Ездандукты, от которой Борис тоже слышал о Пете, но ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать; и когда в конце зимы Петя услышала о нем от сестры еще раз в начале весны, она приехала к нему в тот же день.

Какое поверхностное сознание, какое? курить вредно, а умирать полезно, выдуваем из земли последнюю энергию, расщепляем атомы, чтобы все быстрее и быстрее, дальше и дальше, строим на гипсе такие ужасы, что будущему человечеству, которое будет вымирать, остался памятник на всю жизнь — ледяной столп с упрятанной в нем энергией — памятник с большой буквы — АЭС, построенный кем? ну кем? — нами. Для чего нужна вода? чтобы ее пить, нет, чтобы ее выпил памятник, а то, что останется, можно и попить, ничего не останется, ни нам, ни рыбкам, ни цветочкам, но зато вот он, человек будущего — голый, в наушниках с бомбой в руках, вооружается, чтобы разоружить противника, а кто его противник? — он сам; себя самого, куда он идет? он идет уже из будущего — в настоящее — к нам, и скоро мы встретимся — привет!

— привет,— сказала Петя Борису.

все-таки за год она многого достигла, убивая в себе любовь, осталась страсть, выкачивая любовь, накачивая страсть, как в стране, в которой мы живем, разделенной на шестнадцать колоний, именно колоний, потому что только из колоний можно так безжалостно качать: как из Байкала и Сибири, Прибалтики и Украины, — все, что присоединили, то и употребляем. Но из нас качают, как из одной гигантской колонии, состоящей из шестнадцати — из: нефть, зверь, вод, ад — все! — «я не хочу так жить! но тогда как?»

— что ты сказала?

— что?

Разве это природа больна вокруг? это человек болен вокруг себя самого, вокруг своего сердца, а кто здоров? — отчеты о жизни после того, как жизнь прошла. Ведь мы же разлагаемся! мы не только не любим, но и не слышим, не видим и не хотим на это смотреть, «я больше не хочу так жить».

— ты что-то сказала?

— что?

Борис написал и повесил новую работу, простую, как все гениальное, но не гениальную, как все простое. Картина была написана на магнитной железяке. Там в голубом пространстве, даже почти в белом была изображена дорожка, которая вилась почти в воздухе, и в самом неуязвимом месте дороги, почти на линии горизонта, Борис налепил островок

из кнопок, которые здорово блестели в лучах заходящего солнца, и на этой дороге были следы человечка, а его самого не было на картине, как будто он только что прошел по этой дороге и оставил свежие следы, и этот человечек как будто прошел и по кнопкам, и на линии горизонта, в самом углу картины, там, где кнопки кончались, остались следы, такие липкие, мокрые и кровавые, и часть кнопок, на которые он наступил, были в крови. Петя ничего не сказала Борису о своей любви, потому что любовь началась и кончилась, пришла и ушла, только — блеснула и погасла, она только-только, и только от нее и осталось воспоминание о любви, о том, что было и кончилось, пришло и ушло, и в этом воспоминании они оба были чище и лучше.

Петя походила, посмотрела и сказала:

- ты много работал и много сделал.
 - да, немного поработал, — сказал Борис.
 - а это правда, что ты хочешь жениться на Ездандукте? — спросила Петя.
 - она тебе это сказала? — спросил Борис.
 - я хочу, чтобы ты мне это сказал.
 - она — хороший человек, — сказал Борис.
 - ты ее любишь?
 - люблю как человека.
 - помнишь, я тебе сказала, что никогда больше не полюблю, никого, — сказал Петя.
- и Борис ответил:
- все равно полюбишь.
 - нет, — сказала Петя, — никогда, потому что я этого не хочу.
 - все равно когда-нибудь захочешь.
 - все равно мы потом умрем, — сказала Петя.
 - когда-нибудь умрем.

И в лучах настоящего заката, а не на картине, они оба были живые, а не нарисованные, и та любовь, которая исторически их не любила, была настоящая, а не игрушечная, и Петя с Борисом обнялись просто, а не сложно. Они просто обнялись на прощанье, которое было в момент свидания, которое было и прошло, блеснуло и погасло, и когда Петя ушла и прошла несколько шагов по бульвару, она вернулась с такой страстью, и они стали целоваться с Борисом, пока не стало темнеть, и потом уже, пока не стало светать. А на рассвете, полуживая от любви, Петя сказала полумертвому Борису:

- почему-то я думаю о войне, почему? ты думаешь, будет война?
- не думаю, стараюсь не думать.

И дворник стал расчищать снег над головой, как будто они были под землей, а ведь так и было, как будто он стал закапывать их, и Петя не сказала Борису, так и не сказала: «я те-

бя люблю», за всю ночь — ни разу, и он не сказал «и я тебя».

Мы не умерли, потому что все еще живы, или мы живы, потому что все еще не умерли?

Было очень много знакомых лиц, но кто именно это был, трудно было определить, как во сне. И этот собор, где стоял Кострома, где топтался народ, был залит таким прохладным светом, и кое-где на решетках был иней, и было грустно и много живых цветов, как на похоронах, и когда внесли носилки и понесли их над головами, все увидели на них сидящего человека, лицо которого было обезображено гримом, то есть часть его лица была в маске, неряшливо слепленной из картона, кусков ваты, кнопок, а живая кожа присыпана мелом. Его голова была совершенно не пропорциональна туловищу, как будто оно было от другой головы, или голова от другого туловища. И когда на носилках внесли это, пронесся такой шорох: «Ленил, Ленил», но голова совсем не была похожа совсем ни на какого Ленила: ни на монетах, ни на медалях, ни на плакатах, или Ленил на медалях совсем был не похож на этого Ленила. И потом погасили свет, и когда потом направили на голову поток света так, что эта голова отбрасывала на стену гигантскую тень, которая была вылитым профилем Ленила, все узнали Ленила. И носилки понесли по кругу вдоль стены, и люди стали кидать в воздух цветы, осыпая тень Ленила тенями цветов. Раздались звуки похоронного марша, но с блатным оттенком. Этот оттенок, то есть этот блатной эффект создавался за счет эффекта бьющихся тарелок, то есть когда партия тарелок прихлопывала партию трубы, то тарелки разбивались вдребезги на сто осколков. Эртт звон бьющейся посуды в похоронном марше разбудил Кострому, и когда его кто-то больно ущипнул за ляжку, потому что он был на похоронах в трусах, он проснулся от щипка, и на нем, действительно, были трусы.

За окном шел снег, и было утро, а всего минуту назад во сне была ночь. Кострома подумал о Пете, что у нее — много мужчин, что разные люди ему говорили, что видели ее одновременно в разных городах, с разными мужчинами. И Кострома подумал, какая она разная, Петя, а потом он подумал, что она всегда одна и та же, это мужчины — разные, а потом, что мужчины — одни и те же, а она разная. А потом он подумал, что это города — разные, а потом, что города — одни и те же, а потом он подумал так, как подумал сначала, только обо всем сразу — одновременно. И так ему захотелось пить, и так было лень вставать, что он глубоко вдохнул в себя воздух, который был свежий и холодный, как вода, и он подумал, что когда нам не хватает воды, она нам нужна, как воздух, а когда не хватает воздуха, он нам нужен, как вода, а когда не хватает хлеба, он нам нужен,

как воздух и вода, а без всего остального можно и обойтись, и он не обошелся без воды и пошел попить, а потом он уже пошел, пошел, пошел, и пришла весна, и снег стал — таять, а солнце — светить, птицы — летать, ветер — дуть, девушки — вать, и Ездандукта сказала Пете, что выходит летом за Бориса замуж.

6

Лето было в самом разгаре лета. В это лето никто никуда не уехал: ни к морю, ни вообще. Ходили под дождем, под зонтом от дождя, а не от солнца, и когда стало светать, так резко прорезались все предметы от солнца, и когда Ездандукта появилась утром в дверях и сказала: «сегодня», Петя знала, что значит это сегодня — власть переменилась... И хотя Борис все еще властвовал над Петей, переменилась государственная власть, и одна власть ушла, а другая пришла, и что ждать от нее? ведь каждая новая власть — это неосуществленная старая. А старая власть была в потемках любви, которой не удалось ничего. Так пусть будет новая жизнь! пусть она будет лучше, чище и богаче! пусть она будет! да здравствует король после смерти короля! а что это значит? это значит, что Ездандукта из сестры стала женой, а Борис из возлюбленного — стал мужем, а Петя из возлюбленной — стала сестрой, какая перемена! и произошло ускорение крови в венах, кровь так бьется, так плещет, как у птиц, неужели мы все скоро будем летать? хорошо бы мы все полетели, а не взлетели в воздух.

— сегодня? — спросила Петя Ездандукту, — ты мне вчера сказала, что завтра, — и как раз это уже сегодня. Это уже начало конца!

Не пришлось Пете долго искать Кострому и Дыла — они оба были на месте, и Петя, объявив им, что «сегодня», предприняла наступление на такси. Мир можно завоевать, но только на такси. Не самолеты, не танки — это не тот транспорт.

«Шоферы пятого таксомоторного парка, вы узнаете меня?» — «Да, да, да!» Мир можно завоевать только по счетчику, копейку за копейку, рубль за рубль, око за око, зуб за зуб!

Они пронеслись на такси и завоевали Европу, Италию и ту Америку, которая за горизонтом в газете, потому что газета — это и есть горизонт, за которым скрыто все, как за горизонтом.

Будьте счастливы, завоеванные народы, которым жизнь будет оплачена по счетчику, будьте здоровы!

— не сходи с ума, — сказал Кострома Пете, — зачем он тебе, Борис!

«Он мне для того, и я ему потому, и мы с ним затем, и если бы у нас...»

— не плачь, — сказал Кострома.

— неужели, — сказала Петя, — даже самая маленькая ошибка — это уже конец, и даже самая маленькая измена — это уже конец?

— выйдешь за другого, — сказал Кострома.

— никогда, — сказала Петя, — я никогда не полюблю.

— полюбишь, — сказал Кострома.

И такси летело, как птица, птица-тройка, куда же несешься ты? дай ответ!

И когда кончился бензин, и когда таксист сказал столько, сколько он сказал, весь завоеванный народ в упор не видел своих победителей, тех, кто их завоевал, окружив Москву по окружной дороге; они шли в магазин с тяжелыми сумками — из магазинов, с набитыми, и у них отламывались руки, они шли в лучах заката, с красными лучами на лице, и с желтыми, и с розовыми, с тем спектром лучей, который воспринимала их кожа, и они шли так, как почти так же они шли и вчера, не думая о перемене власти, а думая о будущем... о будущем воскресеньем... потому что власть переменялась мирным путем, по счетчику, платил тот, кто ехал, а кто не ехал, тот и не платил. Да здравствует мир!

И потянулась новая жизнь, как хорошо забытая старая, как тогда, когда Петя впервые осталась у Бориса, и в окне был целый мир звезд, она осталась теперь у него не как тогда — теперь без него после свадьбы сестры, и звезды светили как и тогда, только теперь Петя лежала под одеялом, как сестра своей замужней сестры, а Борис лежал с Ездандуктой, как муж Петинной сестры. Зато все сестры и братья в небе, женихи и невесты языческих предков были каждый в своем созвездии, и у созвездий не менялась жизнь. И в этом есть смысл, что звезды над головой все те же, а люди под звездами — уже другие. Так они и стали жить — Петя у Бориса, вместо Бориса, а Борис — у Ездандукты, вместо Пети. «А вдруг Ездандукта его любит, как меня, — подумала Петя, — а Борис ее — как я ее, а Борис меня как меня, а я его — как его?» И не прошло и месяца, как Петя убедилась, как ее любит Борис, как кого. Когда Петя увидела в дверях Бориса, когда она уже собиралась спать, он сказал, что пришел за цветными мелками, и стал выдвигать ящики, и не мог найти коробку. И Петя надела свитер и тоже стала искать мелки. Ничего они не нашли. Никаких мелков не было. Петя села на постель и стала пить молоко из пакета. — хочешь вина? — спросил Борис.

Он открыл бутылку, и она отпила из горлышка.

— принести стакан? — спросил Борис.

— принеси для себя.

И Петя пила из бутылки, а Борис из стакана. У нее не было

никакого сомнения в том, что за вином последует любовь. Они все еще любили друг друга, несмотря на то, что любовь их не любила, то есть они любили друг друга физически, не платонически, никогда, как Платон, никогда, как мужчина мужчину, как Сократ Сократа, и после того, как физически они устали от любви, Борис ушел и вернулся только через месяц, когда физически прошла осень, и уже кончилась зима, когда физически уже ничего не могло измениться в их любви, когда однажды на рассвете Петя вдруг проснулась от монотонно звучащего радио, которое говорило где-то за окном. И она открыла глаза и увидела, что перед ней стоит андрюша, о котором она раньше только слышала от Костромы, что он есть. Он стоял, и она слышала, что он говорит, и не могла понять, что. Как вдруг на чистейшем русском языке он сказал:

— давай ордена.

— что? — сказала Петя.

и он грубо повторил:

— давай ордена.

— какие ордена? — спросила Петя, хотя до нее мгновенно дошло — какие. Какие блестели тогда при луне, каких было половина у нее, половина — у Бориса.

— ордена? — сказала Петя.

Но андрюша так громко выстрелил ей в ухо словом «ордена», что, может, у нее лопнула барабанная перепонка, это был явно взрыв в ухе. И Петя принесла свитер, весь в орденах, и андрюша встряхнул свитер, и ордена, блеснув, попадали на пол с первыми лучами солнца, блеснувшими на орденах. Другую половину орденов, которая была у Бориса, андрюша взял, даже не потрудившись разбудить Бориса, он появился у его постели в Петиной комнате, где спал Борис, и слегка поиграв с Борисом легкой музыкой, он врезал ему в память сигналы точного времени, пропищав семь раз, отчего Борис вздрогнул во сне, и точно андрюши и не было.

Найдя Кострому спящим, андрюша подошел вплотную и разговорился:

— пойди и прикончи деда.

— нет, — сказал Кострома.

— он сволочь, — сказал андрюша.

— а я не сволочь, чтобы кончать сволочь.

— он кончал людей, — сказал андрюша, — прикончи его.

— тогда это будет бесконечно: мы начали кончать людей, и не можем кончить их кончать, надо кончить кончать людей.

— тогда я тебя прикончу, — сказал андрюша.

— кончай скорей.

И андрюша вколол ему в тело иголки орденов. Орденами он прикрепил его внутренности к коже. И бриллиантовой булавкой проколол ему сердце. Он потащил его к речке и пустил по течению. И Кострома поплыл. Он плыл в бензино-

вых кружках, которых было полно на воде. И когда кончились похороны Костромы, когда тело его уплыло вдаль и почти стихли крики людей, провожавших его тело, потому что был уже конец зимы, все его тело, уплывшее вдаль — было в дешевке: в значках, которые ржавеют: в октябрятских звездочках, комсомольских значках, значках ГТО, и в — прочем неблагородном металле — в конце марта.

Лариса Ванеева

АНТИГРЕХ

Повесть о 70-х

в то время я увлекалась языком, а вместо детектива Иона читала на английском «Эрос и цивилизацию», продираясь в научных дебрях специально, чтобы потом читать на языке философское, религиозное, а не щеголять где-нибудь двумя-тремя фразами. Купаясь в абстракциях и ощущая себя в общем-то на уровне, она жевала жвачку, которой, увы, был дефицит, и если кто-то ее жевал, то с внутренним достоинством, будто во рту правил «мерседесом», нет, это я жевала жвачку, нажевав себе американскую челюсть, я отстаивала свободу, изжевывая вино, в мою пору в жвачках был дефицит, а Иона появилась позже, поскольку годы идут и текст нуждается в исправлениях, соответствующих набегающему времени, но мне хочется вспомнить, как жвачку доставали для кегельбана в середине 70-х; избранный лошадиный круг, оглохнув от рока, вкушал толику западной жизни, разрешенной в качестве снисхождения или поощрения или просто недогляд сквозь пальцы: ладно, пусть немного как бы пожуют. Ох уж эта мне интеллигенция, — вздыхал бывалый майор в телесериале.

Из пещерных теней к ночи выбирались на поиски пропитания, в столовки не поспевая, шли в ресторан, наслаждаясь рюмочкой-другой, но обычно денег не густо: в комплексе у ВДНХ до полуночи вислась с первого этажа на второй очередь одиноко-читающих-газеты как в метро, похоже на раздачу бесплатного обеда в Нью-Йорке, что как-то приободряло.

Итак, Иона ощущала себя на уровне классическая традиция связывает Орфея с пробуждением гомосексуальности, он отвергает нормальный эрос не для аскезы, но для более глубокого наполнения, как Нарцисс он протестует против подавления. Ион же, и это его слова, более-менее почувствовал себя человеком, лишь когда перестал скитаться по чужим углам, стало быть, значительно позже.

Хипово в троллейбусе Ион протискивал Иону к стеклу, на остановках берег от холода, в такси придвигал, в кино тоже сугубо лично за что-нибудь держался в кино, и в водо-

паде волос распущенных она банально глупела, как в гроте горы волшебной.

Но и в холодном троллейбусе, также на зимней автобусной остановке, и в маленьком кинотеатре «Встреча», также на ветру к кассам «Иллюзиона», вязались плутоватые ночные людишки, присаживался на радиатор отопления горбун. — Пусть пойдет с нами — в углу пьет из бутылки, — с сожалением она прощалась с влюбленным горбуном, частью ее и толпы, мизинцем ее правой ноги. — Так я его ощущаю! — любовался бы, бедняга, на их любовь, как в кино.

Странные желания, но поскольку Ион ее, во-первых, спас (у кого-то с шестнадцатого этажа свесилась вниз посмотреть), а во-вторых, подобрал: — Тебе просто крупно со мной повезло, не бросилась бы, так под забором сейчас валялась точно, — то ничего странного в таких желаниях, знал, на что шел. В каком-то смысле идеальный партнер именно тот, который способен доставить массу неприятностей.

Лежа на спине (раесветный потолок), рисуя по ковру с прибитым оружием: два кинжала старинной чеканки, шпага зазеленевшая к концу острия, охотничье ружье, вдохновенно она врала, что не та, за кого он ее принимает, вообще не женщина, а человек.

Откуда тебе знать, кто я? — приподнималась она на локте. — Я сама не знаю, как ты можешь знать.

Меня тоже нет, — поддакивал он.

Вдвоем в кресле перед раскрытым балконом. Солнце, внизу морозный туман, ярко-утренние дома. Туман забирается языками, шершаво-влажными.

С узкого балкона Иона возвращалась к его горящим атласным губам, атласным от тысяч поцелуев: перепутаем счет, чтоб мы не знали, чтобы сглазить не мог нас злой завистник.

Нижние, земные облака растворяли город в невесомость. И Иона исчезала, нежностью изведясь, как русалка ласками, искудав с перелюба: вот бы сейчас и умереть.

И кинжал на стене. Он почти был согласен друзья-одноклассники торчали под рок. Влюбился — значит, тоже «торчит из-под нее». Торчать можно из-под чего угодно, даже из-под веника торч. К концу десятого торч ломовой — Иону ведет, как от скрежета по стеклу, но вот опять перешагивает она лужи по кирпичам в Сокольниках, сидит на скамейках, ждет в подъездах, пока мальчишки вмажут. И ей оголяют локоть, вгоняют иглу, в вену не попадут. Она вырывается. Катят куда-то на старой «Побед», человек семь, по полу перекачивается бутылка водки, и К. говорит, что он уже импотент. Он Иону в седьмом классе любил, но она ему отказала, и теперь от наркотиков он

импотент, хотя сейчас они целовались, но это — цветы запоздалые. Но он не жалеет — на бабу лезть, это не кондишен. Это значит кайф не понимать, не только задачки по математике, каналы у таких забиты, он из-под Ионы и без всех этих дел торчит и будет торчать вечно.

Вечный торч. А также словечко «поплыла» с ярко выраженным отрицанием. Если вдруг девчонка запьянеет у кого-то на коленях или в медленном танго вдруг закружится голова, тотчас найдется диагност со стороны оценить в лупу. Ай я-яй, киска, поплыла!

И на завтра обязательно всему классу.

Так, отчасти нелепо, блюли мальчишки целомудрие, навешивая комплексы.

Собрались на даче, шторами плотно закрыли окна, с участка не видно. Магнитофон посреди, сели вокруг, в случайном луче солнца плясала пыль с зимы. Сизые, маслянистые пласты дыма будоражили легкие. Передавали друг другу, как индейцы трубку мира. Иона в подвернутых джинсах, с мальчишеской стрижкой, проникалась всеобщим братством, растворяясь в дыму. Была еще Лелька крашенная, но это дело другое, как была, так и осталась, с Андрюшей потом пошла на веранду, только тут Иона и узнала, что они пара, а Иона с мальчишками по-братски вповалку на тюфяках, под ватными одеялами, кто-то на нее ногу ночью положил. Легкие раздувались как мех, в груди светло, туманно, и не трудно разглядеть сияющую фигуру, идущую с недосягаемо высокого потолка. Иона заглянула в его любящие глаза и — потеряла сознание.

Мама скажет: Иона была девочкой неиспорченной

это наша тайна, и я постараюсь ее не выдать, я не брошу тебя, хоть ты и Лиса, мы будем жить вместе, но прошу тебя, не компрометируй и меня, ты не должна показываться на людях в обликах Лисы, не должна засыпать ни с кем, кроме меня, я не ревную и не посягаю на твою свободу, но подумай, что скажут люди, а они обязательно скажут, представь, кто упустит такой случай, им обязательно воспользуются.

Ион обнимал вернувшуюся блудную:

Так где же ты была?

Гуляла.

Гуляла?

Да, гуляла в лесу. Это невыносимо, я была в лесу.

Что — невыносимо?

Сам знаешь, что.

Ну будет, будет, — грудная клетка его растворялась, собирая нежное существо. Краем глаза заметив головы в зеркале, он посторонился, сопоставив. — Стоп! С кем ты

была в лесу? То есть, как одна? Вот так одна гуляла? Ах, ты вообще ничего не боишься? А ты знаешь, кто ничего не боится? — Он примерился, куда бы незаметно сбросить тряпку, пыль стирал и теперь держал у нее за спиной.

На коленях его она расслаблялась, прижимаясь. Дикая. Рисует что-то в его бумагах. В отчуждении он видел, что и рисунок талантлив. — Дай-ка посмотреть, это ты, а это, наверное, я, да? Это я у тебя на черта похож? — Рисунок под рубрикой «Девушка и хуй», — сказала она. Талант вообще штука противная.

Я чуть не упала в небо, — с упреком пеняла она в порядке компенсации.

Ну, ну, — качал он ее на колене, осердясь.

От ее движений как бы сам рисуя, на миг он слился и опять, как ночью! успел зафиксировать, он словно бы он точно рукой в зеркало провалился, но успел выдернуть, сердце его забухало.

Ты и сейчас в небо падаешь?

Нет, — удивилась она.

Ты как себя чувствуешь?

Никак. Вообще не чувствую. Как капля в океане. Ничего не могу.

Брось ты свои... — начал было он.

Я уже бросила, — перебила она с болезненной гримасой.

Ну будет тебе, будет, не хандри.

Он спустил ее с колен, чтобы задернуть толстые гардины, и, заметив отражение в стекле, успокоился: большой, сильный, ее же изогнутая от рисовального усердия спина узка, как у подростка.

Низко подвешенный над столом светильник рисовал черты на стене. Им еще ничто неведомо, чистым линиям юности, — мы под защитой Дианиной, чистые девы и мальчики. Беглая улыбка над строкой устремляется как пузырек в нарзане, а ему бы пить упиваться; настороженно наблюдал он мимику, глаза обманут, рот — нет, та ли будет улыбка, что над книгой, когда о нем вспомнят.

То, что случается, прежде случается в нас самих. Книга захопнута, губы дергаются разлаженно, натянута, колко. Вспомнила...

Думаешь, что возраст что-то значит? — в нем пощипывает обида, такой гримасы он не ожидал. — Внутренне я абсолютно такой же, как ты, только в отличие от тебя себя осознаю. Сдерживаю порывы.

Может быть и такой, — дергаются ее губы, — да на десять лет хуже.

Бунт? Меня благодари, высвободил в тебе скрытые резервы. Мне-то это чревато.

Ох-ох-ох, — передразнивает она, — чревато...

оживленный молодой народ и каждый держит факел, и люд прибывает, сливается воедино.

Как в пасмурь с быстротою вдоха заслепит вдруг солнце, прорвавшееся сквозь низкую пелену облаков, отчего долю секунды кажется, что световая вспышка, война, так взрывом света смело с Ионы комплексы: заводные пластиковые начиненные порохом иглками стеклом дробленным игрушки. Но мало того, что с нее, и с Иона их сдуло, хотя думала, что их-то у него не было!, а тут разлетелись во все стороны, сгнули! Пораженный, приостановил Ион движение и — ринулся продолжать.

Мостом парящим, золотыми аркадами всплыла Иона. В ртах, замкнутых в поцелуе, язык его продолжался светящимся сегментом, ударяющим в ее праздничную долину: как в сказке про «Серебряное копытце» при каждом ударе вспыхивают россыпью драгоценности небывалой, невозможной красоты, что и чувствовать их не было бы сил, если бы с момента, как тело ее начало биться словно под током высокого напряжения самостоятельно, гибко, сильно и танцующе, не начала она быть как бы отдельно от происходящего, что позволяло осознать, как косо проплыла рама окна и просеялся в комнате бесплотный дождь, как отошла постель вниз, как в торжестве растворились их тела; и ни его, ни ее, нет таких на свете существ, Ионы и Иона, номинальны их имена, и нечего бояться, даже войны, ибо и так просквожено все до нитки радиацией, в бесплотность расплзается как материя, и нет ничего, нет ничего, нет ничего, нет ничего кроме любви.

Охапку раскрывающихся истин как с куста снимала Иона, вопрос за вопросом скопившийся прыгал с самолета и парашютом раскрывался. Ответ существовал заранее, от того, что существовал, Ионе плакать хотелось бы в свободном парении полета, если бы не ясно было, слезы — из самолетного бензобака капающее горючее, дырявят бензобак трассирующие пули восторга, и если рыдать, то далеко не улетишь.

Ясна стала земная инквизиция: в страдании сгорая, от боли высакиваешь из себя; замерзаешь на снегу и слышишь райские трубы; космическим кораблем в болевом шоке атмосферы, в плазме сопла-аутодафе замедленно отходит душа от шкурных интересов.

Любовь ступает поступью босой как по травам мягчайшим, так по снегу жутчайшему. Слово — что Иудин поцелуй. Публичное целование и предавание. Цена журналистского бескорыстия в том, что тридцать серебряников не получены. А не черни душу чернилами!

(Но и ничто не однозначно, как и это утверждение, истина парадоксальна.)

Рвется к любви высокой душа, чувствами, что антеннами,

блуждая за облаками, не замечая земли грешной, жди, в следующее мгновение подскользнешься и больно.

Вырвалась в идеал душа, оторвалась с ветром и улетела незначительной бумажкой

и если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем свои лучей

листка отрывного календаря, носимого по невспаханым полям, по-над вырубленным лесам. Накличет Эжен Потье гром великий, противореча нынешней миролюбивой политике, что вместе тоже есть абсурд и парадокс.

Как волосинка, как нитка с пальто, накручиваемая на палец, чтобы узнать начальную букву имени любимого, — чешуйка бронтозавра из коллекции дикувинок: современный образец любящей души-бумажки, раздраженно изучаемой на пути самости.

Нет, я сама! Всего сама хочу. То, что не сама — неинтересно. Как истинный труженик не выношу, когда стоят над душой. В момент творческий трансмутирую душу в предметы искусства, а вы подглядываете из-за плеча. Приятно бездельникам глядеть, как кто-то работает, они от этого сексуально возбуждаются, от акта сокровенного. А ну пошли вон!

Трудом добываются сверхспособности, реализуются мечты.

Иногда кажется, что можно всё. «Кажется» можно вычеркнуть — можно всё. «Можно» вычеркнем, — всё. Всё. И ничего

что же касается возлюбленного Иона, то он через минуту свалил на поддороге. Ринувшись в удадь, как привык, он вместо растворения и «умирания» вознесся на огненной дуге, сам дуга и есть, вознесся, полетел... и вырвался, выскочил, обезумев. Рухнул. Закутался в одеяло темное шерстяное без пододеяльника, которым они сверху накрывались в холода, закутался, чтобы только подальше, с головой зарылся и — к стенке, зуб на зуб не попадает, озноб пытается скрыть.

Ионушка! Под хламом перьев попискивало цыплячье. Ионушка? Жив?!

Жив Ион. Только что народился

минуя болтающуюся раму в окне, заканчивал звездное сеянье дождь; плоскости мебели из шторма на корабле обретали привычную устойчивость; задетая взрывной вол-

ной комната, помотавшись в космосе уличной лампой, нарастала другими квартирами-ячейками и заняла положенную ей площадь.

Перестав дрожать, но не найдя подходящих случаю слов, полуобернувшись Ион к безмолвно лежащей Ионе, так безмолвно вытянувшейся, что и не было ее, и стал то ли в утешение, то ли, чтобы занять себя машинальным движением, пока работает мозг, отыскивая нужные аргументы, поглаживать кончик ее безымянного пальца на мертво-запрокинутой на подушке руке.

Он поглаживал, а она молча, терпеливо, недвижно этому поглаживанию вникала. И вдруг вникла.

Неостывшее тело из сверхсолнечной яркости погасшее до раскаленной лавы, тяжелыми волнами бороздящей умерщвленные волей лабиринты, насторожилось. Броуновский хаос лавы замер: так разбитый лагерь ушам своим не верит, заслышав заветные звуки трубы: из-за гор, из-за дол идет подкрепление, из-за гор, из-за дол пальца безымянного, нет, не верит разбитый лагерь, не успеть к нему прийти на помощь, но уж разбираются доспехи, точатся клинки, выстраиваются бегом доблестные ряды с щитами, летят стрелы, пули жужжат, погромыхивают орудия, и принято на первый взгляд странное, но мудрое решение из окружения противника отступить и, сомкнувшись тесными рядами, выставив щиты, без потерь, соединиться с поющей трубами основной армией, взяв головокружительную безымянную высоту.

От поглаживаний его машинальных палец взбухал, ярчал, накалялся, от огромности терял контуры, раскаленная лава тела всего, покинув ночную долину и прочие сверхновые объекты, себе не веря, к нему подбиралась, и вот, еще немного, еще немного, думала Иона в пальце, еще чуть... я им и взорвусь!

Но из задумчивости очнувшись, Ион в поглаживании застыл и с осторожностью сапера палец свой от ее пальца отделил.

А как там узники... — сказал он шершавым хрипотом (хрип + шепот) и затаился

на рассветной улице Иона скомкалась — вот ее боль и удел, сбегать на улицу к пяти утра, перебравшись на пол, в темноте отыскивая немудреные свои вещи, в ванной заметив бледное, виноватое, растерянное от боли лицо, и в коридоре с ним неловко попрощаться, вышедшим, как маленький, нагишом, все еще надеясь, что остановит. Даже поцеловать-то ужаснулся, отечески тронув лоб и руку спрятав за спину; ожегся.

Расщелкивала дверные застёжки, скорее — там воздух,

там дождь, он охладит, воздух, он наполнит жизнью, словно она вне нас, в природе, мы только не замечаем, что жизнь наша в нас не содержится, и природа, она — спасет. Потерянный человек начинает чувствовать окружающее, чего до тоски своей не замечал, и хорошо если не как груз, дополнительно барабанивший по мозгу, а как многообразие и величие целой общей жизни, частицей которой он является (а может, даже не частицей, а всем и является? догадывается вдруг он и о бывших треволнениях, догадывается, с недавних его звоном погребушки, которым он был оглушен... в том-то и дело, что начинаем мы, по молодой жадной глупости своей, погребушкой забавляться, радуясь, что она нас забирает до потери пульса, а кончаем тем, что бежим, схватившись за голову от звона).

Иона, выйдя на городской асфальт, забрызганный темными пятнами, будто впервые увидела основательность зданий и лупящиеся их поверхности. Крошки. Окурки. Стеснилось ее сердце, и озиралась она на них, точно бедный Евгений из Петербурга, с той только разницей, что еще не бежала.

Бедный мой, бедный... Просунул голову в окно, а она ну его целовать, рыдать: бедный мой... то не одни узники бедные, он сам бедняк! Как стрелку часов попытался он перевести ее на узников, страдающих без секса, которым они так бессовестно занялись. Только что ведь проговорили об узниках вечер, и Иона налюбоваться не могла, скрестив ноги в постели и приподымаясь от невыразимости чувств, когда он преподносил очередной факт, ему известный, ее всплескивало, и не знала она, что делать, что же делать, что-то же сейчас же надо делать, но оставалась сидеть, любуясь на своего Иона, расхаживающего по комнате в большом возбуждении. Надо было что-то подписать, и договорились, что подпишут. Ион сначала не хотел ее впутывать, но раз уж она с ним, то все одно, лишняя подпись не повредит. Иона была согласна!

Ты отдаешь себе отчет, чем это тебе может обернуться? — хмуро оборачивался Ион. — Могут выгнать с работы. Исключить из университета. — Пусть! — радостно говорила Иона. Ион улыбался куда-то туда, кому-то, всеми зубами, и мягкая его улыбка удивительным образом становилась крокодильей. Показал зубки, показал! — думала Иона, гордясь им и восхищаясь.

И потом как стрелку часов попытался он перевести ее на узников. Как для русского интеллигента так забываться и уходить в свое забытье... — А как там узникам... То есть будь Иона настоящей, то поехала бы к политзаключенным предлагаться им по очереди, чтобы скрасить их быт, или уж по крайней мере не имела бы секса, или уж если иметь, то только так, для галочки, как отметить, как в

туалет сходить облежаться, от мысли об узниках не отвлекаясь и сострадав им всеми фибрами... ведь, отчасти, именно этими узниками ты еще здесь и жива, не будь их сопротивления, а? а? А она вон оно что — вместо галочки и ненависти к себе — комплексы разметала, телом нагим всплыла и мчится и исчезает в огненной любви-дуге в неизвестно какие пространства. И видите ли, нет ничего, нет ничего, нет ничего — кроме любви!

Для русского совестливого ителлигента, если общество несправедливо и он ничего не может поделать, гадко быть приватно счастливым, гадко любить, а не ненавидеть, — вот что выходило со слов Иона, но Иона, лежа безмолвно, отчетливо понимала, что он не прав. И что узники — узниками, совесть совестью, но то, что с ними — главное, и что он попросту выворачивается, испугавшись самого главного.

Причем конца-то, чувствовала Иона, конца-то в традиционном смысле, по-видимому, и не было бы, а было бы только начало, которому они так и не сподобились.

На коленях стояла бы она на простыне белой, сползшей с постели, вложив молитвенно лоб свой в ладонь его, и плакала от принадлежности части целому в ослепительном, ослепительном сиянии того второго солнца неземного, что залило их светом в темноте, невидимой Немезиды, что и карающая длань, и судья, и судьба. Слезы счастья не иссякали бы назавтра у Ионы, словно в плащ волшебный им окутанная, картошка бы чистила, рубашку его стирала, к чему, вообще-то говоря, не склонна.

Вот дрожат от нежности его руки, как мебель и картины убраны претензии-амбиции, чистый воздух гуляет по свободному помещению, — в эту энергию вступает она, не замечая ни границ тела, ни кожный покров, ни дыхания, ни испарения, и чем ближе к нему, тем больше нет никого. В головкружении входит она в его дом и исчезает.

Вот он держит ее на одной руке, и от доверия к мудрой его руке она исходит в него, истекает, подобно фигурам Дали, вся-вся истекает в него.

В щелях загона стриженные пятна тореро: бык на них бычится, дыбится, землю роет, холку гнет, с сивым брюхом он и хреном — нарисован Пикассо, — вот какова теперь их участь. Тряпка кумачовая, выцветший флаг, содранный с древка сельсовета, — символа раскулачивания, продрозверстки, культа личности и выжимания детских голодных слез, на него они набычились, им тореро обмотался вокруг пояса, тряпка выцвела, пылью пахнет, бык томится за воротами, а как выпустят, загородку сломают — полетит, сам не свой, зенки бешеные слепнут, кругом зрители, что ни мужик, то удостоверение в нагрудном кармане, причем, говорит, винтик, законы исполняю. Да какого же хрена

бычьего винтик, а думать за тебя будет кто? Никак-нет-с, не положено по штату... а быка того, добьем его.

Вот против чего взбунтовалась, если разобраться, — против совести!

Но стрелку часов не перевести. Часы были солнечными.

Еще и будильник тикал с тумбочки.

Ты Лиса, ты не человек, — наконец-то, прикинув, сказал Ион

боль душевная на нетерпимой своей стадии расправилась, и вместо нее пошло-пошло, как бесконечный вдох, как шарик надуваемый, из газовой первомайской установки, похожей на лоток «газводы», вентилем не перекрываемый, надуваемый шарик-счастье. Всем организмом на холодной пятичасовой утренней улице вспомнила Иона о торжествующей волне и восторжествовала вновь, и вместе с торжеством любви ее и зеленый бледный луч народился за бетонными сводами.

Над собой, над ним торжествовала Иона, понимая, что к любви имеют они отношение косвенное, повод, а не причина, но имеют, но она, любовь, есть! и как же ни от чего не зависит, как же в сравнении с ней мелки они, и это чудесно! иначе какая бы гигантская бессмыслица, если бы ничтожество их означало венец творения! Могучим поступательным ходом расправлялись легкие, светом вымещалась боль, так могуче, как красные колеса паровоза на дитя надвигаются, но пронесито мимо, а ликование мимо не пронеслось, Иону подломилось, она с ним не справилась и была выброшена в никуда: опять потрескавшийся асфальт с песчинками-гальками, облупленными от миллиметровой резкости зрения.

И снова та душевная боль, от которой погнало ее, перехлестнуло, свело с ума, она переходила рельсы, шла ровно, вышла к прудам отдышаться у травы, опять ослепла, от березки к березке перебираясь за стволы, на ощупь села и согнулась, но вскоре начала расправляться, пошла-пошла пошла волна: торжество ее и свет. Любовь в ней торжествовала, что она, любовь, есть. Иона не выдерживала ее пир. Поехала на мгновение в отсутствие. Пруд.

На закате Иона стояла у деревенского колодца и смотрела, как какой-то дед наливает ей воды. Этот дед и она — были одно, по тому, как наливал он ей молча воду, как не глядя подавал, видно было, что он тоже был с ней как одно, а еще толстые продавщицы в сельпо, куда зашла купить хлеба, пока шла от лотков танцующей (блядской, определила про себя Иона) походкой, уставились на нее, и, выйдя на воздух, Иона поняла, что и с животастыми этими двумя бабами она общее, прямо в несвежих их фартуках; пробежа-

ли, разгоняя велосипед, мальчишки-подростки — у Ионы поплыло сознание, на станционной платформе выпуклою линзою являлся перед ней товарняк, вагон за вагоном, и по окружности мимо нее текло, утекало пространство, и весь мир, наверное, сверзился, даже деревья, кусты; в траве в лесу у Ионы тело забилося, выгнулось мостиком, сгустела, отяжелела к закату инфракрасному разлитая по миру любовь, но чудо еще могло произойти.

Иона потом говорила себе: я вернулась только потому, что ожидала, что чудо повторится

зачем вообще эти крайности и безумства, эта дикая спонтанность примитивных людей, одержимых фанатизмом ощущений, — она чувствует щекой, как он пожимает плечом.

Это значит — приносить дары в храм, но не постригаться в монахи, — слабо упрекает она его в шею, шепотом на его плече. — Это не любовь, это фарисейство.

Это не любовь, а азиатчина какая-то, — спорит он. — Ты просто не женщина, а государство.

Они рассуждают, кто как «кончает». Впервые.

Славно проведя мелодию, завершив ее в унисон, как зрелые полноценные особи — в душном ресторане джазовый саксофон — они не должны гневить судьбу, они должны быть довольны, что им так повезло, их встреча в этом плане — крупная обоюдная удача. Не секрет, что для интимной жизни основа основ. Если она не притворяется, то им крупно, действительно, крупно повезло! Сколько разбитых судеб, сколько несчастных людей, которые и не подозревают о том! В постели они должны быть полностью свободны.

Ни воздуха, ни пространства, ни молний, ни озона, ни огня, ни сердца, ни красок, ни звезд в изнеможении сладостного белого крема, от которого пустеют зрачки, багровеют веки, который кто-то впрыскивает им в паховые лимфы как на-сла-жде-ние. Будто кто-то третий между ними, черный и лохматый, на-сле-дил. Такое наслаждение не стоит наслаждающегося. Она так это и говорит: на-сле-ди-ли. И оргазм — разве оргазм? Вообще, что значит оргазм, почему для этого нет настоящих, правильных слов? Что за переводы с иностранного... Слово «кончать» — вообще тошнеловка. Ну какой это оргазм! Высвобождение. Эя-ку-ляция — подчеркнуто выводит она буквы, и эта осведомленность, в ее-то лета, его бесит. Ты откуда знаешь это слово? Вижу, у тебя, деточка, порядочный опыт. Сколько у тебя их было? Сколько у тебя было до меня жеребцов, и со всеми ты так?

Нет-нет-нет, только с тобой, я потому и с тобой, что только с тобой.

А хоть одну молитву ты знаешь?

Я могу молиться о любви. Любовь рождается из молитвы.

В их отношениях намечается конфликт. В который раз Ион ласково пытается пригнуть ей голову, но теперь, после того ч у д а, Нойбертом ее не проймешь, выдирается кошкой из воды, с полной правотой и даже готова объясниться. Идеино подкована, шутит он. Он, конечно же, прав в своей самозабвенности, плоть — суть одно, но и Иона несомненно права в сопротивлении, становясь сутью лишь тогда, когда светится. Вот тогда, от святого постижения единого, можно в доказательство всё. Ибо губы твои, глаза твои и все остальное — абсолютно все одно, как у рубашки подол, рукава: без разницы же, чем обтереться?

Мало того, — поясняет Иона, — когда я вернулась, целуя тебя в щеку, знаешь, что я целовала? Ч т о целую в образе твоей щеки?

Ион ее сжал, не давая продолжить.

Или ты всегда так целуешь? — вырывалась Иона. — Неужели вы целуете так всегда? Мы-то, женщины, о том не подозреваем. Я ведь впервые поняла, что... мы целиком и полностью... ммм... свято, когда светится... как застынет — опохабится... то, что свято, то похабно? да? градус... алхимия.

Под сосной сидел Ион в зимнем лесу, как Мороз сидел в зимнем лесу, разъезженная, скользкая дорога, на нее вынесло Иону в пургу, и что-то Ион с ней страшное сделал, она тотчас забывает — что, но ужас остается, потом и ужас забывает, верить страху не хочет, это заглянуть в щель любимых глаз и узреть крокодила! Ах нет же, нет ничего, один свет и любовь! Не будет она думать, что ловушка, вот и не будет ее... Что же страшное он такое сделал — сердце располосовал, вывернул? быстро, многоопытно? она не успела опомниться, как уже все кончено, и лицо его, настезь распахнувшееся, опять любимое, дорогое, единственное. Только не знала теперь она, такой ли стала, как была раньше? И словно бы, что бы ни делала отныне, все было по его плану, только она думала, что это ее желание.

Сдвинувшись на край, тряслась Иона в свой черед, проснувшись во внезапной трезвости.

Что такое чудовищное по своей преступности сделал он с ней в зимнем лесу? Распотрошил и доволен остался?

Страх, должно быть, вызван эгоизмом. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в любви», — это она знает наизусть

нож всаживается в невинного барашка, судорога бьет его, не всегда нож сладок у любимого, хотя, иногда кажется, вот бы и умереть.

Или, может, он хочет в жертву ее принести, отвезти в лес, там разжечь костер? Вдруг огнепоклонник. Что она о нем знает. И можно ли так доверяться.

Ты Лиса, ты не человек,— объясняет он, что его мучит, наверно, он должен сказать... Он не говорит: вчера; он говорит — т о г д а произошло нечто странное, чего я действительно, ты права, испугался. Мне почудилось, что я держу в твоём облике лису, ты словно бы нарушила границы, захватила территорию и одновременно потеряла себя. Я ли держал тебя в облике Лисы или лису в облике тебя. Впрочем,— как бы бормочет он сам для себя,— все, кто надеется владеть фата-морганой, глупцы.

Но лисицы — это лжецы?

Стать подлинным мучительно, однако нам нет нужды притворяться друг перед другом при условии, что ты ни с кем, кроме меня, не будешь Лисой. Ты подумай хорошенько, все — не те, за кого себя выдают, правда, кое-кто забывается порой, но все же заметь, держат контроль, и это в их случае их — спасает

но день-два хмурой угнетенности, опять ей память отшибло! Картонные будто дома с краской, только что нанесенной. Спуски и подъемы. Верхний город, нижний. Волшебство распыскано по улицам будто дезодорант. Мирное соседство религий, их упорядоченность и терпимость. И вот незаметно как поймала себя на том, что опять идет радуется освещению, краскам и каштанам. Как с гуся вода! Прошла и агрессивность как аллергия на и х манную кашу, и то специальное н е подымание глаз, та обида и здоровая злость... Взгляды опять не оскорбляли, хотя могла теперь представить отчетливо, чем при случае обернутся. Могла теперь дерзко усмехнуться в глаза.

В который раз она опять заводит разговор...

И поначалу как бы сама настраивается, как бы заново переживает. Выбранный слушатель — жертва. Не знает, что приготовлен ушат. Она пробует интонацию: мрачная ли безысходность, горькое всезнание опыта или дерзостный цинизм? В любом случае она не такая, как они, она по ту сторону. Точно наигрывает одну и ту же мелодию, но каждый раз на другом инструменте. Чутко вслушивается в откликающийся звук, смотрит ясно и испытующе, или, напротив, уводит несчастно глаза, в них влага. И раз, и другой, и третий, так или иначе, как бы они ни притворялись, стремясь ужаснуться или посочувствовать (один даже отказался знать наперед, но она настаивала!), рано или

поздно, и в их глазах она видит одно. Тогда можно встать и уйти. Она торжествует, хотя опечалена крайне. Хочется опять умереть. Никто ее не поймет. Не понимают самого главного — это и ч т о. Все загораются, словно заговорены. Даже старухи. Старухи, те вообще через одну гомосексуальны. И она видит сон: в одной половине актового зала мужчины, в другой женщины. Полная конфронтация. Никто друг друга не понимает и больше не стремится понять.

Переобиделись. Переотчаялись. Переразочаровались.

Каждому теперь легче со своими: мужчинам с мужчинами, женщинам с женщинами. И всё от того, что в женщинах проснулось самосознание. Что, лучше бы, чтобы оно не просыпалось, разве? Такое вот противостояние.

Но Иона одного сумела себе выкликать — уж неизвестно, чем она его взяла, вплоть до набора социального. Нерешительно оставил дружные черные ряды, предатель. Тяжко Иона вздохнула. Тяжкий труд. Ну вот. Ведь и это не то. Что она ему даст? Именно что — соблазнила. Чудо-то, где оно? Сердце говорящее — где? Где истинное слово? А раз оно не получается — такая конфронтация совершенно верна. До тех пор.

Какой-то проклятый круг. Точно свечи в глазах. Глубокий туннель, в конце погребальная свеча. Желтое подыхание. Чем больше провоцируешь ужасов, тем зверей больше. Никого ужасы давно не пугают. Только дразнят.

В очередной раз она смотрит в глаза мстительно, изда-лека заводит... возможно, произошло не с ней...

в тусклом коммунальном коридоре центра столичного, решив передохнуть от стереогрохота, на висячем черном телефоне устраивали они Танькину судьбу, пока та подбирала с пола одежду гостей, рушащуюся с вешалки. Иона говорила в трубку, потом кто-то говорил в трубку, потом передавал трубку, и падали со смеху, как и красная Танька, орущая на всю коммуналку:

«Пошел он...! — тут одежды у нее рушились. — Нет, скажи ему, чтобы передал, пошел он...!»

«Ты не права, может быть, он хороший человек», — уговаривали Таньку.

«Танюш, ты явно не права, главное, чтобы человек был хороший».

Иона ходила по подиуму в новом пальто, сочиненном как силуэт у хоккеиста. Щупали плечи. Из чего они у тебя? Из поролонa. Еще бы гребень выстричь, выкраситься разноцветными перьями. К концу вечера, правда, разукрасились, Иона в том числе. Огромные синие губы, обведенные фло-мастером, вдоль носа фиолетовая линия, его заостряющая, помадой расчерчены веки и уши, волосы взбиты, старушка,

попавшаяся в тусклом коммунальном коридоре, охнув, прислонилась к стене. Иона растянула вампирский рот: «Не бойтесь», гулкий чужой голос. В маске утрачивается пол, свободно. Комната грохотала каблуками, как взбесившийся товарняк на железнодорожном перегоне. В соседней смежной бородачи на корточках рассуждали про экологию. На корточках Иона с ними немного посидела, произнесла пылкую речь, обменялась телефонами единства в движении, а потом пошла вытряхивать пальто из кучи.

Смыв краску в ванной, плюхнулась на чьи-то колени из-за подножки, которой ее подсекли и довольно больно: Мы будем сегодня любить друг друга?

Перехватили у входной двери. Нырнула под руки. Еще пара предложений от неизвестных в метро, и на автобус. Иона решила прогуляться бабьей осенью с блистающей лунной. Ждет, пишет, ждет. Ах, воздух какой, парной, пряный, вот в лес погулять его никогда не вытащишь. Да какая прогулка вдвоем... Нет, одиночество, только одиночество. Всё ведь испортит... Замечталась она, соизмеряя шаги и звездное небо, когда автомобиль ослепил, отчего на дороге, развернувшись в длину, метнулся ее силуэт. Вдоль шоссе лес, мотор подозрительно быстро заглох за спиной. Она оглянулась. Ускорила шаг. Сошла на тропу для пешеходов. За деревьями — забор детского сада, сторона глухая, но есть же калитка, ворота... Забиться в калитку, трясти, забор перемахнуть на стрессе. Иона застыла. Тихо, как тихо, куда делся автомобиль? В лес свернул, уехал? Нет там никакой дороги. Переступила... Безмолвные дома с позвонками освещенных подъездов... окно горит. По какому-то, непонятно какому опыту знала она, что кричать и биться в забор бесполезно. Нарочно не выйдут, согнувшись в три погибели, крикам внимая. Да и будить людей, когда на тебя еще не напали, тоже как-то... Обходным путем, через лес бежать к автомату позвонить, чтоб вышел встретить!

На цыпочках, беззвучно подошла она к толстому стволу, глянув на кусты — зарыться бы в листву палую... однако как разумом допустить ползать тут в листьях?

Должно быть, крался он вдоль шоссе по перелеску, потому что вышел тогда, когда она хотела уж от дерева отделиться, посчитав, что сигнал тревоги сработал в ней входную. Человек возник на шоссе, разъяренно озираясь, и, уже не скрываясь, загромыхал по асфальту. Мимо пробежал и остановился подсеченно, медленно, медленно ногу, как в вату, занес ногу и медленно в ее сторону развернул, медленно, сомнамбулой, себе не веря точно на то дерево пошел, за которым она стояла. Дерево в два обхвата. Ясень. Или вяз. Не могло быть видно ее. Медленно, медленно шел он, себе не веря. Чем-то иным были они для себя обнаружены, видимы. Декорациями из толстых стволов и за-

боров не заслонить. Иона всё не могла допустить поверить...

Он подошел и обнюхал ее.

Что вам надо, — сказала она трезво и разумно, — идите своей дорогой.

Обнюхал!

И отныне она доверять будет только инстинкту! На цыпочках, беззвучно шла она к дереву, чтобы зарыться за ним в листву, это был приказ, в листву, зарыться в листву, но она его не выполнила!

Потому теперь и маячил перед ней наряд ее смерти. Хотелось потрогать белеющую остроту лезвия, чтобы убедиться, что не игра — нож и смерть.

Повернись и не оглядывайся, — голова как у палача наглухо в капюшоне, молнию застегнул под крутой подбородок, — будешь оглядываться, придется тебя убить.

Белое перышко в пряной теплой ночи, они его как бы не замечали, чтобы не пропороть ее плоть, а ему не пойти в решетчатую нору, оба как бы балансировали, вслушиваясь в нечто.

Почти с отчаяньем он выкрикнул: — Нет, я всё равно это сделаю, молчи! — богоборец, нелепо обхватив ее сзади (по сценарию вызубренному нужно было прятать лицо), потащил, упирающуюся, в лес, отчего она категорически вцепилась в куст, увидев себя истыканной, истекающей темной кровью на темной траве — по цвету ночному единым, где-то рядом болото, вода и ручьи, от близости их можно быть и съеденной, если уж катиться по гамме вниз до последнего до и позора. (И жертва оказалась бы не менее виноватой!) — Лучше давай по-хорошему, он твердил. — Я там боюсь! — И, послушный, он повлек ее к фонарю, где всякий мог бы их обнаружить, проехав мимо. Там, под фонарем, не страшно. — Туда! — указала она

дорогой, передразнила она свой испытующий улыбчивый голос. — Скажи, есть ли разница в страсти твоей и того человека в капюшоне.

— Какого человека, милáя.

— Того, который встретил меня однажды ночью, когда я решила в той ночи погулять, прежде чем вернуться к тебе, изменившему. Обидно, что перед этим было блаженное прощенное настроение, я ни о чем не думала, ничего не боялась, только не хотела идти домой.

— Это существенно, дорогая.

— Ты полагаешь.

— Разумеется. Насчет дома — это существенно.

— Я вот спрашиваю, есть ли разница, но разница, конечно, есть. С тобой его не сравнить. Возможно, от моих

de profundis он стал импотентом или был таков, но в остальном... ты понимаешь, о чем говорю? Он даже был нежнее, чем ты иногда. Я говорю о самом процессе. О том, что у вас внутри. Кстати, на садо-мазо не отзываюсь, теперь проверено.

— И напрасно. Многое теряешь. Мир надо познать.

— Всё немеет, совершенно чужое тело, и мое, и его. Я только злюсь. Это гордыня?

— Злюсь и вижу, что земля пустынна, мы — два единственных на ней, одержимых похотью автомата, причем один, я, отдаться зову природы из-за гордыни не способен. То есть из-за гордыни ли, или из страха, или просто не терплю унижений... пустая-пустая земля и два автомата, и никого, и главное, и не хочется, чтобы кто-то помог. Не хочу я ни от кого помощи... Почему так, дорогой? Ни стыда, ни-че-го... И вот в этом ничего, чтобы было хоть что-то, надо было не бояться, надо было идти на нож. А я струсила... Как же, поджилки затряслись. Как же так, взять меня и изъять.

И я стала звать к Богу... Мужчину это потрясло, понимаешь, какой-то тут Господь вдруг объявился, он был просто ошарашен, сковался... так что Господь меня всё-таки спас, раз меня не убил. Правда, может, и не собирался...

— А после я поняла, что это Господь явился ко мне в образе ножа, Господь — смерть, а я оказалась не готова. Как я старательно его не замечала!

— Ах, боже мой, интеллигенция, ведь этим же больше всего она страдает! Неготовность. Проекция на всё. Вот так ее угрожающе используют, власти просто ненавидят, впрочем, кого они любят, они так же и рабочих своих, и крестьян... а мы все стараемся вид делать, что не замечаем ножа, увливаем, чтобы потерь было как можно меньше, умники научились еще извлекать наслаждение, ах, какой кайф, когда тебе... придавят любимую мозоль, а потом ты кому-то... Могу отдать должное жизни, могу понять, что у нее своя задача, иначе она сделается импотентской и не сможет продолжиться, но я-то тут при чем?

— Ты всегда была чутка только лишь по отношению к себе.

— Я сказала, что злилась. Я не злилась, я просто никак не могла до конца понять. Ведь это чудовищно. Это невозможно! Ведь он у меня и Бога изъял, от ужаса у меня мысль о Нем не затеплилась, не осветилась. А знаешь ли, когда по-настоящему испугалась. Знаешь ли, что мне еще всё было и занято... А испугалась-то я не тогда

как же мягко, ненавязчиво, ловко заскользила на ночной сцене, как запорхала изысканно-томно, как бабочка, незаметно уходя от ножа, какой прелестный, нежный, обиженный, но и капризный голосок: «Туда»... Нож как сговор, право сильного, и в какой-то момент он засомневался под ее вопли к его душе, но потом сказал: «нет, я всё равно это сделаю, молчи!» и зажал ей рот, а она не укусила, она вообще не сопротивлялась, кроме слов: «Господи, Господи, помилуй...» (сговор, право сильного, к которому уже давно привычка, его право, принятое безоговорочно, никакого возмущения или испуга, как можно было бы ожидать, она приняла его как данность, едва взглянув на белый язычок, который и показан был как-то наполовину, как бы показан, прижат к ее ребрам и тотчас прикрыт, хотя он продолжал держать его в левой руке — левша? как тотчас уразумев его силу, сосредоточилась она уже на одном его владельце, манипулируя его мышцами, нервами, и чувствами, и скользяще обходя всякое упоминание о ноже, как если бы его и не было, или как если бы он был непременно и всегда, а по-другому и быть не могло, если учесть, что реален был только нож, она же насухо всхлипывала, мимикрируя для его владельца, сразу сообразив, что лучше притвориться несчастной, что она тут ходит в ночи, потому что уже откуда-то изгнана и плачет, убивается, а вовсе не ищет приключений, а несчастна, несчастна, как он? «да оставьте вы меня, мне не до вас», даже пробормотала она бредово, «вы что, не видите, не понимаете?», притопнула она в отчаянии (но по какому-то иному, не его поводу): «Пусти!» Готова была она вылить на него всю обиду на всех мужчин, а он, еще один, ее уламывал... будто был у него еще шанс ее убедить... или добить окончательно, что одно и то же. И он ощутило было поехал, но встряхнул головой: «Нет, я всё равно это сделаю!», запрограммированный автомат, набитый болванской идеей: — Я еду, я красив, я еду, я красив, я всё могу... Механизм, обсыпанный индийским тальком. Это охота — нервы напряжены. Это наконец-то настоящая жизнь, как в кино. Ближний свет выхватывает фигуру на шоссе, тень от нее длинная едет по асфальту и придорожным кустам, прыгает назад, и я тоже — бросаю кар в лес, нож из кармана выскакивает от щелчка, — крадусь, это наконец-то настоящая жизнь как в кино! и хорошо, что достаточно темно, блеск ее сухих глаз он не видит, а то бы этот фильм был бы для него слишком сложен. Не по зубам интеллектуален.

Нет, и это не то... подумала под лживые всхлипывания, стоя в траве на коленях под фонарем, когда он там переломился в ней и запульсировал. Одна ее голая половина ждала-таки, что в нее всадят острие, хотя он и оглаживал там ее, добравшись, с лепечущей нежностью, которая рва-

лась из него, рука его пробралась под одеждой и заласкала ее грудь, и приостановившись и застонав, он поднял ее, чтобы поцеловать в шею непонятно вообще, кто как себя поведет. Приятельницы вели себя по-разному. Одна спряталась в строительную канаву, легла на глиняное чмокающее дно в пальто из светлого драпа, прижимая две сумки с продуктами, — голоса покружили в тумане, матерясь, и ушли. Другая обманула. Затеяли за ней гонку на автомобиле в четвертом часу утра. Охоту за ней затеяли среди высоток микрорайона. Она сына своего встречать с поезда шла. Из спортивного лагеря в Нальчике. Сын приехал с рюкзаком и сумкой самостоятельно, потому что мать его до утра в чужом холодном подъезде на самом верху время от времени нажимала кнопки звонков, когда внизу взвизгивал тот же автомобиль, и ни одна дверь не отворилась.

Непонятно, кто как себя поведет. Третья отлежалась с сотрясением мозга, стукнули в ее подъезде же, вырвалась. Четвертую в полумраке можно принять за мужчину, старые люди так определенно ошибаются, называя «молодым человеком», и конфузливо извиняются, заслышав голос. Полный конфуз от мира, где пол не различим. Ты заметила, какие в последнее время стали странные человеческие фигуры?

А пятую вообще-то говоря и полезно бы

когда не получилось сзади и стоя, да еще нож в левой руке, сказал: «Встань на коленочки» ...Иона не могла не усмехнуться.

Эта способность на всё — кажущаяся, в этом спасения нет. Спасение и мужчины и женщины в том, что женщина проклята — проклятие ее в вынужденности любить. Без сердца — мало что получишь. Без сердца — высвободишься, как вытряхнешься, удовольствие из низких. Стоя на коленях под фонарем, зацепившись взглядом за свет в мужнином окне («Да помоги же»... импотентски простонал он), Иона ему не встала, но упустить столь потрясающий случай, чтобы не пронаблюдать за собой, за действием и эффектом насилия, как там не отзовется ли необычно... и понемногу всё же к нему приладилась, так что получилось вполне «по-хорошему», как он твердил со своим ножом.

Измену бы Ион пережил, изнасилование нет. В изнасиловании виновата она сама. Что ей до бандюги, гораздо больше ее интересует, собственно, Ион. Она теперь не в силах понять, чем отличается похоть человека в капюшоне от страсти ее любимого

нет, нет, так нельзя, невозможно так... бежала Иона по улицам с ясным сознанием, пока адреналин поступал в кровь, и твердила: так нельзя... так нельзя, невозможно так, — но как бы отдельно от себя, и наконец собранно прекратила бег и всхлипывания — мимикрию, наедине с собой не требуемую, вдруг поняв настолько простую истину, что жаль, что ее не изнасиловали раньше...

Врожденной хитростью, отнюдь не героически, выкарабкалась она без особых потерь, благодаря удачной игре (составляющие: ум, образование, вся, так сказать, культура), без боли и оскорблений, даже с приобретением — опыт же. Но не все так хитры и изворотливы, не все, наивные души, прячутся за деревьями, слыша приказ зарыться в листву, когда еще и угрозы не видно, не всем честь и бесчестье не составляют различья, не все, словом, так далеко продвинулись, но жить должны, и жить, и продолжать жизнь, и вопрос тут один — ты за или против жизни

о мой любимый, о смысл, о счастье жизни моей, чем же секс твой, мой любимый, отличается от секса того человека в капюшоне? Да ничем!

И теперь готова я совсем жить без низа. Я готова стать рисованным сердечком, сужающимся к талии, где далее одно отражение в карточной воде, дама и кавалер, мой родной. Пусть только сердце мое любит тебя. Пусть никогда не вырастут у нас обезьяньи хвосты. Пусть дама и кавалер, два сердечка, сольются в одно и умчатся, разбрызгивая солнца. Пусть нас оплачут в расцвете лет! Пусть считают они, что любить так нельзя и следует отдавать должное природе. И не мучь и ты себя, мой любимый, не ложись на иглы, на гвозди, на ножи, не истекай жизнью, но дождись, чтобы сердце в тебе заговорило, а говорит оно светом и настоящими словами, которые рождает оно, а не уста. Ты же должен помнить, как всё это было! Ты же знаешь, что остальное — не то

качество слова, когда оно Слово

тело — паучок, раскачивающийся в эпицентре волн, дергаемый ими за нити, повязанный жесткой обусловленностью паутинных связей, шагу не ступить, чтобы где-то не отозвалось... Под арку рук нырнуть к выходу, но в этот тоннель она уже давно вошла. Ах, как всё ясно, как ясно, всё ясно, эта мораль, и гуманность, и нравственность — именно способ сохранения жизни, как деньги — материальных ценностей. Может быть, в силу высокого сознания, когда-нибудь и вправду отменят деньги за ненадобностью, и тогда, позже, не потребуется

и мораль... тогда, когда не нужны будут деньги, примерно тогда, не раньше... Вот зачем всё... это флажки... обносить зверя. И пока она бежит через поле, продолжая по инерции (как бы вдруг кто увидит, тот же насильник, если вновь подстерегает ее где-нибудь из-за куста), по инерции насухо всхлипывать, мимикрией выжимая из себя жалостность, пока она так бежит, всё ее супервуманство летит к чертям собачьим, так же, как и его — уж она-то его точно проняла непрерывающимся речитативом, подпортив кайф притворными всхлипываниями и непритворным недоуменным взыванием к небесной помощи и справедливости, что бумерангом обращались к его душе, так нельзя, невозможно так, против всех, против правил! — то понимает простую суть всякого блуда, всякой личной свободы и всякой гуманности. Что, если вы хотите жить, не хотите просто так умирать раньше срока, не хотите, чтобы были изнасилованы ваши дочь, жена, мать, не хотите, чтобы из очереди вас на мотоцикле увозили на колбасу... Если всего этого вы не хотите, ха, что ж, делайте, что хотите!

Господи-боже, да какие мы еще примитивные, ведь стоит только наступить ночи

боль это боль, Иона вся стала кожей... если так я боюсь, что же идти на риск... о, учена теперь... а зачем? Как приятно быстро по траве: деревья, небо, земля, скачут кадры... приятное кино, делай его приятным!, ясно же, что всё лажа, какая тут справедливость, нужно жить и жить, жить и жить, и горя не знать, плевать на всё, какая еще тут Совесткая власть, я, простите, и не знаю, с чем ее едят, это пусть она кого-нибудь другого кормит своими ложками, а я просто живу, ах, не Совесткая, а Советская? ну, вот видите, я даже не знаю, как она пишется, я вообще безграмотная, я читать не научилась, я вспомогательную школу прошла, и взятки с меня гладки, меня вот тут только что поставили на колени, а я встряхнулась и снова бегу и горя не знаю, лишь бы убежать побыстрее, подальше... как приятно просто жить... плевать мне, при какой я власти живу, я и не замечу, при какой

я маленький человек, зритель, интересное кино, да? все зрители, кто не дураки. Артисты пусть выпендриваются на сцене, а ты тихонько посмотришь этот спектакль, сообразишь, что к чему, и из зала удерешь, никто и не заметит, как... мудрая

просто быть крайне осторожной. Нет-нет, во-первых, всегда надо быть крайне осторожной, словно адреналин постоянно присутствует в крови, пусть хорошими дозами вырабатывают его надпочечники: голова супер-ясна, тело подобрано каждой жилкой, готово к отпору или прыжку в кусты — это смотря как по обстоятельствам. Кто это бежит так сильно и ловко — это крадущееся животное! А во-вторых, зачем же нам ясность ума, как не для того, чтобы хитрить, петлять, обманно уметь сказать то, что и так известно («И родственному хочу вас предупредить, — говорит племянник, полковник КГБ, — не выступайте, с разговорами этими помолчите»), ловко и обманно строить плутни себе и другим на пользу, знать законы, выучить кодекс, нашпиговаться цитатами мар-лена, не скрываться, мстить без угроз, не метать бисер перед свиньями, откусить свой тщеславный язык и молчать, молчать, говорить лишь по необходимости, тщательно взвешивая

прыг с дороги, прыг в кусты. Какая прыгучесть

она чувствует себя человеком, у которого нет никого, и тот, в капюшоне, ей родня. Возможно, и его отравила та ночь. Это даже и неизвестно что, она знает, что встретит его, будет обиденно, но это даже и неизвестно — что теперь связывает с ним. То, отчего он пробежал, потом остановился, развернулся, пошел на нее, не видя? Перезабыв всё, что дало ей в ту ночь собранность сознания, сведения о добре и зле, она опять готова погрузиться туда же. В метро, в толпе, в сумерках вдруг кто-то склоняется: «Добрый вечер», она мерзнет от страха, она всё время будет искать его в толпе, крикнет ему в спину: «Подлец!», ей невообразимо жаль его и себя, она крикнет ему: «Убивать таких надо!», «А от таких, как ты, бежать надо подальше!» — скажет он.

Тетка сказала: зарефлексовалась вдрызг, не ты первая, не ты последняя. Трудно отличить: изнасиловали — не изнасиловали, в принципе всё насилие, потому что любви нет. С другой стороны, почему не учитываешь требования природы. Если уж на то пошло, почему считаешь, что ты ее, природы, лучше. Конечно, если так цинично к ней относиться, немудрено чувствовать себя выпотрошенной. Но по совести если признаться, в такую парную ночь, когда и птицы и звери сходят с ума, если бы не разум, не светящееся окно... ну не знаю, я бы отдалась бы не глядя! Ты просто не сумела стать выше условностей, детка. Отомстила ему страхом. Так это не ему ты отомстила, а себе. Тебя страшит собственная плоть, ленивая ты детка. И еще

разберись, кто из вас лучше, скотина ли, что мирно пастись на травке, или ты, столь эту скотину ненавидящая — спрашивается, за что? За то, что не везет тебя послушно туда, куда ты ее запрягла? Ку-да вот только путь направляешь с вынужденными остановками? На какую-такую благодетельность? Все вы сейчас — молодые прагматики, — с презрением высказалась тетка

меня не интересует ваша похоть, меня не интересует ваша похоть, твердила Иона первые дни, видя толпу с обостренной ясностью: кто на что способен. Лишь немногие, тяпы, что-то в себе потерявшие, словно воздушный шар тянет их за собой на ниточке, а они ему послушны, им влекомы, не были на насилие способны. Милые очкарики культурных наслоений, милые маменькины сыночки... похоть в них присутствовала, как у всех, но настолько уж стерлась под слоем книг... у других, и особенно мужиков, идущих под старость, твердых, как чемоданы... прорабы, или кто там еще, презренная похоть проступала как гной с дизельным запахом хамсы, с тупой деревянной мордой могли они своротить любую девочку-дурочку, крашеную куколку, леденцовую карамельку, пригоршню рассыпанную из железной круглой коробки «монпансье», не ведающую, с чем заигрывает, чему наряжается... своротить прямо в психушку, куда же еще.

Третьи... да... ну да... как вдруг Ион захлебнулся, и кровь его брызнула, окропив лицо: пусть две недели, пусть, но ты со мной, пей, выпей мою кровь.

Ты так хочешь? приостановившись, испугалась Иона. Нет, я так не могу, не хочу.

Пей же, с тоской попросил он.

Нет, не буду пить твою кровь, Иона заплакала от утраты. Но неужели никак нельзя по-другому, а только кровь и только пить ее друг у друга, солоненькую... родственники... ко всему можно привыкнуть, и не так уж и противно, даже не противно вовсе, но неужели обязательно кончается тем, что кто-то к кому-то присосется: она ему себя не дала, так теперь он предлагается. Нет, я так не могу, не хочу, не вампир, хотя и могла бы, и даже, если не идти до конца, на полпути довольствуясь, имея то, что имеется, могла бы испить, если бы не ощущала себя всю, не искала то, что мне... нет, она и сейчас не знает, что, но зато хорошо ощущает, что и это не то, и это не то...

За остроту зрения случай вознаграждает. Многие похожи, но она сталкивается в кассе кинотеатра. Вот он, убийца-дилетант, она вздрагивает, налетев лоб в лоб. Он с девушкой, которая не подозревает. Знание и неведение написаны на паре, как и то, что он насильник; у нее мгновенно за-

болевает голова. Вполне вероятно, что не тот, просто похож и способен, но то, что внутри и этот — урод, ясно до отвращения. Был на курсе такой парень, всё руки друзьям заламывал, служил в соответствующем ведомстве с погонами

Лисица...

Она опять ткнулась ему в шею. Он обнял растерянно, светло:

Родная моя...

Толчок ненависти пришелся в сонную артерию. Как я тебе отомщу. Оба захлебнулись судорожными губами

зима пройдет, и весна промелькнет, и если никогда не встретимся с тобой, то все же любить я буду тебя, о миль мой.

Небольшой туннель завершался щелью с мягкими сталактитами, слишком узкой, чтобы попытаться пролезть, но соблазнам заглянуть в светящийся мир был велик: Иона протиснулась, отважно ринувшись головой, подтянулась, пролезла, протиснулась, вывалилась.

Бабушка, бабушка, дорогая моя!

У меня четыре страстишки, оживленно сказала бабушка и залилась краской, ничего не могу с собой поделаться, иногда, например, есть хочется...

Рядом с бабушкой шел его сиятельство, граф, путешественник.

Без конца странствует, тихо обронила бабушка с осуждением мягким и необидным.

Мир был полон солнца, благозвучий, и пожалуй... да, пожалуй что счастья. Какой прекрасный у вас здесь мир! Полуобнаженные и прекрасные стояли в саду беломраморные статуи с живыми головами. Их сиятельство, одержимый путешественник одну из говорящих полуживых статуй перевернул, продемонстрировав каменную ее неподвижность, и вновь поставил на пьедестал.

Сад любящих. Влюбленные могут здесь наслаждаться присутствием друг друга вечно. Увы, — пояснил он.

Что ж — таково наказание за любовь?

За страсть-с, пошутил граф. Человеческие страсти сему миру чужды примерно так, как вам, сударыня, озабоченность вашего пса, рыщущего по дачному участку в поисках крыс.

Их сиятельство, расцеловав руку бабушке, ринулся в очередное путешествие. Бабушка покачала ему вслед седой головой.

Какие же другие твои страстишки, бабушка?

Покраснев еще гуще, бабушка отказала:

Не скажу

ах ах ах ах еще один упавший вниз ах ах ах ах ах

провода были такого высокого напряжения, что уже возле начинало трясти. Да и были ли они проводами? Или то было только одно высокое напряжение, имеющее форму связанных идей?

Иону замагнитило, зацепило, поволокло как к проводу на дачном участке, упавшему на землю. Руки ее прилипли, обессиленную оттащили, отнимая у нее провода голыми руками! Тем, кто ей помогал, было хоть бы хны!

Вам, по-видимому, еще рано, — мягко уговаривали ее. — Вы еще не готовы...

Иона очнулась в огненной лихорадке.

Идеи были просты:

Первая: одностороннее разоружение.

Вторая: экологический подъем.

Третья: изучение человека, «институт человека».

Три совершенно простенькие, заставлявшие трястись как под током высокого напряжения.

Обнародовать их было опасно. Особенно первую. Да и вторые две тоже — ...скажут: безумная

безумная! — вздохнул Ион. Украдкой разглядывала его Иона в перспективе вечного счастья в саду влюбленных. Милый, я согласна быть с тобой земную вечность, благо она не велика, но наслаждаться твоим обществом еще и там! Ну не-е-ет. Это «не-ет» проблеялось в ней с испугом. На темно-синем чернильном пледе они на полу сидели в темноте и водку пили. Иона подливала себе. Ион себе. Из крохотных серебряных рюмок кавказских умельцев.

Водка кончилась.

И долго, видно, так просидела она, покачиваясь, будто заснув с открытыми глазами, в его сторону оборотясь в оцепенении, потому что стала пропадать — немного как в невесомость, будто в неслышный звоночек, когда отворяется провал. Ни о чем не думала Иона, только смотрела, Ион будто спал, потому что не шевелился, смотрела, смотрела, вдруг увидела: Ион состоит из частей. Как у кубистов распался на составные, осел, превратился в груды камней. Потом соединился, как склеился. Но и собранным видела она теперь его как груды камней, что привело ее в сильнейшее волнение. Каково, если вдруг Ион ваш не что иное, как груды камней! Волнение, что любимый из камней, осталось и тогда, когда задвигались, заговорили, на темно-чернильном пледе горькая жалость слышна была к тому странству, что меж камней, никак не к камням самим!

Боль из-за отсутствия любимого. Закрыв плачущие веки, ощутила она отсутствие и в себе, которой не о чем было плакать. Потом тело забилося, в немой крик его хотели выброситься мука и ложь прошлых дней, — раз уж всё равно, как видит ее гряда камней.

Вот это да-а... — восхищение Иона было несколько вымученно. — Прожить столько бок о бок и настолько друг друга не знать!

Ты же любишь, чтобы красиво.

Это больше чем красиво.

Это от отчаянья — больше чем красиво, это не страсть.

Ты страстная женщина, очень страстная, не верила мне, а между тем, вспомни, всегда тебе говорил.

Красивой слыла да ненужной была?

И оказался прав, но ты не хотела, не могла раскрыться до конца.

А ты считаешь, что сейчас раскрылась до конца? — не без издевки засмеялась она. — А если это только начало? Ты не думаешь, что что-то потеряно...

Ну-ну, — прервал он ободряюще, — сколько ты мне еще сюрпризов готовишь...

Но это же не то! Раньше, помнишь, было похоже в самом начале, но только совсем другое!

Ты взрослеешь, становишься зрелой женщиной.

Это не зрелость, это... я тебя больше сердцем не люблю.

Ты у меня спрашиваешь?

Ты-то хоть любил меня когда-нибудь сердцем? Хоть одну минуту, хоть один миг меня любил? У тебя сердце когда-нибудь горело, как сильный источник света?!

Бред всё это. Не верю.

Но ты, ты, словесник профессиональный, ты понимаешь, что слово — если оно слово, оно не произносится, не артикулируется!

Приснилось тебе.

Приснилось?!

Ты дуреха, которая никак не может понять, что то, что нам дано, для многих людей недоступно, это мечта, они приблизительно ничего похожего не знают.

Это что же... раз-два... хорошенько потрясла головой, и осчастливила

покачиваясь, она шла от него, ощущая себя незнакомой, незнакомой, так странно, как если бы идти бесконечными радиоактивными катакомбами и выйти к прозрачным геометрическим фигурам, сама такая же прозрачная-негеометрическая.

Идти, ни стен, ни мебели, руки проваливаются. И на что эта неометрия способна? Известно мало. Кое-что уже

известно, например, что изымаются живые куски. Уменьшенная, без кожи, без всего, что внутри. Плохая или хорошая — тоже схема. Всё одно, что быть плохим змеем или быть хорошим змеем — хорошая змеюга, никого не укусит, яд выпускает только в пробирку.

И это характерное, характерное стремление выжить во что бы то ни стало... Требуемое состояние бесстрашия можно тренировать в конфронтации к властям. Как быстро начинаешь быть хитрой! Стоит пятки приречь, как откуда что берется! Стоит змеюге тяпнуть, как потрясает реакция и скорость!

Покачиваясь над умывальником в ванной, она склонялась, выплевывая теперь всё из себя, что мешало раньше, но что, собственно, и было жизнью. Покачиваясь, слабея от рвоты, скользила пальцами по краю мокрому, хватаясь, чтобы не упасть. Похоже, раскрыли книгу, а из нее буквы просыпались как из типографской кассы. Чистые страницы не прочесть, раз не успела запомнить, но как же больно нет, жить с тобой невыносимо, за три года месяцев пять наберется нормальных, остальное — ад! Правда, надо отдать должное, пять месяцев были по-настоящему счастливыми.

Ад — рай, ад — рай, маятник качается.

Но теперь я убедился окончательно — жить с рехнутой такой бабой — выше человеческих возможностей. Боже мой, за столько лет несколько месяцев я был счастлив...

А я — часом. Точнее, минут. Три. Две. Через минуту ты испугался и свалил

однажды заночевали у кого-то на квартире. Литературный салон, вино и стихи. Бурно на рояле исполнял собственное сочинение Гурий К. Был гвоздем программы. Он принципиально не знал нотной грамоты, сочинения не записывал. Каждый раз одно вдохновение. Только так и можно жить! Инспирация. Считалось: техника потрясающая.

Музыка Гурия К. вместе с грохотом разбушевавшегося товарняка за стеной — танцами честной подвыпившей компании — и были... Нет, еще полугодовалый ребенок был. Он обнаружился у Гурия К. ночью, когда Гурий занимался любовью на кухне, а хозяйка квартиры услышала мяуканье на балконе. Подергав балконную дверь из гостиной, потому что на зиму дверь заклеивали, свободный выход был из кухни, где в этот момент трахался Гурий, она раздрала пересохшую бумажную ленту. Из щелей вывалились желтые поролонки. На голые ее ноги задул снежный холод. Мяуканье обернулось надрывным младенческим плачем. Хозяйка бросилась искать, вырыла из снега запеленутого в одеяльце, мокрого сына Гурия К.

С позором Гурий К. и его гурия (м. б., тогда ею уже была Иона, или с Гурием она стала ходить значительно позже, но время бежит, и кто теперь знает, кто чьим был тогда дополнением) были выгнаны из дома. Ребенка им бросили на руки!

Так вот, музыка Гурия К. Грохот каблуков. Ребенок, который мешал. Вот так и явились олицетворением 70-х, когда я переводила Маркузе, в каждой строчке упиваясь откровениями, усугубленными тяжестью перевода





Все роли исполняют
амазонки

НИНА САДУР: «Родилась в Новосибирске в 1950 г. Отец — профессиональный поэт, мама — учительница. В 1983 г. окончила Литинститут в семинаре Р. С. Розова и И. Л. Вишневской. Своими литературными учителями считаю В. С. Розова и безвременно ушедшего Женю Харитонову, двух разных писателей; общее между ними то, что ни один из них ни разу не солгал в письме. Живу в Москве с мамой и дочкой. Пишу пьесы, рассказы, повести. Года два-три пьесы пробуют ставить театры».

Нина Садур

КРАСНЫЙ ПАРАДИЗ

Пьеса в I акте

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ТАИСА
ВОЛОДЯ
ТОЛЯ
ХОЗЯИН ОСЛА

Действие происходит в городе Судаке и в Генуэзской крепости Солдайя.

ТАИСА (*поет*).

Летит эскадрилья сдалека,
Под нею раскинулась мгла,
Но волны взмахнулись высоко,
И тайну пучина взяла.
Все тихо на море на синем,
Но летчиков нет и машин.
В воде уже краска бензина
И в небе безумная синь.
Искали их долго, упорно,
Но нету нигде их, нигде.
Сокрытая тайна молчала,
Молчит и сейчас и везде.

ВОЛОДЯ. Ты заткнешься или нет?

ТАИСА. Нет! (*Поет.*) Я земля и своих провожаю питомцев: сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей!

ВОЛОДЯ. Я тебе сейчас зубы повырываю, ты забудешь хрюкать!

ТАИСА. Тихо! (*Поет.*) Лаванда. Гордая лаванда. наших, наших встреч сильная любовь!

ВОЛОДЯ. Сволочь! Такую песню споганила.

Таиса плачет.

Теперь заняла.

ТАИСА. Не нравятся мне ваши песни.

ВОЛОДЯ. Не пой.

ТАИСА. Буду я петь.

ВОЛОДЯ. Иди отсюда! Сейчас собаки прибегут, тебе рожу оторвут.

ТАИСА (*поет*). Сейчас собаки прибегут, тебе рожу оторвут. Опять не песня. Ни одной нету песни у вас.

ВОЛОДЯ. Сейчас я тебе голову сломаю. Ты поближе подойди, а то мне вставать жарко.

ТАИСА. Видели, видели? На Коммунальной домик сломали. Они пришли с печатью, написали, домик — бух-бух, весь разбили. Все голосовали, ура. Стали топтать — о, вот так вот — бух-бух, весь поломали. Он как задрожит и упал. Все голосуют: ура! ура! Камушки раскатились, камушки красненькие, из них кровка закапала. Да. Домик плакал, плакал, бабушка на него как дунет. А он весь упал, все хлопают. Ура! Флаг поставили. А та бабушка дунула на базар, под досточкой схоронилась. Теперь пальчики продает, два пятьдесят килограмм.

ВОЛОДЯ. Вставать неохота, я б тебе глаз выдавил.

ТАИСА. Запрещается! Запрещается! Запрещается! Штраф три рубля!

ВОЛОДЯ. Я заплачу за удовольствие.

ТАИСА. Да! Да! Внимание! В нашем городе повышенная пожароопасность — ж-ж-ж!

ВОЛОДЯ. Вертолет, что ли.

ТАИСА. Летает! Сам в небе стоит и не падает! Железный! Ж-ж-ж! Строго запрещается!

ВОЛОДЯ. Нет, я все же разозлюсь, встану и губу тебе порву.

Входит Толя.

Толян, подгони ее сюда, я ее задушу.

ТОЛЯ (*Таисе*). Ты знаешь, как котики умирают? Они уходят, и никто не видит, как они умирают. Слоники так умирают, собачки, мышки.

ВОЛОДЯ. Пусть лучше скажет, где дыньку взяла. Где ты дыньку взяла? Сперла?

ТАИСА. Руки вверх!

ТОЛЯ. Это она помнит, как ты на нее наезжал. Тогда, помнишь, гонялись за ней на грузовике? Адка еще была.

ВОЛОДЯ. Ха-ха-ха! Жалко не придавил. А что, за дуру ведь ничо не будет? Или будет? Как ты думаешь?

ТОЛЯ. Будет.

ВОЛОДЯ. Жалко. Меня от нее тошнит. Я как ее увижу, у меня настроение падает.

ТАИСА. Внимание! Молодой человек, угостите папиросочкой!

ВОЛОДЯ. Я сейчас тебя угощу вилами по зубам.

ТАИСА. Нельзя!

ТОЛЯ (*Tause*). Таиска, иди отсюда, иди, видишь, Вова сердится. Побьет, плакать будешь.

Проходит Хозяин осла с мешком.

ВОЛОДЯ. О, о, потопал. Морда ящиком, а сам миллионер. Толян, сколько у нас в Судакe миллионеров?

ТОЛЯ. Семеро.

ВОЛОДЯ. Ну прям там, откуда семеро?

ТОЛЯ. Посчитай. В Уютном трое и в Дачном четыре. Еще богатый сторож кладбища.

ВОЛОДЯ. У него нет миллиона.

ТОЛЯ. Миллиона нету, потому что он новенький. Но у него матрац весь деньгами набитый. Помнишь, наводнение было?

Он один матрац спасал. Чуть не захлебнулся, а матрац вынес.

ВОЛОДЯ. Ага, помню, еще гробы тогда всплыли, а этот с матрасом плавал. Молодец.

ТАИСА. Ой, убегай, убегай.

ВОЛОДЯ. А куда этот козел пошлепал?

ТОЛЯ (*Tause*). Иди, иди на автостанцию, там папироски дают. (*Володе*.) Ты видал, какой у него мешок?

ВОЛОДЯ. Че, на базар?

ТОЛЯ. Не думаю. Мешок гладенький, а если б персики — он бы бугорками был.

ВОЛОДЯ. Ну так чего тогда?

ТОЛЯ. Давай лучше посчитаем, сколько у него денег. Он фотографирует отдыхающих с ослом — пять рублей снимок. Да молоко продает от коз...

ВОЛОДЯ. Оно же вонючее.

ТОЛЯ. А тебе не все равно? Отдыхающие пьют. Им натуральное дороже. Да мартышка Алиска, тоже фотографирует, он за одну эту мартышку 70 тысяч заплатил, коцаешь? Легко тратится, ему эта мартышка уже окупилась в десять раз. Да пять абрикосовых деревьев, да две сливы, да персик — одно дерево, да два грецких ореха. Посчитал?

ВОЛОДЯ. А мне зачем?

ТАИСА (*из укрытия*). Копать! Копать!

ВОЛОДЯ. Он клад закопал!

ТОЛЯ. Я сразу понял, как мешок увидел.

ВОЛОДЯ. Закопал. Здеся всю жизнь клады копают.

ТОЛЯ. Может, он в сберкассу пошел?

ВОЛОДЯ. Ага, в сберкассу! Он доверит! Здеся только земле доверяют! Скифы еще были: клады оставили. Аланы — первые люди этих мест. Торговые пути всю дорогу, татаре, турки, византийцы, генуэзцы разные.

ТОЛЯ. Где это ты нахватался?

ВОЛОДЯ. Я книгу читал. В детстве.

ТОЛЯ. Ври больше. Ты читать не умеешь.

ВОЛОДЯ. А как я тогда подписываюсь под зарплатой?

ТОЛЯ. Все равно аланов тут не было. Слишком давно.

ВОЛОДЯ. Тут кладами вся земля напихана.

ТОЛЯ. Где копать-то? Ты знаешь?

ТАИСА. Я знаю!

ТОЛЯ. Где?

ТАИСА. Тама!

ВОЛОДЯ. Слушай дуру!

ТОЛЯ. Где — тама?

ТАИСА. В Генуэзском фортеции.

ВОЛОДЯ. Ты смотри, дура, а заговорила.

ТАИСА (*Володе*). А ты не ходи, ты сухой, мослы одни, а я мякушку люблю. Толий, айда в крепость.

ВОЛОДЯ. А за мослы я тебе сейчас руку сломаю.

ТОЛЯ. Подожди, подожди, Вова. Может, она, правда, знает. Она ведь ходит везде.

ТАИСА. Я знаю!

ВОЛОДЯ. Ну ладно, вылезай. Хоть я и сухой, а я тебя прощаю, пока.

Таиса выходит.

ТАИСА. Обещаешь, что прощаешь?

ВОЛОДЯ. У-у! Как дам!

ТАИСА. Нельзя!

ТОЛЯ. Не трогай ее пока. (*Таисе.*) А где копать? В каком месте? В самой крепости?

ТАИСА. В самой крепости.

Идут в крепость.

В крепости

ВОЛОДЯ. Придурки генуэзские, построили на горе. Таскайся теперь.

ТОЛЯ. Это военная крепость. Ее специально так построили, чтоб не очень-то лазили. У нее и название Солдайя.

ВОЛОДЯ. Солдайя это вообще Судак назывался у них.

ТОЛЯ. Солдайя — это крепость. Я учитель, я знаю.

ВОЛОДЯ. Ну пускай. А Судак как назывался?

ТОЛЯ. А тебе не все равно?

ВОЛОДЯ. Мне охота знать, как мы назывались до нас.

ТОЛЯ. До нас тут было плохо. Одна дикость.

ВОЛОДЯ. Это точно. А че двери везде такие низенькие?

ТОЛЯ. В XIV веке люди были меньше.

ВОЛОДЯ. Недоноски.

ТОЛЯ. Ты сможешь такую крепость отгрохать?

ВОЛОДЯ. А нам надо? Че в ней делать будешь? Воевать?

ТОЛЯ. Воевать в ней уже бессмысленно, Вова. Но ты такую крепость не сможешь построить.

ВОЛОДЯ. Ну и не смогу.

ТОЛЯ. Я бы этим не гордился.

ВОЛОДЯ. А я и не горжуся. Мне плевать. Я машину водить могу. А крепости пускай генуэзцы строят, раз им нравится.

ТОЛЯ. Они уже вывелись.

ВОЛОДЯ. Так и хрен бы с ними!

ТАИСА. Сюда! Сюда идите!

ВОЛОДЯ. Ничо себе, забралася. Мы тебе козлы, скакать над безднами? Ой, Толян, сколько шиповника. Давай наберем.

ТОЛЯ. Еще не хватало!

ВОЛОДЯ. Ты че, он полезный. Его здесь не рвали никогда, смотри, какой крупный. Я наберу для витаминов.

ТОЛЯ. Так. Или мы шиповник собираем, или миллион добываем! Выбирай!

ВОЛОДЯ. Он тут особый, Толян, ближе к солнцу, гляди, какой красный. Я такого не видел никогда. Прямо, как кровь сверкает!

ТОЛЯ. Ты лучше посмотри, куда Таиска забралась!

ВОЛОДЯ. Ой, мама! Она ж треснется!

ТОЛЯ. Генуэзцы специально так круто построили.

ВОЛОДЯ. Сами-то они туда лазили?

ТОЛЯ. Все обвалилось. У них там ступеньки были.

ТАИСА. Идите! Идите!

ВОЛОДЯ. Козлы генуэзские. Выше гор забралися. Слушай, Толян, а если она мешок в бездну сбросила?

ТОЛЯ. Да я уж сам думал.

ВОЛОДЯ. Ну если они наш мешок в бездну сбросили, разобью бошки. Особенно дура. За дуру ведь ничо не будет, а?

ТОЛЯ. Если ее спрятать потом, то не будет.

ВОЛОДЯ. Я спрячу. А ей чо, она понимает, что это деньги? Ей хоть рубли, хоть бумага резаная, ей все равно. Я ее кокну и спрячу. От дураков никакой пользы. А обществу они и по-давно не нужны. Оно только спасибо скажет, если дуру кокнешь. Потому что дура у общества на шее сидит, а сама не работает, только мешки в бездну бросает. Разобью бошку!

ТОЛЯ. Да ты не заводись пока. Ты ее достань сначала.

ВОЛОДЯ. Я достану!

ТОЛЯ. Куда понесся! Осторожней надо! Не на пляже гуляешь.

ВОЛОДЯ. Я ее тут и спрячу. Вон в том домике.

ТОЛЯ. Это не домик. Это христианский храм IX века.

ВОЛОДЯ. Ничо. Там укромно.

ТОЛЯ. То шиповник, то охота. А клад? Как мы без нее клад найдем?

ВОЛОДЯ. У, поганка!

ТОЛЯ. Может, она хочет нам клад добыть?

ВОЛОДЯ. Обязана!

ТАИСА. Лезьте! Лезьте скорее, лезьте!

ВОЛОДЯ. Ну ты че, совсем, да? С дуба рухнула? Там пройти нельзя! Там стена обрушилася, над морем висит. Давай

туда копать! Чо тебе, смотри, сколько места!

ТОЛЯ. Смотри, она же прошла!

ВОЛОДЯ. Потому что дура.

ТОЛЯ. А мы что, хуже?

ВОЛОДЯ. Я не полезу. Меня тошнит на высоте. Я буду туда копать.

ТОЛЯ. Копай. А я полез. Я Таиске верю.

ВОЛОДЯ. Дуре поверил! Я здесь сроду не был! Нам не надо — костями скалы считать!

ТОЛЯ. Генуэзцы и то не боялись! В XIV веке. А сейчас какой?

ВОЛОДЯ. Толик, хоть ты и учитель в школе, я не спорю, но ты лучше детишкам рассказывай, какой сейчас век. А мне хоть нулевой, я туда не полезу.

ТОЛЯ. Мешок там.

Лезут.

ВОЛОДЯ. Ну ежели она мешок в бездну скинула...

ТОЛЯ. Деньги.

ВОЛОДЯ. А если рассыпала по ветру?

ТОЛЯ. В мешке.

ВОЛОДЯ. Точно? А то, знаешь, обидно все же, жизнью рискуем.

ТОЛЯ. Деньги.

ВОЛОДЯ. Ой! Ой, мама!

ТОЛЯ. Что? Падаешь? Закрой глаза! Главное вниз не смотреть!

ВОЛОДЯ. Толян, гляди, она мешок раскопала!

ТОЛЯ. Он!

ВОЛОДЯ. Он!

ТОЛЯ. Деньги! Деньги! Деньги! Я знаю, деньги, деньги!

ВОЛОДЯ. Толя, ты не прыгай, здесь сильно узко.

ТОЛЯ. Деньги, деньги, деньги!

ВОЛОДЯ. Не могу, сползу сейчас в бездну.

ТОЛЯ. Деньги, деньги, деньги!.. Денюжки!

ВОЛОДЯ. Сползаю уже...

ТОЛЯ. Эй, вы, внизу! Мы миллионеры!

ВОЛОДЯ. Эй, вы, крысы нижние! Толян, а чо ты купишь?

ТОЛЯ. Я? Ха-ха-ха!

ВОЛОДЯ. Ну самое-самое!

ТОЛЯ. Да хоть ту же путевку в Болгарию. Туфли привезу.

ВОЛОДЯ. А я макаку куплю. Они уютные.

ТОЛЯ. Мы богатые! Ты понял, Вова? Вова! Дай я тебя поцелую! Стой! Ты куда? Таиска, Таиска, стой на месте! Там стой, где стоишь!

ВОЛОДЯ. Кидай сюда мешок! А то нам к тебе не залезти!

ТОЛЯ. Таисочка, подожди нас. (Володе.) Проси ее вежливо, а то ускачет. Таисочка, кинь нам мешочек. Ну зачем он тебе? Ты и так хорошенькая. Я тебе бусики подарю.

ВОЛОДЯ. Тебе, дура, деньги не обязательно. Тебя государство так кормит. Гони мешок, живо!

Таиса скрывается в башне.

Сучье вымя! Ушлепала в башню. Туда нам не забраться.
ТОЛЯ. Как хочешь. Я пойду один. Но весь миллион — мой.

В башне

Заползают Володя и Толя.

ВОЛОДЯ. Ну, такое даже во сне не увидишь. Толик, ты жив?

ТОЛЯ. Я жив, я живот ободрал.

ВОЛОДЯ. Я сам весь ободрался. Черт те че наворочено в мире. Нет, ты видал, какие скалы, а? Как по ним прыгать-то?

ТОЛЯ. Забудь лучше. Нам еще обратно лезть. Ты лучше вспомни, как море блестит с высоты.

ВОЛОДЯ. Чего?

ТОЛЯ. Море. С высоты. Надо все-таки изучать мир, особенно с такой высоты.

ВОЛОДЯ. Это тебе надо. Ты учитель, тебе по работе положено. А я баранку кручу. Мне на хрен изучать?

ТОЛЯ. Ты не прав. Для себя нужно. Чтоб шире душой быть.

ВОЛОДЯ. А ты че, прям лезешь и сразу изучаешь?

ТОЛЯ. Да.

ВОЛОДЯ. Как ты не шмякнулся.

ТОЛЯ. Мне знания дороже всего.

ВОЛОДЯ. Давай пожежем на ровном, а то в груди все трясется. Глянь, ковер какой пушистенький. Ползи в комнатку.

ТОЛЯ. Какой еще ковер?

ВОЛОДЯ. Ой, все осталось как было! Глянь, какая у них мебель уютная была. Ой, Толян, тебе тут много изучать можно.

ТОЛЯ. Здесь ничо не может быть.

ВОЛОДЯ. А это че по-твоему? Лежанка шикарная. Шкафик резной.

ТОЛЯ. Здесь должно быть пусто, кроме руин.

ВОЛОДЯ. А откуда оно все стоит тут?

ТОЛЯ. Я не знаю.

ВОЛОДЯ. А я знаю. Осталось от генуэзцев. Ты сам говорил, они прочно строили.

ТОЛЯ. Здесь должны быть руины!

ВОЛОДЯ. Ни хрена себе руины! Ты лучше изучай давай. Это ж редкости. Потом детям расскажешь в школе.

Толя дрожит.

Че ты трясешься? Мне это все на хрен не нужно. Бери. Тем более для изучения. Хоть ковер, хоть что. Мне наши рубли надо, а старинного мне не надо. От него тоска одна.

ТОЛЯ. Тут что-то не то... ой, не то...

ВОЛОДЯ. Давай в шкафчик заглянем?

ТОЛЯ. Нет!

ВОЛОДЯ. Ну прям там нет. Столько лезли. *(Открывает.)*

Ой, Толян, что тут есть! Упадешь сейчас: пилки, топорики, крючки какие-то... А, ну они ж военные были, это ихнее оружие. Махонькое-то, махонькое! Господи! Утюжешечки!

ТОЛЯ. Ты врешь. Тут не может быть ничего. Ничего. Там пусто!

ВОЛОДЯ. А это че? *(Показывает хирургический зажим.)*

Ишь какие у них ножички фигурные были. Ты глянь, Толян, блестят, как новые. Умели в старину делать.

ТОЛЯ. А-а-а!!!

ВОЛОДЯ. Господи, че ты орешь? Я аж вспотел.

ТОЛЯ. Новые!

ВОЛОДЯ. Ну да. Сохранились для истории. А че орать с этого? Ты глянь, какие махонькие, для войны, да? Надо ж. И побеждали ведь. Нет, я не могу, они ж сами махонькие были в XIV веке, у них и оружице такое ж было. Ну надо же. Вот ведь об чем подумать, да? Вот история человека через все века.

ТОЛЯ. Положи!

ВОЛОДЯ. Ты че, в школе музей откроешь, знаешь, как полезно про родной край.

ТОЛЯ. Положи, болван, положи, положи. Как слезть?! Как отсюда слезть? Как мы залезли сюда?! Господи, там все отвесное.

ВОЛОДЯ. Толян, ты какой-то нервный стал. Мне это все на фиг не надо, не хочешь, не сдавай. Пускай гниет так. Конечно, обидно, что знания дети не получают, но тебе виднее, ты их в школе обучаешь, не я.

ТОЛЯ. Нужно бежать отсюда, понял? Выбираться надо! Как мы сюда забрались?

ВОЛОДЯ *(выглянул)*. А хрен его знает. А правда, как? Ладно, успеется. Где эта пугала? Пускай мешок отдает, а то скоро вечер, мы подавно не увидим, как слезть. Эй, пугала, а ну, вылазь!

ТОЛЯ. Заткнись!

ВОЛОДЯ. Ты че, Толян?

ТОЛЯ. Тише. Кто там... плачет?

ВОЛОДЯ. Где?

ТОЛЯ. Слышишь?

ВОЛОДЯ. Так это ж чайки. Кто тут еще может быть. Чайки орут. Они гнусно орут, я сам не терплю их.

ТОЛЯ. Проси... проси ее... проси очень сильно. Как ее отчество?

ВОЛОДЯ. Чье отчество?

ТОЛЯ. Ее, Таисы.

ВОЛОДЯ. Засери-то этой? Какое ей отчество? Дура она.

ТОЛЯ. Вова, это мы с тобой дураки. (*Зовет.*) Таиса... Ивановна, помогите нам, пожалуйста. Нам не выбраться отсюда самим. На коленях молим.

ВОЛОДЯ. Ты че так с дурой? Так нельзя, Толик! Выходи давай, лахудра! Или я тебя сейчас за патлы вытяну! Где ты тут забила? Ой, слышу, слышу, шебаршишь ты где-то близко... А я вот сейчас пойду, да как напинаю... Лучше сама вылезь... Глянь, Толян, ниша какая-то.

ТОЛЯ. Ужас! Не лезь!

ВОЛОДЯ. Ну прям там! (*Лезет в нишу.*)

Сверху падает решетка, пронзает Володю насквозь.

ТОЛЯ. Я же говорил!

ВОЛОДЯ. Умираю. Генуэзцы пронзили. Полденег отдай моей маме.

Умирает.

Выходит Таиса с мешком.

ТОЛЯ. Таиса Ивановна.

Таиса садится на пол, высыпает мешок, считает рубли.

Таиса Ивановна.

ТАИСА. Алановна.

ТОЛЯ (*со стоном*). Таиса Алановна. Я потрясен. Не молчите, прошу вас. У вас много денюжек... Это хорошо. Без денег человек никуда. Человек без денег, как без крыльев. Я правильно говорю?

Таиса выбрасывает мелкие деньги в бойницы башни.

Правильно. Мелочь карманы тянет.

ВОЛОДЯ (*сквозь смерть*). Полденег отдай моей маме.

ТОЛЯ. Противно слушать. Чужие деньги считает. Подонки. Ничтожество.

ВОЛОДЯ. Отдай, засеря вонючая. Тебе, дура, и так все дает государство.

ТОЛЯ. Хам. Может, решеточку продвинуть?

Таиса хохочет.

Я серьезно вам предлагаю. Зачем хама слушать.

ВОЛОДЯ. Толик, не двигай, а то остатняя кровь вытечет.

ТОЛЯ. Прикажите, Таиса Алановна, где тут рычажок? Намекните только, я найду.

ВОЛОДЯ. Толик, мне живот насквозь больно. Я уж в смерти побывал, в глазах сверкает. Еле вернулся. Не знаю, надолго ли. Т-ы скажи этой суке, что я все равно ей уродства не прощаю.

ТОЛЯ. Таиса Алановна, будьте моей женой.

ВОЛОДЯ. О-о-о! Толик! (*Умирает.*)

ТОЛЯ. Мы спустимся вниз. Мы ведь спустимся отсюда?

В мир, в мир! У меня домик солнечный. Я сдаю отдыхающим пять коек за два пятьдесят. В сезон за три. Садик есть. Тая, я заметил тебя давно. Я робел подойти. Ты была неприступная. Тая, отдайся мне в жены. Люблю тебя.

Таиса выбрасывает деньги в бойницу башни.

Рубли разлетаются по ветру.

Правильно. Мы будем бедные и счастливые!

ТАИСА. Деньги народные.

ТОЛЯ. А-а-а!!! *(Бросается в пропасть. Слышен стук тела о скалы.)*

Из тайника выходит Хозяин осла.

ХОЗЯИН. Приветствую тебя, Хозяйка.

ТАИСА. Ты опоздал.

ХОЗЯИН. Не гневайся, Хозяйка. Путь сюда труден.

ТАИСА. Я привела двоих.

ХОЗЯИН. Великая добыча.

ТАИСА. Один не выдержал, разбился.

ХОЗЯИН. Опасна сила твоих глаз, Хозяйка.

ТАИСА. Опасна.

ХОЗЯИН. Осмелюсь спросить, мешок ли их заманил?

ТАИСА. Мешок.

ХОЗЯИН. Подонки. За чужими деньгами погнались. Воюги.

ТАИСА. Приступай.

Хозяин нажимает рычаг, открывает тайник с сокровищами всех народов, побывавших на этой земле. Таиса облачается в драгоценные одежды.

Дай ту гребеночку с лошадкой.

Таиса закрепляет гребень.

Хозяин падает ниц.

Мой ужин.

Хозяин ползет к Володе.

ХОЗЯИН. Он умер?!

ТАИСА. Укол.

Хозяин делает укол Володе, тот оживает.

ВОЛОДЯ. Ну и фря... Вырядилась. Кому ты нужна, рыла? *(Увидел открытый тайник.)* Че это у нас, Новый год справляете?

Хозяин разводит огонь под Володей.

Ой, козлы, козлы, жарить будут. Живьем. Татаре. Где мой мешок? Козел, мешок отдавай. *(Хозяин ворочает Володю на вертеле.)* Не верти меня, жлоб! Всегда знал, что ты подонок! *(Задыхаясь в дыму и огне.)* Блестит. Как в детсадики.

В Новый год. (Поет.) Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Ту-сто четыре самый быстрый самолет! В детском саду скоро будет Новый год! Я знаю, любит мама гвоздики и сирень. Таиса Алановна, а Толик сказал плохое слово. Он первый начал!

ТАИСА. Попробуй, может готов.

Хозяин отрезает от Володи.

ХОЗЯИН. Жестковато.

Таиса сервирует стол.

ВОЛОДЯ. Мама, Вова не будет кушать, у Вовы животик вава...

ТАИСА. Где мой гонуэзский сервиз? Сволочь, где мой гонуэзский сервиз?

ХОЗЯИН. Ты изволила разбить его на прошлой трапезе, Хозяйка.

ТАИСА. Врешь, ты врешь!

ХОЗЯИН. О, Хозяйка, он надоел тебе, и ты сбросила его со скал.

ТАИСА. Дай фрукты и вино.

Хозяин подает. Таиса ест.

Играй!

Хозяин играет на чудных инструментах.

Таиса пляшет.

ВОЛОДЯ. Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих!

ТАИСА. Вино и специи!

Хозяин поливает Володю вином, сыплет в раны специи.

Таиса пляшет вновь.

Володя шумно жарится.

ТАИСА (злобно). Ну скоро он! Надо было вымочить его в уксусе.

ХОЗЯИН. Вот прекрасный греческий уксус, Хозяйка.

ТАИСА (подносит амфору к Володе). Пей.

Володя пытается укусить Таису.

ХОЗЯИН. Губочку, губочку намочи, Хозяйка. А то он за пальчики тебя цапнет.

Таиса подает Володе губку на копье.

Володя пьет, бьется в агонии, затихает.

ТАИСА. Неужто умер? Поверти-ка.

Хозяин вертит Володю на вертеле.

(Отщипнув кусочек.) Получше. Добавь специй. (Пляшет.)

Вползает Толик.

ТОЛИК. Я не умер, не умер! Я приземлился на скалы. Путь только сюда. Везде бездны. Возврата нет. Внизу море. Нас обступило древнее море. Черные тонны сероводорода проступают на лазурном челе моря каплями смертного пота. Возврата нет. Море вывернулось наизнанку. Рыбы летают в белом небе. Ласточки вязнут в соленых пучинах. Скалы сдвинулись неприступно. Город внизу залило чем-то красным.

ХОЗЯИН. Е-мое. Приполз и этот. (Тычет в него копьем.)

ТОЛИК. Ай, ай, не надо. Я буду вам служить. Прислуживать у стола. На улице дождь, а у вас уютненько. Можно я останусь? Можно? Таиса Алановна, заступитесь.

ТАИСА. Пусть служит.

ХОЗЯИН. Служи.

ТОЛЯ (ползет). Приказывай, Хозяйка.

ТАИСА. Поверти друга. Плохо жарится.

ТОЛЯ. Сию минуту. Позвольте дровишек подбросить?

ТАИСА. Подбрось.

Толя раздувает огонь, жарит Володю.

ТОЛЯ. Вкусно пахнет.

ВОЛОДЯ. Толик, это ты?

ТОЛЯ. Ой, Хозяйка, он живой.

ТАИСА. Тюкни его топориком по маковке. Только мозги не выплесни. Я люблю их с горошком.

ВОЛОДЯ. Не надо, Толик, я тебя видеть не смогу.

ТОЛЯ. Еще тебе меня видеть! (Бьет топором его по лбу.)

ВОЛОДЯ. Все. Тьма меня обступила. Они меня мучили, как фашисты. Мое сердце плавилось в горниле страдания. Оно стало мягким и детским. Я слишком много умирал. Много страданий узнал я, и горя, и мук раскаленных. Много я испытал, тщетно за счастьем гоняясь. Много зубами вгрызался в чужие хребты и утробы. Сам я теперь ужином стал у голодных.

ТОЛЯ. Запел по-гречески.

ТАИСА. Каждый поет, как хочет.

ТОЛЯ. Шум моря в этих звуках.

ВОЛОДЯ. Жилы и кости и мясо сгорели в страданье. Только душа, как невинный младенец, смеется. Нет наказания такого и муки такой не придумать, чтобы бессмертную душу червем научить извиваться.

ТОЛЯ. А-а-а!!! (Хватает генуэзский поднос, бьет Таису по голове. Та падает и умирает.)

ХОЗЯИН (удивленно). Убил?!

ТОЛЯ. А-а-а!!! (Так же убивает Хозяина.) Я тебя спасу сейчас, Вова.

ВОЛОДЯ. Нет, не влекут меня больше улыбки и ласки от жизни. Новую жизнь я увидел за пурпуром зверских страданий.

ТОЛЯ. Горячо как. За тебя взяться негде. У тебя все раны зажарились, Вова. Суки, укропа натолкали.

ВОЛОДЯ. Ой, ой.

ТОЛЯ. Сейчас я все это выковыряю, Вова. Сядь, сядь. Это чудо, ты такой выносливый! Вова, у тебя мужество большое очень.

ВОЛОДЯ. Люди меня истязали, страшнее безумных фашистов. Плач изумленья застыл на их побледневших мордашках. Плоти алкали печеной, не видя нектара другого — прочно закрыт от голодных души непреклонный источник.

ТОЛЯ. Ты под пытками не сдался!!! Господи, ты великий. Ты герой, Вова. Выпей, на вот, у них вино какое-то чудное, не наше.

ВОЛОДЯ. Дай я увижу тебя, только пальцы слепому остались.

Ощупывает ему лицо.

Да, это ты, Анатолий, раздай подаяние бедным.

ТОЛЯ. Какое подаяние, Вова? Эта стервь, Таиска, все деньги в пропасть сбросила.

ВОЛОДЯ. Много несметных сокровищ накоплено здесь по подвалам. Выгреби все и раздай садикам, школам, больницам.

ТОЛЯ. Нет, я лучшее богатство нашел. Я тебя нашел, Вова. Я тебя отмою, забинтую и в нашу школу принесу. В доказательство. Пусть убедятся, что такое человек! А то ведь не верят, каждый для себя живет! Чему детей учат! Ужас! Но теперь все! Пусть ровняются!

ВОЛОДЯ. Славы не нужно и денег не нужно для счастья. Лишь уважение людей и глубокая преданность друга.

ТОЛЯ. Я тебе предан, Вова!

Таиса оживает, подкрепляется фруктами.

Ожила!

Кидает в нее кинжал. Таиса умирает с кинжалом в сердце и с персиком в зубах.

Убил гадину. Вова, я убил мучительницу.

Оживает Хозяин.

И ты туда же, гнида! (*Убивает, как Таису.*) Ковер жалко, кровийшей замажут. Вова, ты что замолк, ты не молчи. Вова, я тебя отсюда вынесу. Ты людям надежда теперь. Тебе памятник поставят на улице Космонавтов. Клянусь тебе! Покушай винограду, ты много крови потерял.

ВОЛОДЯ. Ужином ставший не может вкушать пищу простую. Пища его — размышленья, как для других все улучшить.

ТОЛЯ. О! Ну, суки, держитесь! Не смогли сломить! Не согнули! Размышляй, Вова, ты теперь такой. Ты ляжь, ты ж намучился. Полежи, сил наберись. Вот, я тебе виноград поставил рядышком. Ты думай, тебе ни одна сука не помешает. Клянусь!

ТАИСА (*оживает*). Больно. (*Глядит на свою кровь.*) Теперь мокро будет везде. Склизко. Поразбиваемся.

ТОЛЯ. Ты что не умираешь, дура?

ТАИСА. Не кричи хоть. Больно, прямо в глазах все плывет.

ТОЛЯ. Я тебе, кажется, в сердце кинул!

ТАИСА. Здесь никто не умирает!

Толя бьет ее подносом по голове. Она умирает.

ХОЗЯИН (*оживает*). Здесь никто не умирает!

Толя бьет подносом Хозяина. Тот умирает.

ТАИСА (*оживает*). Здесь никто не умирает!

Толя бьет Таису, та умирает.

ХОЗЯИН (*оживает*). Здесь никто не умирает!

Бьет. Тот умирает и т. д. Промежутки между смертью и жизнью все меньше. Толя не успевает колотить их подносом, пока оба не совпадают в жизни.

ТАИСА и ХОЗЯИН (*вместе*). Здесь никто не умирает!!!

Пауза.

ТАИСА. Только нам очень больно и мокро.

ХОЗЯИН. Озверел, что ли?

ТОЛЯ. Кто? Я? Это вы озверели. Вы зачем людей мучаете?

ХОЗЯИН. А ты нас как мучаешь!

ТАИСА. Ножиками кидаешься.

ТОЛЯ. А ты вообще молчи, дура.

ТАИСА. Обзывается и кидаешься. Уже шевелиться больно.

ХОЗЯИН. Голову мне проломил.

ТАИСА. Уже даже дыхнуть больно.

ХОЗЯИН. А я глазами моргать не могу, молнии блещут от моргания.

ТОЛЯ. Вы что, жаловаться вздумали?

ВОЛОДЯ. Победа. Победа. Победа. Победа.

ТОЛЯ. Его не согнули!

ХОЗЯИН. Мы его съесть хотели, а ты вперся. Жлоб.

ТАИСА. Пускай уходит. Дождик кончился уже. Он просился, мы пустили. Мы теперь не рады ему. Уходи!

ХОЗЯИН. Уходи!

ТОЛЯ. Вы что, ненормальные? Вы с человеком вон что сделали!

ТАИСА. Тебя никто не обзывал. А ты ножами кидаешься в людей!

ХОЗЯИН. И головы ломаешь. Моргать больно.

ТАИСА. А мы тебя не трогали. Мы тебя от дождя пустили.

ХОЗЯИН. Теперь жалеет.

ТОЛЯ. О-о-о!!! *(Хватает кинжал и убивает себя.)*

ТАИСА. Здесь никто не умирает!

ХОЗЯИН. Еще мокрей будет.

Ждут. Толя не оживает.

ВОЛОДЯ. Победа. Победа. Скоро победа. Все раздадут, все раздадут людям. Победа для людей.

ТАИСА. Не оживает.

ХОЗЯИН. Ой, врет, наверное.

ТАИСА. Потыкай его.

ХОЗЯИН *(тыкает)*. Я первый!

ТАИСА. Нет, я!

ХОЗЯИН. Я сказал, я первый! А то как врежу сейчас, полетишь по стеночке.

ТАИСА. Я первая! Я первая! Я первая!

ХОЗЯИН. Ну ладно, давай ты.

ТАИСА. Я же хозяйка.

ХОЗЯИН. Ну давай, быстро! Ты чем будешь?

ТАИСА. Дай вон тот скальпель. Узенький. *(Закалывается.)*

ХОЗЯИН. Ну, я не баба. Я уж наверняка. Дотянуться бы... ползти больно. Ага, ага, вот хорошенькие ножнички с зубчиками. Во, самое то.

Вспарывает себе живот.

ВОЛОДЯ. Всем! Всем! Всем! Победа людей во вселенной! Победа людей! Победа людям. Раздавайте все людям. Все лучшее раздайте людям. Отдайте людям все. Им надо. У них нету. Всем! Всем! Всем! Победу людям! Победу!

Все оживают.

ТОЛЯ. О-о-о! Я опять живой! *(Плачет.)*

ТАИСА. Здесь никто не умирает!

ТОЛЯ. Без тебя знаю! Не брызгай на меня!

ТАИСА. А кто проткнул? Вот тебе, вот... *(Брызгает на него своей кровью.)*

ТОЛЯ. Дайте мне умереть!

ХОЗЯИН. А ты пробуй, ты пробуй. Ты дольше всех валялся. Ты пробуй еще! По-разному.

ТОЛЯ. Что у тебя из живота висит? Смотреть противно.

ХОЗЯИН. Дай вон то полотенчко. Вон, беленькое, кинь сюда.

ТОЛЯ. Мне двигаться больно.

ХОЗЯИН. Всем больно. А ты дотянись и кинь.

ТОЛЯ. Фу, гадость, кишки на пол выпустил. На, подвжись.

ХОЗЯИН (*замотался*). Спасибо тебе. А то меня расслабило как-то. Противное самочувствие. А кровящи нахлестали, кто убирать будет? Ковер надо выбросить совсем.

ТАИСА. Не отдам ковер!

ХОЗЯИН. Его не спасти уже, видишь, хлюпает, в нем сейчас черви заведутся.

ТАИСА. Фу.

ХОЗЯИН (*Толе*). Давай, скатывай ковер.

ТОЛЯ. Я тебе нанимался? Полотенчику кинь, ковер скатывай.

ХОЗЯИН. Лучше скатывай, а то черви полезут, в раны полезут, будешь чесаться.

ТОЛЯ (*с ненавистью*). Я таких поганцев, как вы, еще не видел!

ХОЗЯИН. А ты глаза себе выдави. Полегче станет. Помочь тебе?

ТОЛЯ. Уйди! Не лезь руками!

ХОЗЯИН. Тогда работай. Потихоньку, с остановками, я ж не тороплю. Он тяжелый. Намок, давай с того конца.

Скатывает ковер.

Че-то написано. На полу буквы выбиты. Ну-ка прочти, если ты грамотный. Да не капай ты, буквы замажешь.

ТОЛЯ. Что там написано? Выдумал.

ХОЗЯИН. Ты читай, читай.

ТОЛЯ (*читает*). На-сту-пи... Наступи.

ХОЗЯИН. Подвинься. Может, опять клад?

Толя временно убивает Хозяина.

ТОЛЯ. Остохренел со своими кладами. Таиска, помоги, протри буквы от крови.

ТАИСА. Я протираю, а она опять льется. Ты мне вон какую дыру проткнул!

ТОЛЯ. Ну ты что, совсем, как ребенок? Ничо сама не можешь. Ты возьми, ваты напихай. Вот. Да поглубже!

ТАИСА. Она промокает все равно. Я лучше защемлюся. (*Зажимает раны хирургическими зажимами.*)

ТОЛЯ. Ты все же дурковатая, Таиска. Они ж за все цепляться будут.

ТАИСА. Мне так удобно.

ТОЛЯ. Да мне-то что! Три давай.

Таиса протирает пол.

(*Читает.*) Наступит... наступит день... Ага, ага, наступит день, кро... ой, кровь, наверное, одно и то же, одно и то же!

(*Читает.*) Кров... вь, ну так и есть: наступит день, кровь этих мест встанет со дна и ты больше не умрешь.

ТАИСА. А дальше?

ТОЛЯ. Все.

ТАИСА. Как? Все?! Как это?

ТОЛЯ. Таиска, что это такое? Кто подстроил? Куда ты уставилась?

Таиса смотрит вверх.

Ну что, у тебя столбняк?

ТАИСА. Давайте повесимся.

ТОЛЯ. Я не могу больше.

ВОЛОДЯ. Нет — войне, да — миру! Нет — войне, да — миру! Миру — мир! Миру — мир! Миру — мир! Все, все отдайте людям. Все-все-все, и мир во всем мире. Улыбки — детям и хлеб — голубям. Старухам — приюты, молодежи — институты! Бой за мир, за счастье людей! Бой! Бой! Бой! Бой!

ТАИСА. Может, его чуть-чуть...

ТОЛЯ. Не смей его трогать!

ТАИСА. От него гудит...

ТОЛЯ. Руки прочь! Он единственный из нас, ты понимаешь?

ТАИСА. Ну так вот. Я подумала — мы не вешались. Мы только ножами кололись и на огне жарились. Может, получится? Нам воздух перехватит, кровь не сможет дышать в жилах, она свернется. Мозги лопнут. Тогда мы точно умрем. (*Прилаживает петлю.*) Толик, Толик, если б ты меня ножиком не ткнул, я бы ее лучше приделала. А то как-то криво.

ТОЛЯ. Это не главное. Лишь бы крепко.

ТАИСА. Вообще-то крепкая. Тут крюки старинные. (*Сует голову в петлю.*) Они прочно делали.

ТОЛЯ. Стой! Ты куда вперед всех! Надо всех подождать. Хозяин еще не ожил. Вову надо подвесить, он сам не сможет, у него и руки обгорели, и глаз нету.

ВОЛОДЯ. Вижу!

ТОЛЯ (*дрожит*). Господи! Он герой! Настоящий герой!

ВОЛОДЯ. Вижу! Вижу! Вижу! (*Бежит, врывается в стену, умирает.*)

ХОЗЯИН. Ну что вы орете, что носитесь. Кто мне в кишки наступил, говорите?

ТОЛЯ. Вова наступил. Он слепой. А ничего, потерпишь! Ты хрен знает кто, а он с большой буквы! (*Склоняется над Володей.*)

ХОЗЯИН. Че вы нового придумали?

ТОЛЯ. Заткнись, видишь. Он умер.

ХОЗЯИН. Да неужто ж?

ТОЛЯ. Ты что, сволочь, над смертью такого человека глумишься? Встать! И молчать! И снять шапку!

ХОЗЯИН. У меня нету шапки.

ТАИСА. Тогда я начинаю. Я вас не буду ждать, когда он там оживет.

ХОЗЯИН. Ты залезла, прыгать будешь? Отсюда не убиться.

ТОЛЯ. Ну ладно. (*Хозяину.*) Мы вешаться будем. Другого выхода нет. Вову не будем ждать. Подвесим так. Помогайте.

Подвешивают мертвого Вову. Вешаются сами. Агония. Слышен далекий плеск большой воды. Вода поднимается. Проступает на полу. Поднимается выше, к ногам подвешенных. Это кровь.

ТОЛЯ (*открывает глаза*). Опять живой. Я так и знал. Что там? В глазах красно или что — там? Эй, ожил кто-нибудь? (*Вертится на веревке, толкает всех.*) Тонем! Мы тонем! Помогите! Нас затапливает! (*Все качаются, бьются друг об друга, оживают.*)

ВОЛОДЯ. Вижу, вижу! Я вижу свет!

ТАИСА. Мне веревка давит. Потому что я криво повесилась. Это из-за тебя, Толик.

ТОЛЯ. Мы тонем, тонем! Слезать надо!

ХОЗЯИН. Как слезать? Все скользкие, и зацепиться не за что.

ТОЛЯ. Может, мы утонем?

ХОЗЯИН. Полотенце разматалось. Кишки выпали, болтаются.

ТОЛЯ. Да заткнись ты со своими кишками.

ХОЗЯИН. Это Таиска толкается, и у меня кишки выпали.

ТОЛЯ. Может, мы утонем, а? Это ж все-таки не вода, а кровь. Я один раз тонул в Черном море, легкие только изжег. А это все-таки кровь.

ХОЗЯИН. Ой, кишки свесились. Мутит меня, как в самолете.

ТОЛЯ. Ой, надоел ты мне! (*Бьется об Хозяина.*)

ХОЗЯИН. Не крути меня, я молчу, молчу уже!

ТОЛЯ. Я говорю, может, мы утонем в этой крови, а?

ТАИСА. Меня тоже мутит. Я не могу кровь видеть. Я в обморок от нее падаю.

ТОЛЯ. И ты туда же? (*Бьет Таису.*)

ТАИСА. Я не буду больше, не буду! Меня не мутит уже.

ВОЛОДЯ. Вижу! Вижу!

ХОЗЯИН. И ты заткнись, ужин недоделанный!

ТАИСА. Мало мы тебя жарили!

ТОЛЯ. Не смей! Вы с ним рядом висеть не смеее!

ХОЗЯИН. Уж прям там не смеем!

ТАИСА. Дай откусить, где прожарилось.

ТОЛЯ. Не смей! Мерзавцы!

Все ссорятся, сплетаются.

ВОЛОДЯ. Вижу! Вижу пурпурный чертог!

ТОЛЯ. Разматывайтесь.

ХОЗЯИН. Не тяни, ты мне кишки обрываешь.

ВОЛОДЯ. Я всхожу по ступеням в пурпурный чертог!
ТОЛЯ. Таиска, отлепись от меня.
ТАИСА. Мне на тебе висеть приятнее.
ВОЛОДЯ. Я пробился, пробился в пурпурный чертог!
ТОЛЯ. Таиска, лети к Хозяину! (*Отталкивает ее.*)
ТАИСА. Не хочу, не хочу больше висеть! Снимите меня!
ХОЗЯИН. Хозяйка, не бейся, ты волны поднимаешь.
ТОЛЯ. Жжется!
ХОЗЯИН. Тебе все жжется. И море Черное. И кровь.
ТОЛЯ. Это древняя кровь. Она жжется! Ура!
ХОЗЯИН. Ты че, прибацнутый! Че радуешься? Лишняя боль. У меня и так все кишки туда выпали. Я уже пустой, как спинка минтая.
ТОЛЯ. Таиска, попрыгай еще. Гони волну на меня.
Таиска бьется на веревке. Волны крови омывают Толю.

Ха-ха-ха!

ХОЗЯИН. Как смешно!

ТОЛЯ. Щекотно!

ХОЗЯИН. Обхотаться можно.

ВОЛОДЯ. Чертог, чертог, раскройся. Ты для людей? Это чертог для людей! Скорей! Скорей! Люди, люди, скорей!

ТОЛЯ. Она разъедает! Ребята, мы спасены, она разъедает!

ХОЗЯИН. Не брешь хоть. И так муку терпим. Ты хоть надежду не давай.

ТОЛЯ. Ты сам погляди. Твои кишки до нее достают?

ХОЗЯИН. Сам не видишь?

ТОЛЯ. А которые достали, те — что?

ХОЗЯИН. Что?

ТОЛЯ. А ты их подтяни, посмотришь.

ХОЗЯИН (*подтягивает*). Как отрезало! Нету! Полкишки отъело!

ТОЛЯ. А ты еще на ноги погляди!

ХОЗЯИН. До кости! Так это что, мы растворимся, что ли?

ТОЛЯ. Да. Как в серной кислоте. Она же древняя, начиная аж от аланов. Видишь, бурлит?

ВОЛОДЯ. Вижу! Вижу! Хлынули люди в пурпурный чертог! Хлынули! Хлынули! Я лечу в пурпуре!

ТАИСА. Врешь ты все. Я летала в пурпуре, а что теперь? Помереть не можем.

ХОЗЯИН. Крепись, Хозяйка, эта кровь нас растворит.

ТОЛЯ. Что это? Она убывает! Она уходит!

Все кричат и плачут.

Все замолчите! Заткнитесь. Притворяйтесь, что вам все равно.

ХОЗЯИН. Плевал я на эту кровь.

ТАИСА. Лужа красная.

ВОЛОДЯ. Лечу! Лечу!

ТОЛЯ. Не так! Бойтесь умирать.

ХОЗЯИН. Этот радуется. Надо его тюкнуть временно.

ТОЛЯ. Не смей его трогать! Он один хочет умереть за людей! А вы только о себе думаете!

ХОЗЯИН. Так он же спугивает. Она убывает.

ТОЛЯ. А ты сам старайся! Ты бойся умирать. Надо бояться умирать. Чтоб она хотела нас. (*Кричит.*) Не надо! Не надо! Боже упаси!

ХОЗЯИН. Пожить бы! Хоть минутку! Миг один! Миг!

ТАИСА. Не буду умирать! Жить хочу! Дыньку хочу!

Все бьются и боятся умирать.

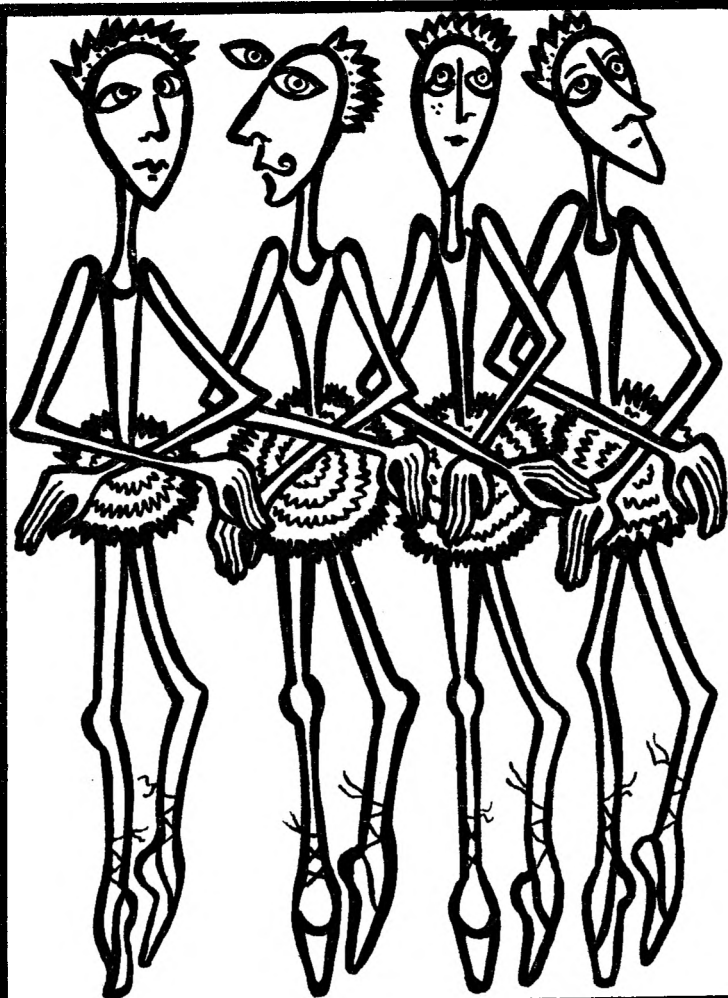
ВОЛОДЯ. Пурпур. Волны пурпура. Люди в пурпуре. Я летаю, летаю, летаю...

Кровь поднимается. Заполняет башню до потолка. Слышны всхлипы, бульки внутри влаги. Кто-то сильно забился. Затих. Все затихло. Кровь стоит, насыщаясь изнутри еще более красным. Убывает. Спадает совсем. В пустой комнате, омытой кровью, висят пустые петли. Солнце сушит комнату. Влетела птичка. Запела.

Занавес.

Август, 1988 г.





Амазонки - те же мужчины,
только более мужественные

ЕЛЕНА ТАРАСОВА: «Спешу сообщить, что родилась на свет, согласно метрике, не ранее сентября 1959 года в городе Ростове-на-Дону. В год и два месяца оказалась в г. Махачкале, где и исполняла жизненную программу «типичного представителя» «в типичных обстоятельствах»: вступала в октябрята, в пионеры; в комсомол же меня не приняли, не сочли достойной, хотя мне очень и очень хотелось. С тех пор страдаю комплексом неполноценности. Более ничего интересного сообщить о себе не имею. Разве что: в походах Александра Македонского не участвовала; через Альпы не переваливала, в заключении Туркменчайского договора не замешана; к Северному полюсу на лыжах не ходила, — о чём, будучи в здравом уме и твердой памяти, свидетельствую».

МАРИНА ПАЛЕЙ: «...Я вовсе не задавалась целью пугать читателя ужасными ужасами советского здравоохранения. В этом мрачном вопросе публицистика, конечно, выразительней самой изощренной прозы; их превосходит красноречием обыкновенная статистика, — но даже все вместе взятые они не в силах пробиться сегодня к сердцу усталого отечественного читателя, чей личный будничнейший опыт уничтожил всякую способность удивляться. Я лишь хотела показать исключительную особость места перехода, именуемого больницей, где человек появляется в мир и где чаще всего его покидает. Экзистенциальная природа этого учреждения, с жуткой простотой обнажающего основу жизни и смерти, сходна с природой армейской казармы, тюремной камеры, отсека космического корабля, барака концлагеря... Список можно продолжить».

Елена Тарасова

ТЫ ХОРОШО НАУЧИЛСЯ ЕСТЬ, АДАМ

Повесть

Как же их не обижать, малых сих, плодящихся и множащихся? Они мясные и рыбные, они членистоногие и краснеют, когда их варят, они двустворчатые и с лимонным соком, они акриды. Они сосисочные и котлетные фарши. Их зажаренные пузыри, их подсыхая соленая икра под пиво, их белое мясо и пара румяных пернатых ножек, их пупок и сердце, их вымоченные почки, их промытый жирный жареный тонкий кишечник, их вареные головы и плотный мозг из разрубленных лбов, студень из смоленых ножек и клейких сухожилий с хреном и горчицей, их пяточки, щечки и уши туда же. Они нежные, они тонкие, ароматные, воделенные, страсть к ним лютая, необоримая, убийственная, убивающая. Руки дрожат при виде свежей кровяной колбасы, их подвешенных сушиться соленых ребер, бедер, жирного тела, оплавляющегося желтыми каплями; сушеных на высоком столбе умопомрачительно пахнущих колбас — луком и травами. Жаренный с яичницей курдюк, жестковатое сайгачье мясо, рубленое легкое, обжаренное во внутренней пленке с луком, долма из красного кабаньего «нечистого» мяса, соленые ребрышки родимой тарашки. Их теплый, их прохладный вкус, их горячее или влажное естество. Их хочется есть, их хочется жрать, их хочется пробовать. Духовиты и смачны, и жить не хочется, если перед тобой на столе никогда не запарит, не задымится их плоть, если никогда не удовлетворить свою темную убийственную, убивающую страсть. А я не убиваю, просто ем. А я просто, чтобы жить. Никогда не бегали обезглавленные мною куры, поливая своей неблагородной кровью траву; никогда рука не держала жгут горячей соломы у откормивших свое сосцов матки, а какая разница во вкусе туши, опаленной соломой или вонючей папальной лампой. Ни одна корова, ни одна овца, ни одна малая птица, ни один кролик не потеряли своей шкуры в жестких бессмысленных пальцах, ни одна нутрия не была подвешена на крюк в копильне — ни под ножом, ни из ружья, ни из рогатки.

Тысячи убиенных кровожадных комаров, рои множющихся надоедливых мух разных размеров и окраски — полосатых, в оранжевую крапинку, зеленых; несколько десятков пауков, пугающих приметами о близкой смерти, однако загадочно подвигающих своим видом на убийство, несмотря

на эти приметы; стада тараканов, обрызганных, политых, посыпанных, сожравших положенную отраву, стреляющих из-под тапочка своими белесыми внутренностями; мерзкие, гнусные, отвратные членистоногие, терзающие взгляд своей членистоногостью. Несколько загубленных под булавкой для уроков школьной зоологии прекрасных экземпляров прекрасных стрекоз; мясистая саранча, вцепляющаяся в волосы и одежду в закатные часы на набережной своими сильными членистыми ножками; тонкой, неяркой окраски бабочки, опылившие любопытные пальцы своими легкими крыльями; зеленовато-бронзовый жук и гордость — жук-носорог. От частой демонстрации у него обломилась одна высушенная лапа и выкладывалась на стол особо. Также за душой числится одна убиенная в подобию охотничьего азарта ворона, состреленная из дробовика, с почерневшего от непогоды столба с фарфоровыми чашечками-изолаторами. Еще... Но их не для еды. Не для утоления и утети. Это жертвы познания мира, завоевания жизненного пространства и еще чего-то. Хотя это не утешает.

Не так все и просто. Прав ли мой бедный желудок или просто кровожаден и виноват? Пытаешься выяснить отношения своей совести с завтраком, обедом и ужином. И складывается нечто, о чем и думать не желается, и уже не хочется ничего выяснять. Ни справа налево, ни наоборот. И поскорее занимаешься чем иным; якобы умными мыслями о чем ни попадя, либо, опять же, наполняешь себя предвкушениями: призраками сосисок, колбас, отбивных и фри-каделек. Грешить так грешить: всеми приправами и специями, всеми возможными гарнирами, всеми слюнками, печенками, каждым метром кишечника. Да еще жалеть при этом, что не дебелая деревенская курочка плавала в этом светлом бульоне, а магазинная, гладкая, как древесный плод, с внутренностями в аккуратном пакетике и с целюфановой кожей — чужая и импортная.

Бесстыжая городская жизнь, где мясо и рыба растет на деревьях. Завтрак, обед и ужин. Где лежат в стеклянных витринах штампованные птичьи тушки, отформованная, отшлифованная баранина — полимерное литье, только что сошедшее с конвейера, во всех измерениях сантиметр в сантиметр — ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Не угнетает, так и было, так и росло. Акт убийства, совершенный за сценой, да еще в какой-то New Zealand.

На улице — впрочем, никакого значения не имеет, как ее назвать, — суровеющие сумерки, световые названия: «Аптека» без левой половины перекладины над «т», дальше «Кафе» — в темном слове едва мерцает чем-то зеленовато-розово-ядовитым начальная буква «К», слабо так пытаят-

ся, едва заметно. Кафе называется «Ис..а». Две неизвестные буквы в середине тоже навек погасли.

— Так куда мы идем? Может, все-таки объяснишь? — впереди вертикальное «МЯСО» без «О». Впрочем, тоже никакого значения. Попытка привязать «ночь, улицу, фонарь, аптеку» не получается, это просто, чтобы занять мозги, просто противно думать о том, как станешь себя вести, хоть и не знаешь еще, куда идешь. Но знаешь, что все будет плохо, как себя ни веди, не угодишь, лучше и не пытаться: не для этого тебя ведут. Во-первых, еще не ночь, фонарь — фонарем изобильно, улица — верно. Во-вторых, «Аптека» уже позади, впереди «МЯСО», верней, «МЯС» — почему ты молчишь, я не тебя спрашиваю? — и опять же улица — едут троллейбусы, снуют туда-сюда люди. Оскорбительно по отношению к снующим «снуют», — в таком случае, и ты снуешь мимо них — туда или сюда — еще неизвестно. Не та улица. — «...меня ведешь?» — «В музей», — «в греческом зале, в греческом зале...» «Вот уже три часа, а у меня ни в одном глазу». — «В человеческий зверинец! Хочу тебе показать». — «Что значит, ни в одном глазу?» «В моем случае — с поправкой на время — уже скоро шесть часов, а у меня ни в одном глазу. Ты можешь идти быстрее, мы не на прогулочной палубе тихоокеанского лайнера».

— Иду, как умею. Куда мы идем?

Про греческий зал — это уже третий день, то есть три дня, если через два дня на третий, именно так она с ним видится, т. е. уже седьмой день, если по календарю. Сегодня в поезде метро он спрашивал: «Люлек, как там в Греции?» — никогда раньше. Обходился всегда собственными мозгами, разве что стихи.

— Взгляни — название.

— Видишь? «Последний переулочек».

— В порядке, да?

В следующем за Последним переулочком, куда свернули, уже нет аккуратно сметенных у тротуара грязноватых конусов снега. Лед сколот хуже, у водостока на льду с полустертой ногами чеканкой от лома она едва не упала. Он подхватывает под локоть. Лучший друг. Дальше идут рядом. Она держит его под руку. — Как лучше, неизвестно — идя-подбегая на льду, чтобы не отставать, следить за громадной дорожной серо-полосатой сумкой, за истрепанными джинсами, с оборванной на правой брючине подшивкой. Из-под брючин — порыжелые деформированные толстоносые сапоги — бывшая роскошь былых времен. Или идти под руку. Под руку хоть не упадешь. На ее таких же бывалых сапогах сильно потерялась подошва, они безобразно скользкие, лак потрескался, подтекают. Хоть бы на старости лет помягчали — железные и холодные. — Парочка, однако.

— В этом «Последнем переулочке» я был в отделении

милиции в прошлый раз. Не дали, гады, поучить англичанку, как надо петь. Да. Шелли.

— Ты что, этим гордишься, не вижу повода.

— Куда мы идем? — А хоть подбегать-подскальзывать неудобно и переговариваться через его плечо и мелькающие мимо головы тоже неудобно, зато она может относиться ко всей фигуре сразу — от подметок до непокрытой головы, и к слоновой громадной сумке в красной руке. Под руку же — только подпрыгивающий и отступающий назад профиль. И под руку — жесткая рука ей в ребро — сильнее действуют слова. Но она не хочет, чтобы действовали, не хочет попадать под влияние, и убеждаться, и так легко подпадает и убеждается. Лучше относиться к нему ко всему: к складкам на джинсах и куртке, к движению лопаток.

Должен взять реванш, реваншист. Утреннего он ей не спустит. Она кричала на него утром, орала, правда, совсем из-за пустяка, хотя из-за любого из событий недели можно было спокойно убить и посчитать, что сделано доброе дело, за такое и посидеть с полжизни можно. Но страшно... Если с милым рай в шалаше, то каков же ад? На этот раз пустяк — выпитый лосьон. Кто его вылакал — он или кого приводил в ее отсутствие. Ключ у него уже два года. Никогда этого не было. Всегда дождался, готовил еду, вытапливал печь и делал многое, чтобы сделать и чтобы было хорошо. Сейчас приходит в ее отсутствие, чтобы съесть все, напакостить, оставить затоптанные густой грязью полы, грязную посуду, невымытые стаканы, чашки, пиалы, развороченную, замусоренную, в пепле, постель, истратить весь чай на черной крепости заварку. Мой милый друг, скотина, которую могу убить, но не убью. — В сумке картошка, сапоги из ремонта, два яблока, купленных, чтобы заесть изжогу, кое-что из вещей для химчистки. Третье яблоко она съела на эскалаторе, хвостик и прилипшую к десне пленку от сердцевины сплюнула на ступени, только сейчас это заметила, вернее, вспомнила. Этих яблок, ей кажется, она сегодня не увидит. Тридцать рублей и расчетную книжку коммунальных платежей у него забрала... — Не имею права ненавидеть. Надо любить. За что его любить, свинья, не за что. Нет, и сейчас, и его. И дай бог или кто другой здоровья и счастья ему. Как спать-то хочется... И вот этому прохожему, мерзким дачникам-соседям с их гнусной собакой. Не будем про мерзких и гнусных, не надо, без этого. Дай бог им здоровья.

— Куда ты меня ведешь?

Вечерняя молитва за всеобщее счастье и здоровье, чтобы не взбеситься от злобы. Слишком многих надо ненавидеть. Израсходуешь всю ненависть на других, для себя не останешься. Лучше себя изнасиловать: возлюбите и пожелать им всем счастья и здоровья. Себя в последнее время тоже стала включать в список. И себе чего-нибудь хочется. В постели

молитва у нее получается лучше, там теплее, если укутаться да еще что-нибудь из одежды сверху кинуть. На улице сбиваюсь. Куда мы идем?

— Сейчас будем, Матильда, погода. Фиг они видели, твои... Рерихи. Третьяковская галерея! Я тебе сейчас таких рерихов покажу! Я хочу тебе показать, где спиваются лучшие люди. — Мой милый, ненаглядный ошибается: если «те» мои, то они, правда, фиг видели и никогда не увидят, а если «эти», то они, как раз... и больше него, может быть. Они и вправду пришли. Ну и что, пивная. Видела-перевидела, видала-перевидала. И под дождем, и под солнцем. Разве что в мороз не была. Куда мы идем. Скажет: «щас узнаешь». Сказал. — «Рерихи! Консерватория». — «Я не пойду, пока не скажешь». — «Будем пить пиво».

Сначала он кружил между центральной стойкой и боковыми с большой сумкой в красной руке. Она бессмысленно, след в след, кружила за ним. Потом он поставил ее в длинную очередь на размен. — Разменяй пока два рубля. Возьми сухек. — Кто-то вернул ей спички, которых она кому-то не давала. Обыкновенная загаженная пивнуха. Где лучшие люди спиваются и не лучшие люди, вроде нее, на экскурсии. Зимой пол в пивной очень похож на зимний цементный пол в свинарнике. Не в обиду ни свиньям, ни людям. Черный, грязный, ледяной, схваченное морозом пиво, слюна, пена, пепел, спички. В свинарнике на полу тоже прихвачена морозом солома, гуща, стекает в желоб моча... Как только морозывается в серую урну или пластмассовую зеленую корзину бутылка, подбегает рысью зоркая бабенка в рабочем переднике и подхватывает ее, чтобы не перехватили проходящие и уходящие. Ну, пьют пиво с водкой, цвет в кружках — мочи, раз уж про свиней. Свиньи ни при чем. Пивом не пахнет. Оно смерзается под ногами, и на стойках, и в потрескавшихся под кружками лужи на столах. Пахнет окурками. Когда проходит милый, пахнет невымытыми волосами милого. Недели с две, пожалуй, не мыт. Пахнет согретой овчиной. Ни от кого так не пахло. Он подносит ей кружку. А еще пол-очередки на размен. Зубы не то чтобы ломит от пива. Да и не ломит. Но губы спекаются в «куриную попку» и нос в пене. — Ну, что, жажду утолила? Что так мало?

— Ее нет. Найди место за столиком.

Две недели пьет да выступает, где ж тут сходить в баню. Милый весь облезлый, красный ликом, исхудалый. Со скрежетом скребет в щетине. Знаю, что какой-то разновидностью себорейи разъедает под щетиной щеки. Стоит неделю не побриться. А тут две. Щетина скрежест. Ну и что дальше. Лучших людей все нет, или ошибаюсь. Все приличная публика. Приятные служащие и юные студенты вузов. Для душевного равновесия, что, дескать, не

успокоились, предпринимая прогулки «до дна». Так оно почему-то жить приятственней. А может быть, просто пива хочется. А вычислять людей скверно. Мой милый друг иногда истерично взвизгивает: «Не вычисляй меня! Хрен ты меня вычислишь!» Для громкости, надо бы целый строй восклицательных знаков. Вычисляет она его, однако, чаще, чем хотелось бы. Но вычислять скверно, раз говорят. И себя тоже вычислила. Подробности неведомы, но ничего хорошего не предвидится.

Можно убрать не только названия улиц, кафе — не имеют значения, но и Рерихов, и Третьяковскую галерею. Тем более что ни с тем, ни с другим ее знакомство не состоялось. Да и правда, что ходить, умно глазки пучить, если ничего не понимаешь, не дано. Или кажется? Названия звучат как-то не очень ловко. Похоже на введение столичных реалий: освоение столицы и области провинцией. Испить из всех кружек, из всех луж. Все одно не испить. Вот я какой. Все-то я знаю. И пивные, и выставки. И пью и гуляю. И еще умный. Но пивная...

Пивная. Пивные пижоны, сигареты, кой-кто с темной сигарой. С собственными глиняными, цветной глазури кружками. С банками от лечо, с половинками пластмассовыми мячей. А вот это, наверное, лучшие люди стекаются. Ведут себя очень прилично, приличней, чем шивые тилигенты. Интеллигенция и рабочий класс пока доливают в пиво водку до цвета мочи, выкладывают свою героическую закуску и поругиваются для порядку. Ругаются безотносительно и скучновато общаются. Позыркивают на впечатление окружающих, в частности, на ее впечатление и еще двух-трех экскурсанток. В других пивных и «ямах» было иногда и повеселей. Или мороз? Еще две-три бабенки навроде нее. Может, она и поджимает губы, она не знает. Со стороны виднее. Если да, то это тоже от мороза. Соспевает пора выпендриваться ее другу лучшему, единственному, может, худшему из худших, но все-таки самому лучшему. А из лучших людей, его знакомых с прошлого раза по Последнему переулку, уже кто-то принес бутылку. Кто-то, наверное, из них и выпил лосьон в ее отсутствие. Если только родному, любимому не захотелось изобразить-вкусить, каких глубин дна он достиг. И здесь — через час ему можно будет предлагать «Элладу», «Шипр», «Тройной», «Розовую воду». Закусив удила, он выпьет и будет счастлив собой и будет заламывать руки от полноты страдания и любви к лучшим людям и всему человечеству. И будет так замечательно сострадать, что заплачешь от тоски, любви и печали и желая проломить себе голову. Через десять лет он будет вспоминать это, млея от восторга. Если бы он мог спиться, спился бы. Только тогда этим некому было бы гордиться. Ко всему, все лучшие люди в этом мире что-то вытво-

ряли, и писали стихи, и стрелялись, резали вены, спивались и под действием героина бузили в самолетах над ночными аэродромами, пока не врезались в землю с ярким взрывом. Если бы ему там оказаться, в том самолете, не было бы предела счастью. Счастьем особого рода. Только бы потом воскреснуть и, стеноя и рыдая, повествовать о гибели товарищей и своей гибели. Если бы у него была дочь и он мог бы ее изнасиловать, он бы умер от восторга. Только бы потом воскреснуть и, рыдая у горячей, чадающей в самую душу, полуразваленной, негреющей печи, стонать: «Лолита, о Лолита...» Но та не была дочкой, и ее никто не насиловал. А дрова из печки — длинные доски, и нет топора, чтобы их разрубить — под них подставлен сломанный стул, свернутый набок. На печке жарятся сырые сапоги, т. е. «милые сапожки», и уже дымится спекшейся, химического каучука подошвой... у батареи центрального отопления — нельзя, нарушаются условия игры. Обязательно, чтобы была шелудивая печка, и не было топора разрубить доски, и чтобы температура ниже нуля, разве что жаром из печного жерла в самое лицо, и чтобы от рук, рвавших закуску и открывавших бутылку, пахло селедкой, и чтобы на глазах в ведре затягивало воду льдом. И если бы еще здесь можно было совершить кровосмешение и сказать — я убил отца, я убиваю мать, и — «любимых теряют, любимых губят», и чтобы под конец в эту печку врезался самолет с озверевшими от героина джазменами, и был бы полный орг... оргия, оргия.

Опять вычисляет. Вычислять вредно для здоровья. — Не хочу. Не могу. Желая убить. Дай бог, или бог знает, кто еще, ему счастья, здоровья, чтобы он остался сегодня жив и завтра жив, всегда. Когда б таких людей... увяла б нива жизни? — Пусть везет со страшной силой соседям-дачникам, продолбившим затылок своим топотом и музыкой, продвижения по службе их самонаилучшему догу, что кидается на нее с жутким «гав» с целым строем восклицательных знаков в пасти, и она замирает на пороге нужника, вцепившись-приклеившись к морозной железной ручке, и каждый раз умирает от страха в глубине его пасти. Пусть этот выродок, служащий с «дипломатом», что, погыркивая матерком, следит за ее от него впечатлением, достаточно ли он грязен и пал — или еще наддать, — будет здоров, счастлив и пусть его любит жена. Пал недостаточно и никогда не упадет, ни силенки, ни смелости не хватит, трусоватое гузно, худосочное ли оно или грузное — есть трусоватое гузно. Но так, не падая, еще гаже. Но если он ненадолго останется, то очень скоро увидит головокружительное выступление ее милого, пусть поглядит и за нее. Не хочет она при этом быть, не хочет вычислять. Но если им хочется так дна достать, пусть станут женщинами или

девицами и выпьют на улице пива в республике, откуда она приехала наниматься в рабство, за «угол». Да еще пусть станут ими лет десять тому назад, когда еще не понаехали туристы, и выпьют пива не из кружки отца или любимого деда, а из своей кружки, и в одиночестве или коньяка в загородном ресторане «Чайка» и закусят шоколадкой. Или на ипподроме «Дерби», и чтобы три кобеля на соседних стульях, и мощные усы, и ожиревшие прессы под плавками, и персты в перстнях, и глаза, в которых и дно, и там же покрышка, и все остальное, и бачок, чтобы сдернуть. «Может, и возлюбленному сердца моего расхотелось бы шастать по дну в поисках приключений и лучших людей, и захотел бы к папе с мамой?» Да, он видел больше, и больше увидит, и знает больше. Он занят самим процессом жизни и он родился или сделался персонажем, но теряет ориентиры и сбивается с одного на другое. А она только пытается останавливать мгновения не всегда прекрасные. Но куда все это. Зачем же так. Может, довольно. Довольно, хватит. Хватит — не хватит, плюнет — поцелует. А если и хватит, то преобольно. Дай ей бог или не бог самой сегодня унести отсюда ноги, оборвать когти поудачней. Завтра придется отдирать от и без того облезшей, задрипанной шубы присохшие селедочные следы внимания миленка. Шуба будет вонять ржавой рыбой. А плоская, очень широкая селедка — может, и не селедка вовсе — была очень свежая. Он разделял ее руками, пальцы все были в селедочном соке и пивная, замерзшая в лед, лужа с трещинками от опускавшихся кружек, тоже была в сером селедочном соке. Когда она будет уходить, он выбежит за ней и будет запихивать ее этими руками обратно в пивную, полуопустевшую от донных искателей в предошущении скандала. От полутычков, полупинков, полутаски у нее согреется спина и предплечья, и она поймает себя случайно на ощущении, что ей вдруг стало хорошо, лучше, чем было: спина радовалась теплу и мало обращала внимания на попутные эмоции. Воротник и рукава шубы будут жирно перемазаны селедкой.

У той, напротив, что из лучшего люда, точно такие же сапоги и тоже все в трещинах до самого колена. У той, что поставила первую бутылку «белой» и граненый, с трещиной стакан — неприятное дополнение. Уж все гадко, так хоть стакан должен быть целым, можно взять из любого автомата. А этот — треснувший, как в плохом рассказе. Когда он вскрывал первую бутылку, она протянула ему свой замечательный складной нож с блестящими лезвиями. Но он продолжал вскрывать пятаком: это же на дне, понимать надо, комфорту не приличествует быть, а нож — это уже комфорт. И буханку хлеба тоже — не ножом, а руками развалить на четыре лохматых куска, а потом выесть закуску из зажатого грязного кулака, как будто кто хочет

отнять. Никто не хочет. Но так надо! Раздирая селедку, и кишки рыбы, и головы, и обильный сок погрязнее размазать по столу, ведь дно, и так делают лучшие люди, наверное, так и полагается по сценарию. Кто его писал, этот гнусный сценарий. И сумерки окончились, давно уже скончались. А люди из лучших ведут себя настороженно-прилично, в своей черной речи, на три четверти из ниже пояса, спотыкаясь через извинения, адресованные неизвестно кому. У нее здесь очень простое имя — «Твоя».

А она и так знала, что нигде не умеет вести себя прилично обстоятельствам, и здесь она окончательно неприлична. Может, со стороны даже видно, что у нее поджаты губы, и что она тут хуже их всех, и давно уже ханжа — и она затеяла разговор, чтобы не приняли ее молчание за презрение, с алкоголиком дамы, лучшей из всех дам, что выставяла в тот вечер бутылки, та тут же разрешила: «Говори, говори, я не ревную. Он знает, сука, если он мне изменит, я ему нос оторву». Далее она перечислила, что она сделает с этим носом. Очень многое.

— Заткнись, закрой свой рот.

— Правильно, Нат, заткнись, чего ты, ты же хорошая баба.

— Хорошая у меня...

— Вот по этому случаю и заткни свой рот, дура, я сказала!

Сумерки окончились, бессмысленный и тусклый свет. Она сняла свой окурочок, еще не «бычок», с кем-то оставленной воблиной головы, старенькой бедной головы, пересушенной, полуистлевшей от обильно выступившей соли. С рыженько-серой выгладанной. — «Надо Наталье ответить, видишь, она угостила, неудобно». Это склонился к уху ее самый лучший в мире друг. Сегодня она корова, с нее можно сдоить тридцатник, что на коммунальные платежи. Водка, закуска. Почему не доить, если доится. Так и надо. — «Не дам». — «Не жидись, надо добавить». Куда мы идем. И сдоить никогда не поздно.

— Выпей. Согреешься. — Не могу. — Выпей. — Сколько смогу. — Сними свои идиотские перчатки, что ты в них вцепилась. Думаешь, на дамочку похожа? Ошибка-а-ешься! — Не могу снять, мне холодно. — Я же говорил, что обольешься. Выпей еще. — Не хочу. Не могу снять, мне холодно. — Выпей. — Не буду. — На, Наталья, пей... Михаил Петрович, ваша. — Сам выпил три четверти стакана, как налил. Дальше — всё. На сегодня — всё, дальше она уже знает. Конечно, не подробности, но сумки она больше не увидит, картошку почистит, сварит и съест кто-то другой, сапоги доносят, тряпки сдадут в химчистку, а потом заберут из химчистки. Два яблока, что на дне, съедят. Лучшие люди ведут себя смиренно, только разверзают рты и говорят, что говорят. На

том, на чем говорят. Следовательно, их достоинств она уже не разглядит, не успеет, пора заканчивать экскурсию. Чтоб ему... дал бог здоровья, счастья и долгих лет жизни... Нет, лучше она домолится в мерзлой постели,— печь растапливать уже не будет,— под ворохом одежды сверху. За него, за лучших людей, за дачников, за домоуправшу, за грядущее лето, а потом за всех, кого успеет вспомнить, из тех, кого лучше бы не вспоминать. Так неплохо засыпается.

Наталья, со своим полным отчеством и почему-то иностранной фамилией, пошла по то же самое, по «белую». Исчезла. Еще он ей сообщил, пока Наталья выходила, как одно из лучших ее достоинств, что она лишена родительских прав, хоть и часто говорит: «А девка у меня — красавица!» И еще, что она, Наталья, больна туберкулезом. Не знаю, может быть. Остался один ейный алкоголик. Он начал оправдывать надежды, начал прояснять понятие красоты, но тоже не удивил: так полагается. Ни до чего иного не договорился, как до тех самых Третьяковской, Консерватории, Большого театра. Помянул Чайковского. Она подсказала ему еще кого-то — радостно закивал — принял. В корни вывел ансамбль Александрова. О Рерихах, слава богу, наверное, никогда не слышал. Хватил Наполеона, потрянул за грудки, и Россию сюда же. Спотыкаясь в своей речи через извинения за нетребности. Все, разумеется, умно, пафос опять же, но мало понятно. Больше он ни про кого на тот случай не знал. И не надо знать. «Россия, а? Третьяковка, а? Чайковский, хор им. Пятницкого и Наполеон... ай да Россия». Конечно, немного пространный. На руке дорогие часы, японские. До этого миленок с гордостью поведал ей, что Михаил Петрович в отпуске, отпускные пропил, сейчас на иждивении сестры. Три дня назад, на его глазах, она пыталась проломить репродуктором братнюю голову. Очень симпатичное дно и часы хорошие. И можно пить водку. Такие ласковые, такие бритые. И пока смогут, будут держаться в рамках приличия. «Нат» вернулась и с лихостью выставила на стол три бутылки дешевой водки. «Нат. Ну ты чего. Чего ты. Спрячь. Убери. Ты же посмотри, кто перед тобой. Я же соседка твоя. Смотрю: тебя дома нет. Дай пойду, думаю... Нат, убери, говорю, спрячь... —» — Убери сейчас!»

— Наталья, Нат, Нат, Нат, сейчас милиция придет. Ну отберут ведь. Ты чего, не узнаешь? Ты погляди, погляди, кто перед тобой стоит! Нат, че скажу...

Две бутылки Нат все же убрала в свою сумку-нищенку. А одну пришлось заталкивать в карман куртки лучшего друга, она помогала. Он же задушевно, очень задушевно сказал: «Ты с водкой поосторожнее. Здесь могут за нее проломить голову». — Да, могут. Из всех, кто здесь собрался,

только он может. И то... Опять пошел в ход пятак, может быть, тот же самый, а может, сосед его по карману.

— Пей — Не буду — Ты же замерзла — Вот заботник — Согреешься, пей — Нет — На — Нет — Сними перчатки — Не буду — Михаил Петрович, пей — Чего твоя не пьет? — Будет.

— Нет.

— Нат — Нат — Чего Нат? Дайте сушечку. Я на бюллетене: хочу и пью.

Соседка ее завилась в первом приступе блаженства вокруг стола: «А ты такой холодный, как айсберг в океане... Дайте селедочки».

— Без меня тебе любимый мой земля мала...

— Земля мала, как возду-ух, — сторланила Наталья с противоположной стороны стола.

— А где твой любимый? — У меня нет любимого. Я пою!

— А без тебя мне любимый мой? Что? Каково? Увы, слабо, худо. Из разговора сбоку услышала: «Да, пойдём... И Наталья. Моя тоже... И пить моя будет... Куда скажу, туда и пойдет... Когда я захочу...» — Подхватила сигарету с рыбьей сухой головы, обошла стойку — к выходу. Вылетел в несколько прыжков следом по унавоженному цементному полу свинарника. На перегородке в свинарнике сидел кот. Кот жил со свиньями и ловил в соломе мышей. Наверное, тоже прыгуч был. Уже на улице милый друг схватил ее за руку, резко развернул к себе — «Не вернись» — «Нет, вернешься», — потом про то, что она его еще не знает, так узнает, что в нем скрывается гангстер высокого полета. И пить она будет, а не будет — он разожмет ей пасть и зальет в глотку, чтобы не выпендривалась. Что она мацает свою дешевую сигарету. Он свернет ей шею, если что. И никто не вступится, она его еще не знает. Он же сказал: не буди в нем зверя (невыносимо пошло), «вперед и вверх! А там... Ведь это наши горы, они помогут нам!» И пусть не смотрит по сторонам, никто ее не пожалеет, и никто не поможет, они все его здесь боятся, и она тоже. Она его еще не знает... Здесь все свои люди. И не таких видали. Никто не подойдет, и офицеры слиняжут, здесь все переодетые милиционеры, и уйдет она только с ним, если уйдет. Он ее изобьет, если она не верит. — От полупинков, полутычков, полутаски у нее согрелась спина. Уже в пивной, внутри, произошел еще один разговор о красоте. — «Михаил Петрович! Ты знаешь, кто перед тобой стоит здесь? На меня погляди! На меня!»

Михаил Петрович толковал что-то свое.

— Михаил Петрович, ты знаешь! Кто! Перед тобой здесь стоит? Михаил Петрович, ты знаешь кто! Перед тобой здесь! Стоит?!

— Михаил Петрович, ты знаешь, кто перед тобой?

— Ну.

— Перед тобой стоит жрец красоты. Да, я жрец красоты, не выдержавший ее сияния, сломленный ею, опаливший глаза. Перед тобой жрец красоты, ослепший от света ее, бессильный перед ней. И я бессилен перед ней!!! Люди — неразумные дети. Я люблю людей. И знаешь ли ты, за что я люблю людей? А ваш Большой театр и Третьяковскую галерею я... хоть пусть Дрезденская будет ... искусство для бедных ...ее так!

Никто его уже не слушал. Михаил Петрович уже сам что-то говорил Наталье, хихикал ласково, пунцовыми влажными губами обсасывал селедкин хвост.

А он говорил правду — он жрец красоты, и любит людей, и лицо у него красное, и языки псориаза или экземы ползают сверху и снизу на веки. А она уже смирилась и сломалась, что с нее взять. Еще там, на глазах у тех людей с перстнями на пальцах. Вот его спина. Худые лопатки двигаются под курткой, красные кисти рук дирижируют речь. Он говорит, а соседка Наталья улыбается и, млея от тепла третьей взятки, поет громко, но в себя: «Я! Ты! Он! Она! Вместе целая страна...»

— Жрец — это, видимо, от слова жра-а-ать! — начал скандал жрец красоты.

Самый, наверное, момент. Хотя, может быть, и самый худший. Но — сапоги поносят, картошку съедят... Ноги не гнутся, и железные как бы. От холода, от страха, от порции водки. В каком-то подъезде, на каком-то этаже выпустили через черный ход коммунальной квартиры, а оттуда в какой-то темный переулок. — А-а-а. Вот и Последний. Как предсказание не сбылось на этот раз. А вот и улица с хронически покалеченной неоновой рекламой. Вот и фонарь, от которого, как от печки... Сейчас не будет молиться. Не будет молить кого ни то. Все потом. Потом, под одеялом. Сейчас некогда. Ее дело сейчас добратся: как-нибудь, пьяненькая, доедет. Все-таки полбутылки водки носится в крови, особенно в голове, прямо со скоростью поездов метро. И чтобы всем было хорошо. Морализировать тоже не будет. А молиться — так, скорее всего, лучше засыпать. Давно знает, что она ханжа, хотя — с чего бы. «Хочешь быть чистенькой, а мы — грязненькие? — любит повторять дружок-жрец. Знает, что чистенькой быть очень плохо и бесстыдно. Падла, быдло, обрыдло. И просто нельзя быть честному человеку. И в этот раз надо было идти до конца: до отделения ли милиции, до свального греха, до путешествия по шпалам ночью, в мороз, — в общем, до конца ситуации. Но до конца уже не раз хожено, она знает, что в конце конца нет. Что в конце концов все вновь себе продолжается как ни в чем не бывало. — «Не жалею и не

прощаю, жалеть и прощать не буду, на это тоже надо иметь право. Надо любить». — И вообще, это ее личное дело. Имеет право. — «Может, это у меня форма ненависти такая!» — но это ее личное дело. Но самое главное, самое главное — не разговаривать вслух. Тихо. Она еще не в своей конуре. В конце концов, она сбежала, она чистенькая. Падло, быдло, обрыдло.

Вот и сюжет, и фабула, и краткое содержание: жизнь, которая дана. Ставит все на свои места. И чужое место занять невозможно. Но трудно понять, где твое, и тщишься, и пыжишься, и пыхтишь, и пытаешься избыть, изменить линии на ладони — но это редко кому удается, — и думаешь бог знает о чем в своем сопротивлении. И о хлебе насущном, и о зелье из него, и почему все так устроено, и о своих поедаемых братьях. Вот они — братья: отец твой и мать, и дядья с тетками, и склочные соседи, и разводящее трепет начальство, гнусно пользующееся авторитетом и отдающее далеко не все силы на благо, дело и служение, — все их отдать, к стати, и невозможно, как же без них жить? — и избывшие стыд побирушки, и движущиеся по эскалаторам рои незнакомцев. Не желаю этих братьев. Не хочу. А они все равно братья, осмысленные и бессмысленные, выпадающие из общего инкогнито и навсегда остающиеся в нем, терзающие и терзаемые. Это тщета, это попытка уйти от своего места, незавидного, а жизнь наводит порядок — распихивает, засовывает — знай свое место, раб ли, червь ли, властелин иль кто другой. Иначе будут вытравлены линии с ладони и не увидишь и своей глухой судьбы, но только одно — артикул. Да.

И выхожу один я на дорогу... Меж камней же с ревом сбрасывается городская канализация. Чайки кружат в поисках легкой добычи, и рыбы плывут полакомиться, и злаков прозябанье, и гад подводный ход, и умелые рыбаки кучкуются здесь у широко разлившейся канализационной дельты, и подплывает тюлень с жирным загривком, похожий на жирного пловца, что после зарядки и бега трусцой охлаждает свои разгоряченные члены и поправляет позвоночный столб морской стометровкой. И фотограф Дик подкрадывается и делает свой прекрасный снимок «Закат на Каспии». И выпускает памятный буклет, и думается при виде этих открыток с видами: вот те на! А вдруг и вправду так прекрасен этот мир? И даже этот город. И низкие черные розы на набережных, и вдруг ставшая прекрасной главная площадь, и на ней — разносящие заразу глупые жадные грязные голуби стали вдруг птицами мира. И пыльные изнеможенные, надорванные за долгую полуголодную жизнь акации, вдруг преобразенные на снимке в изумрудно-зеленые кущи, и орлинокрылые в бронзовых бурках бюсты поэтов на красных и черных мраморных цоколях. А

может, и правда неважен тот смрад в подъездах и дворах, многооттеночный запах горящих помоек с окисшими арбузными и дынными корками, обгоревшими сырыми газетами, подмоченным помоечным соком строительным мусором, с дохлыми кошками. Вонючие испарения с рыбзавода и мясокомбината, прокопченные железнодорожные переезды, обсыпанные копченой килькой, и полопавшиеся от жары дохлые собаки на переездах. Почти гурманское разнообразие. И никто, кроме тебя, не знает, что на снимке увековечена дельта городской неочищаемой канализации — темнеющее небо сине-свекольного цвета, золотящаяся ртуть успокаивающейся на ночь воды, рыбаки в клетчатых рубашках — кто на камнях, кто в резиновых бахилах, — зайдя в море. Тонкие черные стрелки удилищ, тяжелое солнце край вод. Чайки, развернувшие крылья. Так кого же есть?

Так до конца и не выяснить отношений со своими трапезами. Их накопилось — невозможно сосчитать — начиная с младенческого шестиразового кормления, и продолжается, и продолжается, и сегодня, и завтра — периодичность неостановимая, как дыхание, разве только смертью или очищением перед смертью. А выяснение отношений с бытием посещает пореже, более степенного ритма, и не такое жадное, как бег к розовому жаркому. А до начала выяснений необходимо ублажить свой прекрасный волчий аппетит — вот чудный божий дар. А потом на сытый желудок подумать свою заветную думу. Выйдешь к морю, к лагунам с гнилой водой, с кольчатыми волосатыми червями на дне, на четвертинки и половинки этих длинных червей отлично ловится кефаль, довольно крупная кефаль, ее полость — брюшная полость — выстлана черной неаппетитной пленкой, пленку надо снимать. Внутренности вынимаются на газету, это кошке, кошке тоже праздник, пленка соскабливается. Прекрасные длинные кефали выкладываются в синий таз, в тазу филе трески из магазина, жалкие дары из «Даров моря», а сверху кефаль, а рядом — два страхолюдных морских бычка, неблагородная бросовая, но, несмотря на — вкусная добыча. Бычки хватают за пальцы своими круглыми губами, когда их рвешь с крючка. Что филе трески из магазина «Дары моря», известного непечатным анекдотом, по причине полного отсутствия даров и изобилия работников торговли женского пола, — этого никто не узнает. На снимке прекрасный улов. Кефаль жарится, филе трески жарится, бычки жарятся. Кефаль пахнет нефтью, бензином, керосином, и кошка не ест рыбы потроха, она кошка, никакой гадости есть не будет. А кефаль, пахнущую бензином-керосином, дочиста съедает хозяйка кошки. Вряд ли только из уважения к рыбакам. Добро жалко. Лишь кошка истинная аристократка. Кефаль пришла после шторма со стороны нефтяных

вышек. Как она еще живет, эта бедная кефаль. Или она начала перерождаться. Снова выйду к морю подумать о праве на пищу, летающую, плавающую, прыгающую, ни о чем не подозревающую. Придерживая в горле нефтяную отрыжку, для разгона почну думать о мироздании, вперюсь в линию горизонта (пытаюсь проникнуть), сзади, за плечами пытаются пастись овцы, большое стадо овец для мясокомбината, с резиновыми метами в ушах. Уж закат, уж пытается тянуть вечерний бриз, уж пытается-тщится толстый фотограф с бродячей фамилией Дик над снимком «Закат на море». «Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у моря».

Пугливо озирается на стадо маленькая собака. То жмет к покровительственным хозяйским пяткам, ожигая неожиданным теплом маленького тельца, то выбрасывает себя в злобном лае, то садится на хозяйскую ступню — не поймет, в чем дело: бояться или злоститься. И дрожит, как в трясучке. Очень нервная пинчерка.

Нефтяная кефаль переваривается в желудке. Бычок обманом отгрызает наживку для кефали из расчлененного кольчатого червя с лески рыболова, стоящего в высоких резиновых сапогах посередь вод, стоит недвижно, чтоб не залилась вода за отвороты, и то ли охлаждает, то ли согревает себя, прикладываясь к бутылке, просвеченной закатом. И все мы тут пытаемся, пытаем самих себя. Или не сами.

В ауле предгорья пожилая городская женщина, вдруг сделавшаяся сельской учительницей за полтора года до пенсии, рубит во дворе корявые, легкие сучья, испятнанные желтым лишайником. Лишайник растет красиво. Если поднести к самому носу — крошечные коралловые веточки. Закат. Небольшой топорик с кривой рукоятью тюкает по хрупким веткам. На кривом во все стороны дереве сидят три толстых индюшки и все три одновременно моргают в такт рубке. Большая часть индюшек, выпасающихся самостоятельно на улицах поселка, кривые, т. е. хромые. В своих прекрасных индюшачьих снах они падают с деревьев и вывихивают свои вкусные ножки. В Гунибе в сумерках уже агрессивные гуси возвращаются домой. В Тляр-ате под высокими соснами у края обрыва сидят Зулейха Магомедовна или Рукият Нурмагомедовна и бросает мелкие камешки вниз. Так глубоко. Все гуще сумерки. А внизу пасутся коровы. Маленькие сверху, как стадо подростков-тараканов.

Так сказать, колорит.

А над «природой средней полосы», «которую так любил», любит и будет любить Некто, во времени протяженный, многоликий, но всегда очень известный, славный, либо принадлежащий к верхушке иерархии, увековечивающий

свою любовь добротной дачей, — а над природой средней полосы, над пейзажем с березкой, солнце еще несколько часов будет стоять в небе. Грибы там растут. Самые что ни на есть — и поганые. Может, неоговоренные ни в одном из древних завещаний, но тоже братья. Только за шампиньон могу поручиться — замечательный гриб. Не хуже вашего белого. Уйма их переведана-собрана на городских задворках, возле помоек, на тротуарах из-под вспучившегося мягкого асфальта, в горах после дождя. А остальные, чисть-нечисть, хоть белые, хоть зеленые, хоть в радужную полосу — все безымянны. И обложись десятью справочниками, но в руках не держано, на зуб не пробовано, не обнюхано, не облизано. Под елкой собственноручно, собственноглазно не найдено. Да и растет ли кто-нибудь под елкой? Вот и вереск... Не «Вот», а просто «вереск», некое слово. Кто такой? Почему не знаю? Звучит красиво и обязательно, и нужен. Без вереска чьи ни то рассказы не были бы рассказами. Так просто: «Цветет вереск», — и уже рассказ почти готов. Кто такой? Как выглядит? — Низкорослый кустарник; цветет в конце августа — начале сентября, цветы мелкие, фиолетово-голубые. — Ну и что? Кто такой? Может, тридцать раз на дню мимо него — ведь не скажет, не верескнет сам по себе. Безымянная трава, безликое слово. Вот и зверобой. И такой, и сякой, и «на территории СССР до 300 видов», держишь в руках две веточки: цветы похожи, тычинки похожи, а листья на веточках разные. По времени цветения тоже подходит. И вроде как в червоточинках, если на свет. Ну и что? А кто его знает, может, в руках и не зверобой вовсе. Ну и ладно. Береза, дуб, клен, лысые с севера сосны; елки торчат прямо из земли, размеров громаднейших. Поначалу трудно поверить. Там, у «Заката на море» в крестовинке на полу или в ведерке с песком «маленькой елочке холодно-зимой», из лесу елочку взя-ли-мы-до-мой». Лысенские, и бледные, и мятые из товарного вагона — вот и все познание. Тополь, куда ни шло. Пирамидальный — это свой, южный. Родную акацию — так кто ж ей не знает? Душистые сладкие цветы, коричневые рожки с медовым запахом. Или это не акация, что с рожками? Пальму — пожалуйста, за километр. Видели, знаем. Почему-то запомнилась катальпа. А «сережка ольховая, будто пуховая» с какой стороны растет, с южной или северной? Ясень? Осина? Бук? Калина, бузина? Как пахнут антоновские яблоки? Что пахнут «отнюдь не демократически» — выучили, спасибо. Но как еще? Какие на вкус блины с брусничным вареньем (кроме того, что их любил Шалапин)? И в этом бурно произрастающем сене только облысевший одуван может честно заявить о знакомстве. Как назван мир, спрашиваю. Встречная старушка не знает, растет ли здесь калачик, и даже что за

зверь такой не знает. А старушке ого-го. А такая с виду старушка — простая, в платочке. Вот конский щавель одна добрая душа опознала, да и то не сразу. Один раз самостоятельно нашлись целых две маленьких земляники, одну наполовину объел муравей, — большое личное достижение! никто, главное, не наводил, не показывал. А старушки — те ничего не знают, как не жили. Да и нечего их попусту задерживать. Они в церковь спешат, в «Памятник архитектуры XVIII века, охраняется государством», к заутрене.

Любимый папа в офицерской шинели. Шинель — разная — с ветреной улицы, из мокрой снежной метели, сырая от дождя. Покоробившийся от ремня португалии погон, холодный и красный от ветра нос осторожно плющится о теплые щеки любимых деток.

Планшеты со всеми их отделениями и прозрачным целлулоидом. Плексиглас масштабной линейки, ее ромбы, точки, кружочки, зубчатый край; перья для туши, заточенные кедровые карандаши: желтые, красные, зеленые. И непочатые коробки «Тактики». Рейсфедеры, немецкие чертежные наборы, логарифмические линейки, стопки математических справочников. Пустая кобура от пистолета. Узкие, широкие ремни заполировались до блеска. Мел или, как выяснилось позже, какой-то асидол для чистки пуговиц. Пуговиц целые коробки — из анодированного алюминия, нового образца и старые, и есть морские с якорями. Звездочки, винтики, артиллерийские пушечки с мягкими зажимами для петлиц. Куски ткани на подворотнички и портянки, старые сапоги, галифе, фуражки — старые и новые, парадные и полевые. Новая форма, старого образца френчи. Чемоданы с рубашками, подкладочными тканями, шинельным сукном. Ватники, голубоватые ушанки, теплое нижнее белье — кальсоны и «вшивники». Фуражки изнутри просалены по донышку, по кожаной закраине, треснувший козырек, вытертый бархат околыша. Все замечательно пахнет, очень надежно и по артикулу. И что там черный лягушонок, тощий, вялый, из ведра с мокрым углем на железном листе у печки... Приехал любимый папочка, из каких-то там гор, жданный-нежданный. Никогда неизвестно, когда придет. Можно только ждать-не ждать. Офицерской жене и офицерским щеночкам-отпрыскам. И уезжать — среди ночи раздастся стук, солдат в жестких гремучих сапогах будет сидеть в комнате у стола, широко расставив ноги, не снимая шинели. Только-только время одеться, перецеловать проснувшихся-непроснувшихся. А под чьей ногой погиб лягушонок, черный, вялый, слабый, принесенный из подвала в ведре с углем, никто не знает, а если знает, то не говорит. Поутру на железном листе у остывшей печи еще видны следы угольной

воды от его тощего задка и лапок. А отец уже снова в «своих» горах, на «объекте». Летом он привозит больших и маленьких черепах в забаву детям. Маленькие с хвостиком величиною с брошь. Они цепляются своими полупрозрачными коготками за одежду. Дети ходят, напрягая грудь, с прицепленной к ней черепашкой — по очереди все детское население дома, весь двор, вся улица. Черепашка долго держаться не может, падает, чаще всего мимо рук на землю или на каменные ступени. Он падает на камень еще много раз, этот черепашонок. Иногда его еще мягкий панцирь заворачивается, показывается черепашня кровь. Все это длится, пока не наступает время обеда. На обеденном столе черепашонок ползал, все норовя свалиться на пол, или прятался за хлеб. Если этой рептилии величиной с пятак удавалось прожить несколько дней, то по центру панциря начинали отшелушиваться мелкие чешуйки от частых ударов оземь, и появлялось занятие — отколупывать чешуйки. Лапки слабеют, за одежду больше не держатся. Любопытным не разрешается долго держать его в руках, все сразу ясно — он у тебя не хочет, отдай... Его пускают плавать в таз с водой — ему жарко, и к рыбкам в аквариум. Плавает он ловко и красиво. За это надо поцеловать. От поцелуев он прячется, не разделяя радости. Тогда под панцирь запускаются два пальца, и головка с зажмуренными глазами вытягивается наружу. Вдруг кажется, что он едва не откусил рыбе хвост — выловить сачком, надавать щелчков по носу и лапам, чтобы неповадно было. Черепашонок снова прячется, но весь спрятаться он не может, да это ему и не помогает: ноздри, которые дети обычно прочищают тонкой иголкой, все равно выглядывают. К вечеру или на следующий день черепашонок обычно пропадает или гибнет. Но черепах там на объекте много, они там, наверное, скачут видимо-невидимо. Каждое лето детям привозят все новых. Большие черепахи мрачно и отчаянно таранят головой плитус у стены, загребая толстыми лапами, и так могут очень долго: час-другой из угла все слышится шкрябанье когтей о пол... На ночь их переселяют во двор в ящик с травой, откуда их почти каждую ночь воруют завистники, если успевают подсмотреть, где спрятан ящик, или черепахи убегают сами. На следующий день их ищут и оплакивают. Иногда они находятся под большими камнями или под помоечными ящиками, то-то радости! Иногда с проломленным панцирем. Но они еще долго живут, только расколовшийся панцирь все «дышит», если придавить, никак не срастается, и каждый раз все выступает кровь. Во дворе на расхаживающих черепах лают собаки.

Еще был как-то замечательный лисенок. За него тоже все знали: чего он не хочет и о чем просто мечтает! Но

ему везло больше, чем черепахам: он умел прятаться. Как-то ночью он проел большую круглую дыру в майке спящего гостя, прямо на груди. Гость целый день очень потел с непривычки к южному солнцу — и края дыры были неровные и обмусоленные: лисенок всю ночь сосал эту несчастную майку, вспоминая, наверное, свою лисью мамку. Взрослые сказали, что он опасен и может ночью перегрызть горло. Его отдали домовладелице, у которой был большой сад за забором. И там в саду его загрызла через несколько дней русская борзая, собака гостившей хозяйской дочери. То была, наверное, самая лучшая охота этой борзой, а может быть, ее единственная настоящая охота. Домо- и садовладелица вдруг оказалась очень странной женщиной: она хоронила лиса в большой коробке от торта, обшитой розовым атласом, с настоящими розами. За скорбной старухой в трауре приехал мотоцикл с коляской, и она укатила с коробкой в руках. Траур она держала месяц. Через несколько лет в доме погибло еще одно красивое животное. Детей учили любить живую природу.

Офицеров в гарнизоне было много, и у всех были жены и дети. Привозят в городок черепах и птиц. И кроликов, наскочивших на проволоку под напряжением. Из кроликов готовят жаркое и тушат в сметане. Хозяйственных кролиководов остальные офицеры презирали. По вечерам отец иногда говорит: «...ый опять повез домой кроликов». — «Вот же ж ...ый!» — отвечает мать. Чем они так брезговали? М. б., тем, что на проволоку мог наскочить и человек. А вообще, это были очень дружные офицеры, и пахло от них очень похоже: солью, потом, кожаными ремнями. Когда бьют кожаными ремнями, это очень больно, от них остаются белые полосы на коже, потом полосы вспухают и краснеют, а там, где пришелся край ремня, рубец вспухает сильнее всего и еще долго остается белым, потом начинает очень чесаться, а к концу недели шелушится кожа. Широкие ремни гораздо лучше: от них не сразу больно, только на следующий день кожа лиловеет и болит как синяк. Это ничего. А иногда даже не лиловеет. И широким ремнем лучше, чем рукой. Тонкими била мать, широкими отец. По вечерам, когда полагается спать, но еще не спится, а притворяется, отец рассказывает, как и где чешется перед строем командир дивизиона; как сегодня солдат обозвал офицера заглазной кличкой ...ый, и как солдата наказали, но все офицеры были очень довольны и смеялись во время обеда в столовой. Еще он рассказывает, как они выезжали взводом закупать продовольствие, как продававшие им овец и коров брали деньги через подол одежды, чтобы не осквернить себя прикосновением. Как из-за ливня и оползней они не могли сразу вернуться, перемогались и вялили в тени на ветру мясо забитых жи-

вотных. Как женщины в селении пекли чуреки, прилепывая их к раскаленным стенкам печи, и, подняв подол, замешивали тесто на заголенных ляжках, сидя на полу. Как угощали их этим хлебом и как они, голодные, отказывались брать, говорили, что сыты. Тогда им щедро давали хлеб с собой, на дорожку. ...ый ел хлеб, нахваливая, и пил водку.

Вообще, все офицеры прекрасные люди, все они одинаково щипают двумя пальцами за щеку или хватают за нос, иногда очень больно. У одних пальцы пропахли табаком, у других пахнут дорогим одеколоном, у третьих просто воняют. Проходило сколько-то лет, кто-то из офицеров грязно разводился с женой. ...ый, и не он один, обошел товарищей в очереди на квартиру. Кто-то интригует для получения лишней звездочки на погоны: подходит срок выслуги, 25-й год, из армии уходить не хочется, но кто же оставит? Очень много шашлыков приходилось устраивать. В гарнизоне стрелял в себя солдат и выстрелил удачнее, чем сам хотел. Понаехали разбираться из округа, офицеры ходят черные с лица, вот уж скоро пенсия и последние повышения, и все шло так хорошо, а он... Офицеры понемногу оседают в городе, обустроиваются на «гражданке». Кое-кто старается подольше сохранить погоны. И хотя многие из них давно больны, «на гражданку» мало кто торопится. Один из первых списанных, неплохо будто бы устроившийся в новой жизни, вдруг повесился на штатских подтяжках. Жена ли была виновата, тоска ли одолела, так до сих пор и неизвестно. Все офицеры дружно осудили покойника, особенно суров был их приговор из-за того, что он, забыв о чести офицера, повесился на высоком бачке от унитаза. И еще: это был не ...ый. А еще всех служивых возмущало, почему у ...берга через год гражданской жизни во всех комнатах появились хрустальные люстры. А у жены полный набор бриллиантов, и еще эта жена смущала офицеров при встрече даже не лучшимся аграфом, а декольте на последнем пределе. Бедняги не знали, куда деть глаза. А его дочь («эта сыкуха») одевается лучше офицерских жен и дочерей, вместе взятых. У высококравственных офицеров были почти одни только дочери. Дочери же несчастливо выходили замуж за штатских — гарнизон расформировали, — а потом возвращались под родительский кров уже с детьми, под упреки седеющих офицеров. Офицеры выходили в отставку. В квартирах стояли одинаковые черные гробы пианино и книжные шкафы с собраниями сочинений с печатями «Библиотека в/ч...». А еще офицеры хотели быть равны и «на гражданке». Из них получались в основном худые, педантичные, желчные начальники отделов кадров и расслабленные военруки в школах: жирные, неопрятные, в потертых кителях, они любили помогать

старшеклассникам целиться в мишени на учебных полигонах. Их судьбы расходятся. Кто-то, легко отрешаясь в свободном полете, планировал в негласные отцы города, в местные мафиози. Покровительственно улыбаясь, кивал из окна новой машины бывшим сослуживцам. В полном блеске своего преуспевания. «Ничтожество, он же ничтожество, он всегда был ничтожеством. Худший из комсомола. Из-за его тупости и халатности... он не мог сделать даже правильного расчета... элементарное незнание математики... Вы представляете, что могло быть?» — и они с удовольствием вспоминали, что произошло однажды из-за «этого», такого довольного собой нынче. «Как же так?» — радители запятых и точек, порядка в канцелярских бумагах, предержатели сейфов с приказами и постановлениями, дыроколов, кнопок и скрепок, они не хотели понимать. Их хотение, их нехотение были их частной собственностью, и только.

Их дружба распадалась. Но они встречались иногда. В парках, на прогулке, у моря, под сломанными осенними тентами, перед омовениями после бега трусцой. В длинных официальных коридорах, на торжественных собраниях, демонстрациях и парадах. На похоронах. Здесь было снова прежнее братство, как прежде. Их армейское братство. Жестокий, железный стук в дверь, почти забытый звук, хотя над дверью кнопка звонка. «Собирайтесь. Умер Поехали». Никогда не уплывали на кладбище одинокие гробы. Офицерские жены и дети мобилизовались в обязательном порядке для соболезнования. Все было четко распределено, чтобы скорбь выражалась несколько дней струйкой, по струнке. На кладбище пугающий своей настоящестью залп в небо, сотрясающий печенки, селезенки, души провожающих. Канцелярского текста надписи на лентах венков из живых цветов, сочинить лиричней — почему-то стыдно и несолидно. Замечательные офицеры.

Офицеры отходят в мир иной, нестарые еще офицеры. Кто выдержал расставание с армией, с шестеренками и колесиками и мерным тиканьем, прибавляющим жалованья, седых волос, повышающим в звании; с тиканьем на погонах, давшим им жен, детей, иногда не своих (но и счастливую возможность не знать, что это не твои дети), квартиры, солидный пенсион и возможность попасть в дом престарелых спецобслуживания на самой старости лет. Кто выдержал расставание со службой и не отошел в первый десяток лет, те, может быть, проживут еще долго. Они очень заботятся о своем здоровье: бегают трусцой, ездят по санаториям подлечивать свое хворое нутро, посещают массажисток и физиотерапевтические кабинеты, прихватив обязательную шоколадку и зудя: «нам никто шоколадок

не давал!» В поездках закупают почти в промышленных масштабах медикаменты, которые невозможно достать в городе своей оседлости: упаковки таблеток, коробочки, тюбики, баночки с мазями и притираниями, брикеты лекарственных трав стоят стройными рядами на полках, пылятся и потихоньку испускают свой срок годности. Семьи вынужденно привыкают к режиму: ранним пробуждениям, дневному сну, раннему укладыванию по вечерам, к диетическому питанию. К первому и второму на растительном масле, пьют за компанию кефирчик на ночь, употребляют ежедневно свеколку для улучшения перистальтики, привыкают к паровым котлеткам и пророщенной пшенице, сменяемой молочным грибом, потом еще чем ни то. Привыкают к бесчисленным папкам с вырезками из журнала «Здоровье», со статьями о правильном питании, комплексами упражнений. К другим папкам: пленумы, съезды, сессии, постановления, уставы. К полкам, загроможденным мемуарной литературой, к изданиям и переизданиям всевозможных «Историй...», к военным энциклопедиям. (Если бы книги издавались по старинке, три четверти их оказались бы даже неразрезанными.) Привыкают или не привыкают к ежедневному недовольному всеповодному бурчанию, к мелкому террору и занудству, к непрекращающимся флюидам недоданности, недолитости, недопитости-недоедотости, недожитости... Кой-кто стал сладкоежкой и всерьез воюет из-за конфет и пирожных с внуками («а у штатских-то — мальчики»), живущими на полном дедовом содержании (штатские алименты их отцов можно считать недействительными — «Армии на них нету!»).

Армия выбросила с пенсией в зубы своих немолодых, за пятьдесят, детишек в этот жестокий штатский мир. Склад ненужной амуниции в квартирах. Ватные штаны, которые никогда не носились и носиться не будут, неиспользованные отрезки и армейское исподнее тайно мнятся офицерам — неперерезанная пуповина, связующая... Бурчащие за обеденным столом воители и ревнители постепенно укрощаются гражданской жизнью. Надо примениться, покориться: по-старому не будет, и надо заботиться о своем здоровье, здоровье — прежде всего! Армейский централизованный уставный мозг уже не для них — для других, что моложе. Армия все дальше и дальше. Чем невозвратней, тем гуще и терпче воспоминания. Жить без нее можно, жить без нее тоскливо. Все не так. Трудности и передраги, тревоги и готовности — все в преданиях, уже золотой, уже невозвратимый век. Объект законсервирован, а техника, которую они знали, устарела безнадежно — старички не годятся.

Что осталось? — Только втихаря любимые пшенная каша и макароны по-флотски, ячменный кофе и тепловатое

водянистое какао с пенками, тушенная кислая капуста, с припахом гнильцы, синеватое картофельное пюре, серая ущица из третьесортной рыбы — это дурной тон, но что поделаешь: разве не армия вспоила-вскормила, с тех самых послевоенных училищ, мама родная, армия? Дурной, конечно, тон, но хоть раз в год можно позволить себе такую роскошь — пшенной каши — в воспоминание о той, незабвенной, с червячками, да тушеной капустки с припахом гнильцы. Армия, перекорезившая все внутренности, обглодавшая преданное сердце и лихую печень, армия, навсегда оставившая боль в суставах и поясницах, армия, вытершая форменным убором волосы на служивых черепашках. Она посылала славным офицерским отпрыскам со своих объектов всевозможную живность: птиц, лис, ужей, солдат для катания у них на закорках. Она наполнила их детство такими игрушками, которых не было у других. Она приучила к перемене мест и климатических поясов; к смене холода и снегов на красную землю, песчаные бури и тақыры; кипарисов и пальм — на кривые березки. Приучила, соответственно, к непостоянству в дружбе (школы при переездах, разумеется, тоже менялись) и к непостоянству вообще. И еще она приучила к сюрпризам — внезапному появлению сияющих от радости свидания папаш, и дала заодно папашам чувствовать себя самым лучшим в мире подарком. Да здравствует Советская Армия, моя бабушка! И ныне... и во веки веков... и аминь ей.

Так и не сказано о младших братьях, не получилось. О своих братьях кровных запевать еще безумней, потому как еще страшнее. Совсем никогда бы об этом не думать, но как не жаль, невозможно это. Кого мы гробим за свою ни долгую, ни короткую жизнь? Ни долгую, как бы многим хотелось в устремлении к вечному, для кого жизнь — мгновенье в вечности, краткий всполох... — ни короткую, как хотелось бы, и очень часто, после банального «жизнь коротка» и замечательного, но мало успокаивающего «жизнь коротка — искусство вечно». За эту «жизнь коротка» тем не менее успеваешь потерять весь пух и перья или, напротив, обрести и то, и другое — кому что. Кто гробит нас из дальних и случайных и самых ближних, чья биография жесткой проекцией наложилась на наши бедные души и какое ни то сердце навечно, на этот век ни долгой, ни короткой жизни. А м. б., и далее. За этим долгим до невозможности (а м. б., и долее) столом дружно, весело и грустно трапезуем. В чьих ни то хищных мохнатых лапках, т. е. в обретших, извивается твоя бедная тушка, без меха, без пуха, без перьев, без зонтика, чтобы прикрыть уж не срам, но хоть выражение лица. Что на диво: в таком

вот беспомощном положении (состоянии), уже и не сопротивляясь, вдруг ловишь себя на том, что в этот-то самый момент жадно обкусываешь чье-то сердце, скорее всего, самое ближнее по судьбе и по крови, ну грызانهшь еще и за бумажник, если подвернется такая возможность. Ближний тоже при деле, что-то глодает, отгрызает вершки, топчет корешки, плюет в твой колодец, а ты в его... И воды не напиться, и нечем запить свою еду. Неостановимо стучат челюсти, и кучи навоза растут в толчках. Съедается все, что можно съесть. Иногда... Иногда счастье переменчиво. Ближний мой, не хочу тебя жрать, не ешь меня, пожалуйста, хочу немного пожить, не двигая челюстями и не двигаясь в челюстях. Не слышать клацанья ни твоих, ни собственных зубов. Уедем, уйдем? Или присоветуешь раньше срока — под стол? Вроде как уже все, не могу, сыт по горло? И пусть покушают, пожуют меньшие братья? Да, человек, т. е. адам, хорошо научился есть... Голая риторика, как голая соль, но не соль. Хлебом не корми, дай почитать нравоучение. Была бы трибуна, а нравоучение найдется, дай только повыступать, да поучить жить. Маленький робкий привет Льву Николаевичу. Аж ручонки затрепыхались в воздухе, затряслись как ни то у оратора какого. Хорошо удочка не в руках, а в расщелину камня заткнута. Там, наверное, на другом конце залива, за молом, тоже удит рыбу Петр Григорьевич, сбжавший из-под неумолчной пилы Дарии Дмитриевны отдохнуть. Привет Петру Григорьевичу. В электричке стерли в надписи над сиденьем две буквы из слова «места» и предлог, получилось: «ест пассажиров с детьми и участников Великой Отечественной войны».

Человек — адам должен был назвать увиденный, неизмысленный мир. Назвал. — Ты, адам! Как называется то, что кругом тебя? — Не знаю, не могу-с знать. — В чем же дело? Повтори хотя бы за тем, первым... Мир не узан. Зачем был назван, ведь не познан. Адам, человек, не знает. Пусть и самый худший из адамов. Значит, миру еще быть. Вот эта — пусть падаль из адамова рода — должна его назвать по именам. Мудрые старушки. в платочках, с натруженными руками, все в склерозе и бородавках с волосками — это не падаль, но они тоже не знают. Но, может, им дозволено не знать — они в платочках, с натруженными руками, с нищей пенсией для праведного житья, и в бородавках, и в преждевременном маразме. Значит ли миру еще быть? Мир безымянный — адам безгласный, бессловесная скотина, но тем не менее впадает в патетику и ревмя ревет, ну прямо белугой. А ему быть, неувиденному, неизмысленному. Не исчезнуть! (Прелестя, однако, получаютя: безгласный, бессловесный адам ревет белугой, впадает в патетику, удивительно одаренный адам. Пусть пополнит коллекцию любителей блох.) Мир не назван, адам? Твоя беда, твоя вина.

Что же ты верещишь. Миру ли тебя дожидаться. Да будь на месте мира... Хотя бы чтоб сделать назло... развеяться, рассыпаться, пока какая-то двуногая тварь... какая-то хищно-зубая тварь. Пока соберется называть. Адам, человек, хорошо научился есть. Нет, так дело не пойдет, так и рыба клевать не станет. Белуга, кстати, в этом море водится. Для внесения оптимистической ноты надо заметить, что «жизнь продолжается», независимо от того, хочешь ты этого или нет. Это очень радует и со страшной силой утешает. Еще вот одно личное достижение одного из адамов — этим летом обнаружил: здесь, в лагунах, под наплывами камней водятся крошечные крабы, совсем маленькие, но крабы! Стоило ли сто лет прожить в провинции у моря, чтобы только сейчас об этом узнать?

Марина Палей

ДЕНЬ ТОПОЛИНОГО ПУХА

На койке, головой к окну, лежит женщина. Сзади, сквозь оконные щели, в пространство между рамами потихоньку набивается нечто похожее на вату, которой эти щели законопачивают на зиму. Но женщина не видит окна. Она не видит также и того, что под ее койкой, там, где стоит эмалированное судно с красной надписью РЕАНИМАЦИЯ, пол покрыт рыхлым сероватым слоем этой же — не то ваты, не то лунной пыли. «Черт знает что! — говорит проходящая мимо красиво подкрашенная медсестра. — Опять налетело». Она произносит это так, словно в том виновата женщина, лежащая головой к окну.

Реанимационную санитарку сегодня целый день вызывают в вестибюль. Она каждый раз выбегает в надежде, но это снова переминаются родственники неизвестных ей больных. Она объясняет, что больных этих на реанимации уже нет, они, видимо, подняты на отделение, что она сегодня здесь вообще первый день, — но дрожащие руки суют ей яблоки, апельсины, конфеты, какие-то домашние пирожки, и санитарка все это отпихивает, как ребенок отпихивает ложку с невкусным. А самое ужасное, что в нагрудный и боковые карманы халата ей без конца пытаются затиснуть скомканные зеленые бумажки — тем постыдным, шкодливим движением, каким на экзамене подкидывают «шпору». Родственники не верят, что санитарка не имеет отношения к тем, кто им дорог, или не хотят этого понимать, потому что она единственная санитарка во всем корпусе, и, послушно кивая в ответ на ее объяснения, родственники, с заискивающей улыбкой, просят с м о т р е т ь у ж п о л о ч ш е. «Не страшно, обстреляешься, — успокаивает ее дежурный хирург. — А трульники, конечно, не бери. Чего там! — он повышает голос, чтобы слышала красиво подкрашенная медсестра. — Скажи, пусть тащат сразу уж триста!» — Он соединяет ладони, протягивая их лодочками вперед и вверх, словно вымаливая у неба эти триста рублей,

затем резко хлопает ими и победно предъявляет медсестре. «Комара ухайдакали, бесстрашный вы наш?» — ангелочком вопрошает она. «На черта мне комар? Я завтра письмо получу», — со значением смотрит на нее хирург. Над его ладонями медленно всплывает тополиная пушинка — белый клочок с семечком.

«Девочка, — с виноватой улыбкой шепчет лежащая головой к окну, — дай мне водички... Пожалуйста...» — «Вам нельзя воды, врач не велел мне...» — «Ну капельку одну... капельку можно...» — «Да не могу я, поймите!..» — «Врач не узнает... разок попить...» — «Вам будет хуже, поверьте. Потерпите до завтра, постарайтесь... Давайте я вам губы смочу, а больше нельзя, не просите, ладно?» Санитарка наматывает на пинцет клочок ваты, окунает его в белую, с носиком, кружку. Невозможно смотреть, с какой судорожной жадностью женщина хватается губами этот жалкий тампон, громко высасывает его, как потом беспомощно тянет обложенный желтым языком в немой мольбе смочить еще. Санитарка еще раз окунает ватку в поильник. «Спасибо... — лепечет женщина. Засохший рот, оживленный каплей воды, способен шелестеть чуть внятней. — Дай Бог тебе здоровья, милая...» Санитарке нестерпимо стыдно, что женщина лежит с виноватым лицом, что жалко благодарит за ерунду. Но тяжелей всего, что женщина сегодня, наверное, так и будет целый день просить воды, — просить с беззащитностью животного, — а она так и не получит разрешения эту воду ей дать. «Хотите, я полотенце намочу?» — не дожидаясь ответа, санитарка летит в перевязочную — и там долго держит под сильной струей воды вафельное полотенце со штампом «реан.». Вода становится все холодней, и, слава Богу, женщина не слышит из палаты этот вожделенный плеск и вряд ли догадывается, что санитарка пошла туда специально, ведь в палате тоже есть кран. Она очень быстро обтирает женщине лицо, стараясь не соблазнить напряженные губы, — потом шею, грудь, руки. Потом снова долго смачивает полотенце, крепко выжимает и кладет женщине на лоб. Та пытается бодро улыбнуться, поблагодарить хоть глазами, но в них по-прежнему стоит виноватое хоть глоток...

Сегодня с самого утра на улице и здесь, в отделении, нагнетается тупая обморочная духота. Окна открывать бесполезно, да и небезопасно, потому что время от времени уплотненный заоконный воздух врезается широким лезвием душного, не приносящего облегчения ветра, и тогда, с его порывом, врывается в прорехи пространства этот

надоедливый, тополиный пух. Несколько дней назад он еще весело носился, скатываясь на асфальте в легкие белые пузыри, белой пеной поигрывал в кустах, он трепетал белоснежным покрывалом на свежей траве, и мальчишки поджигали его; пух, не задерживаясь нигде надолго, летал и летал беспрестанно — высоко, вольно, словно высматривая все новые места для беззаботного своего порхания, — но сегодня вдруг сник, обратясь в мохнатую пыль, и тусклая духота припечатала его в серой бездвижности. Еще вчера пух был игрив; сегодня — он сор после игры, бесконечно противный изнуренному телу.

— Там к тебе, между прочим, пришли, — роняет медсестра.

Санитарка, делая очень прямую спину, медленно выплывает в коридор, там резко оглядывается — и пулей вылетает в вестибюль. Но вестибюль пуст. Она выскакивает во двор. Тоже пусто. Гибельная духота истребила даже невинное пижамное копошение на больничных скамейках. В волнении она возвращается в корпус. Под лестницей, ведущей на хирургические отделения, прохладной дырой зияет черная внутренность подвала — там гардероб для больничного персонала. Она нерешительно спускается по каменным ступенькам.

— У вас там все такие хорошенькие? — скалится снизу гость. В руках у него тюльпаны, которые он держит, как веник. Черная, в обтяжку футболка, словно ватой, облеплена пухом; черная курчавая борода обрамляет сочный, очень красный рот, и борода эта тоже вся в сплошь застрывших белых клочьях, словно гость жрал живых кур.

Потом она провозжает его до ворот больницы. Лужи на асфальтированных дорожках, еще не просохшие после рухнувшего неделю назад ливня, похожи нынче на мутные зеркала, заросшие вековой пылью. Пух покрывает их глухим толстым слоем, но при малейшем движении ветерка верхние клочки его судорожно срываются — в последней попытке что-то изменить. Пух цепляется за ресницы, сором летит в глаза, он въедается в волосы, липнет к зудящему, потному телу, безжалостно забивается в уши, нос, глотку; ему все равно, где прорастит свое семечко — в земле, в человеке, сквозь камень ли пробить свой побег, чтобы дать жизнь новым легким семенам.

Возвратясь в реанимацию, она видит, что женщина, лежащая головой к окну, закрыла глаза. В ее ноздри теперь вставлены две тоненькие трубочки, ветвящиеся от прозрачной кислородной трубки потолще, что тянется над койкой вдоль всей стены. Наверное, ей теперь легче дышать, в этой отчаянной духоте.

В перевязочной санитарка наполняет водой пустую бутылку из-под глюкозы, оборачивает ее вошеной бумагой, ставит туда тюльпаны. Войдя в палату, она тихо ставит букет на тумбочку возле женщины. «Пускай стоят, — опережает она ее виноватую улыбку, пока женщина медленно открывает глаза. — Это мои цветы, пускай до утра тут побудут?» Женщина пытается разлепить губы; их неловкое движение означает ну з а ч е м в ы... Одна трубочка выбивается из ноздри и подрагивает над верхней губой. Санитарка осторожно вставляет трубочку на место, удивляясь, как непрочно она там держится.

В маленькой палате реанимации, разделенной перегородкой, стоят только две койки: на одной лежит женщина с трубочками в носу, вторая пуста, — но санитарке работы хватает; она дежурит сегодня свои первые сутки и по приходе чуть ли не с порога заявила: готова делать что угодно, только, пожалуйста, освободите от покойников. Подкрашенная медсестра не сразу даже и поняла, о чем речь: «Этот ты про жмуриков, что ли? Так с ними возни как раз немного — только одну ногу подписать зеленой: вот банка, вот палочка. В морг тебя, конечно, одну не пошлю, тебе не допереть, а спирту для ихних санитаров я всегда отолью...» Но санитарка во время этой тирады с таким отчаянием мотала головой, что медсестра, изобразив подведенными глазами ну и дура, бросила через плечо: «Мне же лучше», — и удалилась по своим делам. Однако эту мольбу и готовность делать все что угодно, — запомнила.

«Девочка, — тихо зовет ее женщина с трубочками в носу, — накрой мне, милая, ноги. Пожалуйста... Что-то замерзли...» Женщина сползла с подушки, и желтые ступни ее упираются в металлические прутья коечной спинки. Санитарка помогает женщине лечь поудобнее, потом складывает вчетверо байковое одеяло и кладет ей на ноги, подоткнув со всех сторон. «Все равно мерзнут... — шелестит женщина; она странно возбуждена, куда-то подевалась ее виноватая улыбка. — Натри мне их, милая, погрей... Пожалуйста...» Странно, что они мерзнут в такой духоте, но женщина лежит ногами к дверям, и, наверное, легкий сквознячок застудил их. Санитарка принимается изо всех сил растирать сухие шафранные ступни.

«Ты чем занялась? — вскидывает выщипанные брови проходящая медсестра. — Вот дурью человек мается!» Женщина лежит, закрыв глаза, и, наверное, плохо слышит, но, главное, она не видит, что санитарка, продолжая растирать ей ступни, немного теряется. «Я сейчас, одну секунду»

дочку», — говорит она женщине успокоительно и вместе притворно-уверенно, как говорят доктора.

«Почему вы сказали, что я маюсь дурью?» — как можно тверже спрашивает она, подойдя к медицинскому столу и изо всех сил скрывая смущение. «Ты чем занялась? — раздраженно повторяет медсестра. — Не видишь, что ли, отходит». — «В каком смысле?» — спрашивает санитарка. «У вас что — все в институте с таким приборахом? — изумляется медсестра. — А еще на врачей учатся! Иди, вон мусор лучше вынеси. Потом банки на анализы подпишешь...»

Санитарка несет по больничному двору эмалированное ведро, набитое вперемешку пустыми коробочками из-под лекарств, окровавленными бинтами, битыми ампулами, резко пахнущей ватой. Нескончаемый световой день уже перевалил к вечеру, потому что безжалостная духота стусилась в гигантский — от неба до земли — воздушный тромб, и, кажется, если его не протолкнуть, не сдвинуть, — он задушит всё живое. Внутри этого недвижимого марева, этой глыбы плавящегося стекла еще тоненько подрагивают кое-где проталинки воздуха, и, как только в них принимается пульсировать нервный предгрозовой ветерок, — тополиный пух судорожно взвивается вверх, чтобы устремиться прочь по разряжающимся воздушным тоннелям, которые, расширяясь, пытаются взломать изнутри этот омертвелый объем. Порывы ветра усиливаются — гроза разразится скоро, — и летит, летит тополиный пух — в слепой, безумной жажде размножения; он жадно цепляется за любую возможность продлить жизнь, он заполняет собою любые, даже непригодные пространства, даже те, где никогда не прорасти семечку, не пустить корешки, не дать побег, — но пух летит, летит, — набиваясь в холодные каменные подвалы, скопляясь на захламленных чердаках, рыхлым пеплом засыпая внутри человечьи жилища, цепляясь за одежду, листья цветов и деревьев, — и снова летит, летит, хлещет щедрым потоком в слепой и жалкой правоте своей сухая горячая сперма лета.

Вернувшись в реанимацию, санитарка видит, что теперь уже обе трубочки выбились из ноздрей женщины. Их надо бы укрепить лейкопластырем, но она не решается подойти к медсестре и потихоньку отправляется за дежурным хирургом. Хирург входит в палату, плотно заложив руки в карманы, и неестественно громко обращается к женщине: «Ну?! Как у нас тут дела?! Чего бы нам хотелось?!» Не открывая глаз, женщина неожиданно ясно отвечает: «Холодного чаю... с лимоном...» Хирург, глядя в сторону, говорит непонятно кому: «Ох! Да у нас тут экзотические желания, —

и велит медсестре укрепить трубочки лейкопластырем.— Ну, а может, чего-то более доступного? Лежать удобно?» — продолжал хирург.

Но женщина не откликается. Хирург как-то особенно цепко вглядывается в ее лицо, потом, раскачиваясь с носка на пятку, принимается лекционно излагать санитарке: «Ну что?.. Тридцать шесть лет. Рак печени. Разрезали: вот такие узлы,— он достает из карманов крупные свои кулаки и подносит их санитарке к лицу.— Зашили...» Санитарка, торопливо кивая, косится на женщину со страхом: почему хирург так уверен, что она ничего не слышит?.. Внезапно женщина проборматывает что-то неясное; сквозь путаницу прорывается: «...вынесите меня на воздух... на воздух...»

«Скоро! Вынесут!» — с неожиданной злобой говорит хирург и ожесточенно, с внезапной силой ударяет друг о друга указательными пальцами, образуя над лицом женщины молниеносный крест.

И выходит прочь, не взглянув на красиво смазливую медсестру.

А санитарка продолжает летать на побегушках, но теперь она старается не смотреть в сторону окна. Ночью, у дверей палаты, она натывается на лифтершу и гардеробщицу. Они, с плохо скрываемым любопытством, глядят из коридора на то, что лежит сейчас ногами к дверям.

Потом зрителей отгоняют две операционные медсестры, вкатывая в палату очень грузную старуху, они перекадывают ее за перегородкой на свободную койку. Старуха только начинает выходить из наркоза; она безостановочно, очень быстро мотает головой по подушке, при этом же заполошно вопя: «О-о-о-й-ей! покатила моя голова-а-а! держите мою голову-у-у!» Видно, голова у нее жутко кружится. Санитарка с силой сжимает ей виски, придавливая голову к подушке. «Успокойтесь,— говорит она, как ребенку,— успокойтесь, я прошу. Операцию вам уже сделали,— она растягивает слова, убаюкивая старуху.— Уже сделали, слышите?.. Пожалуйста, бабушка!..» Но это на редкость сильная старуха! Она так и норовит вырваться, чтобы снова покатить свою голову неизвестно куда. Санитарка снова сжимает ее, всем тоненьким телом помогая своим рукам, и ей нравится эта неожиданная сила в старухе.

Старуха срочно оперирована по поводу острой кишечной непроходимости, и сейчас из нее начинает безудержно хлестать жидкий кал. Санитарка с удесятеренной силой выдергивает из-под старухи грязное, подмывает ее теплой водой, протирает клеенку, застилает чистое белье. Она проделывает это снова и снова, но кал так и хлещет, притом в самые неожиданные моменты, так что никакое судно не помогает. Но она с веселой готовностью перестилает и

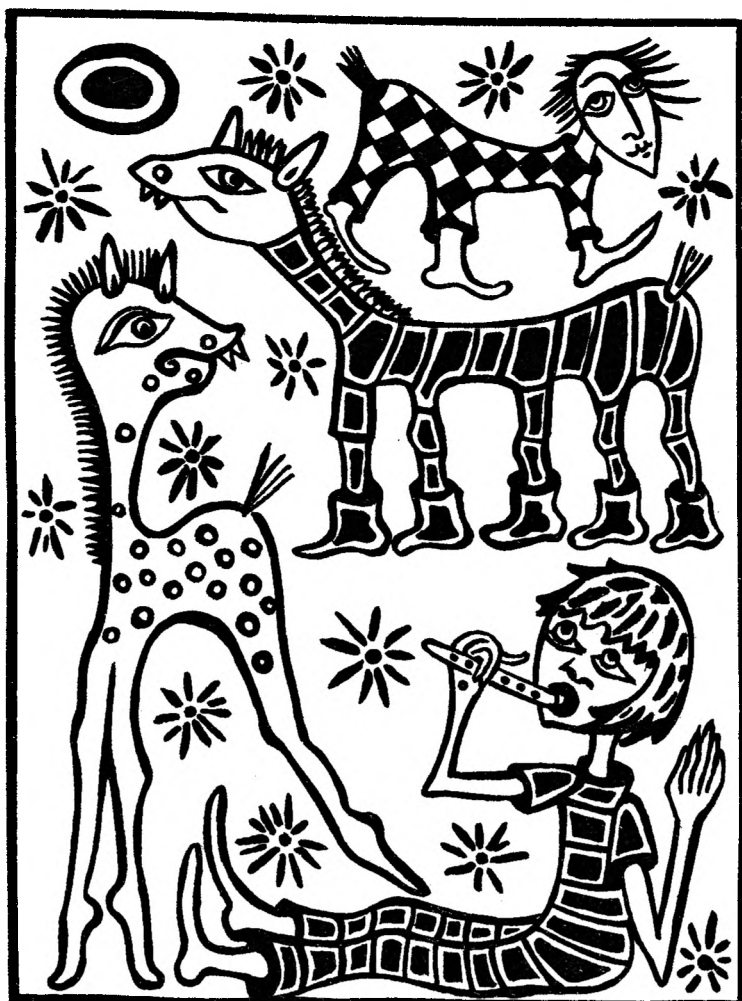
перестилает грузную старуху, мысленно приговаривая давай, бабушка, давай еще, милая, и уже не обращает внимания на явное неудовольствие медсестры, запретившей транжирить белье, не замечает тяжести приподнимаемой туши, смеется, слушая простонародную старухину матерщину, и ей не противен густой тяжкий смрад теплых человеческих испражнений, потому что это запах, присущий живому, несравненно прекрасней того неподвижного, тихого, чистого и всякого запаха пока лишенного, что лежит сейчас за перегородкой.

Утром койка за перегородкой пуста.

Санитарка протирает на ней лизолом клеенку, моет пол. Лизол до рвоты воняет тухлой колбасой, руки от него мертвеют, но это все равно здорово, потому что через несколько минут, девочка это уже знает, они начнут чувствовать снова. Тюльпаны она оставляет на тумбочке. Цветы впитали такое, после чего им не место в живом доме.

А на улице тополиного пуха больше нет. Шедший всю ночь дождь насмерть прибил его к асфальту, а те клочки, которые, пытаясь уцелеть, забились в щели и закоулки, без труда развеял легкий ветер и тоже уничтожил дождь.





Чем бы амазонка
ни тешилась...

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Родилась в городе Капустин Яр Астраханской области. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького, Высшие сценарные и режиссерские курсы. Автор книг «Жестокие рассказы», «Звонкое имя». Живет в Москве, на Соколе.

— Почему «дурацкие»? Попробую объяснить. Я жила долго довольно правильной жизнью. Я любила, дружила, заботилась... Потом у меня сменилась карма: я разлюбила, раздружилась, перестала заботиться. Я стала жить, как трава, — не любя. А в это время мой сын принес в дом котенка — серого, полосатого, с египетскими очами. И моя маленькая черная собака Чана так возлюбила котенка, что через два дня от этой любви у нее появилось молоко и она начала кормить маленького котенка — будущую юную кошку с походкой юной Нефертити, и чуткий хвост ее был — ее характер, вспылчивый, как у юной царицы. Она никого не любила, и мать-кормилицу тоже. Так мы и жили — две кошки, никого не любя, себя любя. Глядели друг на друга злыми, желтыми, как Нил, глазами, ничего друг другу не прощая.

Только бедная Чана безумно, безумно, безумно любила нас: меня и кошку, — изнемогая. (О, с ужасом смотрела она на свое дитя, бредущее под потолком по полкам.) И однажды, когда я чуть не наступила на Чану, она вдруг сказала человеческим голосом: «О-о-ой!» И однажды, когда я ела, Чана сказала человеческим голосом: «Ай!» И однажды мне позвонил мой приятель-писатель Олег Дарк, и я сказала Чане: «Скажи: Дарк!» И она сказала: «Фырк!» И она повторила: «Фырк!» Она возлюбила — и у нее из сосцов пошло молоко. Она возлюбила — и заговорила.

И я решила написать такие рассказы, чтоб их понимали собаки и кошки. Затея дурацкая. Но посмотрим!

сошла с ума и П О Л А
 О Е
 Л Т
 Е

*светлана василенко
дурацкие рассказы*

ЕВРЕЙСКАЯ КРОВЬ

- В тебе есть еврейская кровь!
- Нет!
- Да!
- Нет!
- Да!
- Нет!
- Да!
- Да нет!
- Ну дай тогда три рубля!
- Не дам.
- Дай.
- Не дам.
- Дай.
- Не дам.
- В тебе есть еврейская кровь!
- Нет!
- Да!
- Нет!
- Да!
- Нет!
- Да!
- Да нет!
- Ну дай тогда три рубля!
- Ну на!
- А все равно в тебе есть еврейская кровь!

*светлана василенко
дурацкие рассказы*

СОН

Я заплатила 35 копеек купила билет на кино «КОММУНИСТ» села заснула и увидела во сне как я заплатила 35 копеек купила билет на кино «КОММУНИСТ» села заснула и увидела во сне как я заплатила 35 копеек купила билет на кино «КОММУНИСТ» села заснула и увидела во сне как я заплатила 35 копеек купила билет на кино «КОММУНИСТ» села заснула и увидела во сне как я проспнулась заплатила 35 копеек получила партийный билет и пошла спать.

светланавасиленко
дурацкие рассказы

САМА ВИНОВАТА

Я отрезала себе левое ухо сварила и съела. Потом я отрезала себе правое ухо и съела. Потом отрезала левую ногу сварила и съела. Потом отрезала правую ногу и съела. Потом отрезала себе правой рукой левую руку сварила и съела. Потом правой рукой я отрезала последнюю правую руку и съела. Потом я проглотила язык.

Я взяла и всю себя съела.

Сама виновата — незачем такой вкусной быть.

светланавасиленко
дурацкие рассказы

ЛЮБОВЬ

- Ты дура.
- А ты дурак.
- Я тебя не люблю.
- И я тебя не люблю.
- Пошла вон.
- И ты пошел вон.
- Это моя квартира.
- Это моя квартира.
- Гадина!
- Гад!
- Ты мне изменяла!
- И ты мне изменял!
- Ты меня не любишь!
- И ты меня не любишь!
- Я тебя люблю!
- И я тебя люблю.
- Дура ты...
- Дурак.

светланавасиленко
дурацкие рассказы

ХОХОЛ

- Ты хохол?
- Хохол.
- И я хохол.
- Я точно хохол.
- Я точно тоже хохол.
- А если не хохол?
- Кто не хохол?

- Ты не хохол.
- А ты-то хохол?
- Я-то хохол.
- А я не хохол?
- Ты не хохол.
- И ты не хохол.
- Ну и не хохол, и что?
- А я хохол!

светланавасиленко
дурацкие рассказы

ВЛЮБИЛСЯ

Пятый пункт влюбился в шестую статью конституции и говорит ей:

ДАВАЙ УБЕЖИМ!

светланавасиленко
дурацкие рассказы

ПЯТЫЙ ПУНКТ

5. Я антисемит, но только наполовину: я люблю еврейских женщин, мужчин же — наоборот; на одну восьмую я русофоб, на восьмушку — русофил, на одну шестнадцатую я сионист, на три шестнадцатых:

ДОЛОЙ АПАРТЕИД!

светланавасиленко
дурацкие рассказы

МУЖ

И

ЖЕНА

— Иди сюда, здесь так
хорошо:
ЗДЕСЬ СОЛНЦЕ!

— Иди сюда, здесь так
хорошо:
ЗДЕСЬ ТЕНЬ!

светланавасиленко
дурацкие рассказы

НОС

У одного уродливого урода был очень красивый нос. Когда этот урод родился, то и нос у него был уродливым, но нос стал расти, он рос, рос и в конце жизни стал очень

красивым носом. Тут урод с красивым носом умирает. Его как водится сжигают. А нос остается нетленным. Он лежит в кучке пепла очень красивый. Полюбовавшись им, его засунули в урну и закопали в землю. Через год на этом месте выросло деревце. Оно росло, росло и через пять лет зацвело, а в августе на самой верхней ветке уже висел плод: крепкий очень красивый нос. Но люди, проходя, думали, что это груша и говорили: «Смотри, какая красивая висит

ГРУША — НЕЛЬЗЯ СКУШАТЬ!»

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ГОЛОВА

У одного человека выросла голова.

Она росла, росла, стала спеть. Спела, спела, поспела, отвалилась и упала.

ОНА ЛЕЖИТ В ТРАВЕ — КАК ЖИВАЯ!

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ЗУБ

У меня заболел зуб на семинаре в Репино, что под Ленинградом.

Врач взял и выдернул зуб.

Посадили зуб в землю у моря. Вырос зуб в Репино большой-пребольшой. Тянут-потянут зуб из Репино — вытянуть не могут.

ТАК И СТОИТ ОН КАК СКАЛА В МОРЕ

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ДОРОГА

Шел человек по зимней дороге, сильно торопился, споткнулся, упал и сломал ногу. Лежит нога на дороге, валенок на ней с галошей. Посмотрел человек на нее и думает: ах, думает, пусть полежит до завтра, в валенке она не замерзнет, очень я тороплюсь, приду за ней завтра, — и поскакал на одной ноге дальше.

А следом шел другой человек. Смотрит: на дороге нога лежит, валенок на ней хороший, и галоша совсем новая, блестит при лунном свете.

Человек взял и снял с чужой ноги валенок с новой галошей и обрадованный пошел дальше.

А был мороз.

ТАК ТА НОЖЕЧКА И ЗАМЕРЗЛА.

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

В СЕМЬ УТРА

Сплю, Димка звонит, говорит:

— Я вешаться собрался.

— Чего так? — говорю.

— А надоело, — говорит.

— Чего, — говорю, — надоело?

— А все, — говорит, — надоело. Смысла нет ни в чем.

— Ну, и у меня нет, — говорю, — смысла.

— Ну вот.

— Но я же не вешаюсь!

— А я вот собрался.

Смотрю на часы: семь утра.

— Дим, — говорю, — позвони в десять, я сплю еще.

— На похороны придешь? — говорит Димка.

— Приду-приду, — говорю.

— Ну, пока, — говорит.

— Пока, — говорю.

Проснулась, когда мне Зинка звонит, говорит:

— Твой Димка повесился.

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДЕ

Звезда с звездой говорит: ...изда ты, — говорит звезда звезде, — ...изда, ты зачем каждую ночь по панели шляешься, чужое место занимаешь, тут, говорит, я стою. От ...изды, отвечает звезда звезде, и слышу, я, говорит, где хочу, там и хожу, воздухом дышу. Толкнула та звезда эту, а эта звезда вцепилась той в волоса, и упали вместе с неба.

Август был, пора звездопада.

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ТУПИК

Одна женщина любила одного мужчину но мужчина не любил эту женщину потому что он любил другую жен-

щину а эта другая женщина не любила этого мужчину потому что любила другого мужчину но этот мужчина не любил му что любила другого мужчину но этот мужчина не любил эту женщину потому что любил совсем другую женщину но эта совсем другая женщина не любила этого мужчину потому что любила совсем другого мужчину а этот совсем другой мужчина —

ОН СОВСЕМ НИКОГО НЕ ЛЮБИЛ!

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

КОЗА

Одному деду в молодости нагадали, что умрет он от блондинки. А у деда была бабка, она была блондинка. Вот он и думал, что она его до смерти и доведет, до последнего аккорда. А бабка возьми и загнись. Была, была да сплыла. Коньки откинула, умерла бабка.

Решил дед по-новой жениться, но уже по правилам, — на брюнетке.

Стал себе старуху присматривать, одну, другую — все седые, нет среди старух брюнетки. Что ж, думает дед, делать? А ему кто и присоветуй: а женись ты, дед, на черной козе, одну траву жрет, молоко-пух дает, да с тобой, старым хреном, спать станет — чем тебе не брюнетка?

Подумал дед и решил на козе жениться. Пошел на базар. Пришел, видит: сто мужиков стоят, сто черных коз продают. Стал дед по рядам ходить, самую козу красивую выбирать, чтоб не уродина. Ходил, ходил — ни одна не нравится.

А один мужик стоит и белую козу продает, дед да и загляделся. Купи, дед, говорит деду мужик, козу. Нет, говорит дед, она у тебя белая, а мне надо черную. А на что тебе черная? Да в жены!

Обрадовался мужик, говорит: «Ах, если в жены, то лучше белой козы жены не бывает. Бери белую! Белые хоть и бодливее, но черные те блядовитее, станет к козлу бегать, тебя, старого черта, позорить.

Уговорил мужик деда, тот и купил козу.

Взял дед белую козу в жены, привел молодую в дом, накормил, напоил, в спальню завел, на перину мягкую положил, сам с краю прилег.

И В ПЕРВУЮ ЖЕ НОЧЬ БЕЛАЯ КОЗА ДЕДА ЗАБОДАЛА.

Так сбылось реченное.

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

СНЕЖКИН

Был-жил человек Снежкин. Он жил-жил, целую зиму прожил: декабрь жил, январь жил и февраль жил. Еще в марте он жил.

А в апреле взял и растаял.

**СЛИШКОМ УЖ ОН НЕЖНЫЙ БЫЛ, ЭТОТ
СНЕЖКИН!**

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

СТОЛ

Родился человек столом.

На нем обедают, белье гладят, детей пеленают, гробы время от времени ставят.

Стол стоял-стоял, терпел-терпел, да как вдруг закричит:

**Я НЕ СТОЛ! —
КРИЧИТ
Я — ЧЕЛОВЕК!**

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

СВЕЧЕЧКА

Родился человек свечечкой.

Горел, горел — да вдруг — как заплачет!..

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ОДИНОЧЕСТВО

В одном ЗАПАДНОМ полушарии жила одинокая одинокая одноручная красавица, была она однорука да однонога, жила себе в одноэтажном домике в однооконной комнатке, в одного бога верила, одну думу думала

В одном ВОСТОЧНОМ полушарии жила одинокая одинокая одноручная красавица, была она однорука да однонога, жила себе в одноэтажном домике в однооконной комнатке, в одного бога верила,

ла думала думала да надумала: позвала одним одиноким вечером на двор однокрылого лебедя, однолапного петуха, однорогого козла, одноусого кота да одноухую собаку, сейчас одностишие прочту, говорит, и прочитала: Я так одна! — говорит и заплакала:

**ГДЕ МОЯ ПРАВAYA
ПОЛОВИНА?!**

одну думу думала думала думала да надумала: позвала одним одиноким вечером на двор однокрылого лебедя, однолапного петуха, однорогого козла, одноусого кота да одноухую собаку, сейчас одностишие прочту, говорит, и прочитала: Я так одна! — говорит и заплакала:

**ГДЕ МОЯ ЛЕВАЯ
ПОЛОВИНА?!**

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

РАССКАЗ ОДНОГО ПЬЯНОГО МУЖИКА

Когда я был еще пионер, — у меня страшно зачесалась голова. Я чесал-чесал, посмотрелся в зеркало — а это рожки выросли. На другой день смотрю — пятки чешутся, поглядел — а то копытца, как зубки у младенца, режутся. Вот чешусь я и думаю:

ТО ЛИ ЧЕРТИКОМ Я СТАЛ, ЧТО ЛИ?!

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКА

стал бить. Кулаком бил, ногой бил, головой бил, потом молотком стал бить. Бил-бил, устал, пошел отдохнуть, отдохнул, пришел обратно дальше бить, смотрит — а того человека уж нет — вместо него отбивная получилась. Человек обрадовался, взял зажарил ее, и съел

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКА

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

МАТРЕШКА

Захотелось Матрешке мужа, пошла в ЦК. Дайте, говорит, мне мужа, чтоб был идейный, но передовой, хочу с ним плодиться и наслаждаться. ЦК думал-думал, позвал на помощь пленум, пленум думал-думал, созвал съезд. Вот день сидят, второй сидят, на третий — придумали. Позвали

октябренка, пионера да комсомольца-добровольца. Тайным голосованием члена ЦК на авансцену истории выбрали единогласно и не воздержавшись говорят ему: «Ну давай!» Тот комсомольцу на ухо шепнул, комсомолец пионеру шепнул, пионер на октябренка накинулся и проглотил октябренка, комсомолец взял и проглотил пионера, а уж член ЦК взял да и проглотил всех троих в виде комсомольца и стоит себе толстенький, как Матрешка.

Тогда позвали Матрешку. Смотри, говорят, какую мы тебе

КАНДИДАТУРУ ПОДОБРАЛИ!

Так и нашли Матрешке мужа. Интересно на детей их поглядеть, какие интересно получатся.

светланавасиленко
дурацкие рассказы

НЕГР

В одном маленьком городке на Волге местная молодежь решила создать неформальное общество «ку-клукс-клан».

Там у них один негр женился на русской девушке. Днем он работал на химзаводе, а вечером купался в великой русской реке Волге, хотя дело происходило под Казанью, а там Волгу некоторые называют великой татарской рекой Волгой. Так этот ку-клукс-клан и сказал негру, когда тот купался: а ну-ка вылезай из нашей великой татарской реки Волги, черный хэ! А не то мы твою черную маму е! А твоего черного папу в жэ! А твою русскую женку в рот!

Негр потрясенный вышел из воды. Ку-клукс-клан, пьяный в стельку, взял негра под белы черные руки и потащили его на химзавод и замочили в чане. Там чан стоял с химией. Чан стоит бурлит, химия в нем ходуном ходит. Замочили негра в чане, и соломинку для дыхания дали: знай, негр, сопоставляй и сравнивай, что наш советский расизм гуманный! Сутки негр в чане сидел, через соломинку дышал, а когда его достали, то стал негр белым, а волос на нем весь седой. Отпустили негра с миром. А чего его теперь мучить?

Сидит ку-клукс-клан на берегу, играет в карты, тихо, жарко. Только пройдет на закате негр покупаться в великой реке, ку-клукс-клан оторвется на миг от игры, посмотрит ему вслед и ласково скажет: «Вон — БЕЛЫЙ НЕГР ПОШЕЛ!», — и опять займется картами, в подкидного.

Ку-клукс-клан не самораспускается, он бдит: русская жена негра скоро родит. Ку-клукс-клан ждет: белого или черного? И пока малыш наливается соком жизни, уже

кипят для него котлы кипучие, бурлят чаны с химией, и ждет-пождет ку-клукс-клан его рождения, лениво лежа под голубым зонтом неба.

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ПЛАНЕТАРИЙ

Живу, живу в Москве, пошла в планетарий.

Сижу, смотрю вверх и думаю:

— Ах ты,— думаю,— господи, хоть небо над Москвой, наконец, увидела, какие звезды над ней настоящие!

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ВОДА

Пошла одна баба зимой по воду.

Пришла к колонке, а там соседка злая да и задралась. Воды в ведра налили, ведра с водой в сторонку отставили да давай харкаться друг в дружку. Харкались, харкались, видит баба, что побеждает ее злая соседка, схватила ведра и бегом. Прибежала домой баба, харя вся обхаркана, сама растрепана, плачет. Поглядела тогда в ведра — а там вода чистая-чистая, студеная —

АЖ СИНЯЯ!

*светланавасиленко
дурацкие рассказы*

ВЕСНА В БУТЫРКАХ

Высоко-высоко в тюрьме есть окошко. Весной его моют: с наружной стороны — баба-милиционер, а с внутренней — баба-зэк. Милиционерша в милицейском, зэчка в синем выцветшем платье.

Моют весело, будто подруги, весело переговариваются:

— Дуся! Если ухо чешется — это к чему? — баба-милиционер спрашивает.

— Свербит или чешется, Лен Иванна? — уточняет зэчка.

— Чешется ж, говорю.

— А не звенит?

— Где?

— В ухе-то?

- А чего ему там звенеть?!
- Вот я и спрашиваю: не звенит?
- Да ты издеваешься надо мной, Калачева!

Калачева вся хохочет: «Люблю девку за издевку, так мне Колька мой говорил, Лен Иванна. Что ж мне и посмеяться нельзя, Лен Иванна? Вы ведь даже окошко мне с вольной стороны помыть не дали, я ж не птица, не улечу, а над вами и посмеяться нельзя. Левое или правое?»

- Что?
- Ухо-то!
- Левое.
- К дождю, Лен Иванна.





Перевод
с алязотского

ИРИНА ГРИВНИНА родилась в Фергане в год окончания войны.

Изучала математику и программирование в Москве, где и работала какое-то время по специальности. Однако в гораздо большей степени ее жизнь была связана с литературой, особенно — с русской поэзией. Но времена оказались совсем не поэтическими, поэтому первыми публикациями Ирины (1977 г.) явились не лирические стихи, а статьи в самиздатовском «Информационном бюллетене Комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях». В сентябре 1980 года за участие в правозащитной деятельности Ирина Гривнина была арестована.

В 1983 году она смогла вернуться в Москву. С этого же времени ее острые публицистические материалы стали публиковаться в нидерландских журналах, стихи — в США и Германии.

В 1985 году эмигрировала в Нидерланды.

Ирина пишет и публикует стихи, прозу, статьи и эссе для различных западных журналов, занимается переводами, ведет литературную программу Би-би-си, читает лекции. Но главное — это все же поэзия. Перед вами — одна из первых ее публикаций в родной стране.

ЛЮДМИЛА ШТЕРН. Родилась в Ленинграде в 1936 году. Отец — профессор, юрист. Мать — Надежда Крамова — актриса. Закончила Горный институт в Ленинграде, преподавала на геологическом факультете ЛГУ. Дом Людмилы Штерн был гостеприимным, открытым для ленинградской и московской интеллигенции: здесь бывали и Сергей Довлатов, и Галина Волчек, и Иосиф Бродский, Илья Авербах, Евгений Рейн, Анатолий Найман... Писать ничего не собиралась, только читала. В 1974 году уехала в Америку, в Бостон. И в Америке Людмила Штерн стала писателем. У нее вышла книга «Под знаком 4-ех».

— ...со мной ни разу не произошло ничего, что стоило бы увековечить. Я не вскарабкалась ни на пик Ленина, волоча за собой бюст Сталина, ни на пик Сталина, таща на веревке бюст Ленина. Я не отморозила в тайге руки, ноги и железы внутренней секреции и не стала в результате этого солисткой Большого театра Союза ССР. Я не совершила полет в космос. И ничего ни от кого не надоила и не настригла. Череда бесцветных лет то обтекала меня мутным потоком, то несла за собой, как пустую консервную банку. А герои разных мастей журчали по радио, махали со страниц газет и журналов, аплодировали друг другу в концертных залах и агитпунктах. Но это были не мои герои и не мои сюжеты...

Ирина Гривнина

АМСТЕРДАМ

1

Я вернулся в свой город...
О. Мандельштам

Как гравюра
На тонком стекле
Невесомый
Как сказочный сон
Этот город тревожит тебя
На закате
Последним лучом
Пробиваясь меж крыш
Золотит
Солнце
Стрелки старинных часов

Бьет четыре четвертых
Ты слышишь —
Малиновый зов
Золотых
Перелитых на пушки
Погубленных колоколов

Возвращенная память
Захлебнется стихом на ходу —
Словно стылой водою
В далеком убитом году
Не вернешься в свой город —
Потому что вернулся уже
Здесь герани в окошках
И праздник цветных витражей
Свечи в темных шандалах
Причудливый профиль домов

Бьет четыре четвертых...
Ты слышишь?
Малиновый зов...

2

Горбатый мост
И — зеркалом —
Канал
Застыл
Врасплох захваченный морозом
И бьются чайки
Над прозрачной бездной
И тщетно
Рыбу селятся достать

Гремит трамвай
И входит в полукруг
Старинных улиц
Замкнутых каналом —
Причудливый
Неровный лабиринт
Звенит
Минуя маленькую площадь
Толпящихся туристов...

В летний день
Столы
Рядами из кафе выходят
И легкий ветерок
Кольшет скатерть
И медленно
Заказанное пиво
Из темных залов
Вынесут на свет
И — ледяной глоток...

Горбатый мост
Застыл над гладью темного канала...

ПРАГА КАРЛОВ МОСТ

1

По камням Карлова Моста подковы гремят золотые
вьются трехцветные шарфы привязаны к шишкам
скачет охрана Града — лошади вороные
белые перья султанов колеблются в такт шагам

Почетнее службы нету — им охранять Президента
вражьи войска подходят к каменным Пражским стенам
радио поперхнулось телеграфною лентой
страшно молчат в телефонах обрезанные провода

* * *

Камни Карлова Моста темны от пролитой крови
Скорбный Распятый опасно опускает глаза

Последний защитник Праги в притихший город выходит
пеший и одинокий
меч золотой в руках

2

Мне в Праге жить
в грядущем воплощенье
не знаю кем...
хотелось бы — поэтом
брести по мостовым из Стара Места
на Град
и целовать плащи святых
застывших на перилах
и с Моста
смотреть на громко блещущую Влтаву
прислушиваясь к струям
проходить
пред Рыцарем почтительно снимая
засаленную кепку
и дышать
Тобою
Золотая

март 1990

Людмила Штерн

ДЕНЬ УТЮГА

Исторически сложилось, что деканатский коридор Ленинградского горного института был местом знакомств и свиданий. Во время большого перерыва мы любили слоняться взад-вперед мимо деканатов или сидеть на подоконниках, себя показывая и на других поглядывая. В этом коридоре происходили жизненно важные встречи, расставания и выяснения отношений.

Как-то раз привлек мое внимание один студент. Худой, лохматый и очкастый. Одет он был в институтскую форму с золотыми погонами, цыплячья шея торчала из слишком широкого воротника, на плече висела полевая сумка. «Безупречно интеллигентная наружность», — отметила я. Потом я встретила его в институтском музее, в библиотеке и, наконец, в столовой. На сей раз не одного, а с моим приятелем Женей Сухаговым. Я отвела Женю в сторону и зашептала ему в ухо:

— Женька, познакомь меня с этим очкарем... Без нажима... Как бы невзначай.

— Ничего нет проще... Толька! — рявкнул он. — С тобой мечтают познакомиться, иди сюда!

Очередь, как по команде, повернула головы в мою сторону. Молодой человек подошел. У него была родинка над верхней губой, очень ровные зубы, и весь он светился в улыбке... Или что-то светилось во мне.

— С тобой хочет познакомиться Таня Верховская, чемпионка института по кролю в заплыве на 100 метров, — проявил Женя чудеса дипломатического искусства. — А это мой друг Толя Даргис, отличник и гордость нашей группы.

— Ты хочешь сказать, позор вашей группы, — парировала остроумная я.

Иронию не оценили, никто моего пасса не отбил, наступила неловкая тишина. Толя Даргис смотрел на меня выжидающе и улыбался.

— Что, собственно, вам кажется таким забавным? — полезла я на рожон.

— Таня, а вы были когда-нибудь с м у ж ч и н ы?

Мне послышалось, что он сказал с м у ж ч и н о й.

— С мужчиной? Была ли я когда-нибудь с мужчиной? —

Я засмеялась роковым смехом. — Сотни раз, только это и делаю...

И опять наступила тишина, которую я просто не могла вынести.

— Может, пойдём по случаю стипендии в Лягушатник?

В наши студенческие годы Норд и Лягушатник были единственными приличными кафе в Ленинграде. Норд был нам не по карману, а Лягушатник вполне доступен. Кресла в нём были обиты зеленым бархатом, и подавали там шампанское, мороженое и кофе-гляссе.

— Почему не пойти? Пойдём, — сказал Женя.

— Я, к сожалению, занят, — Толя посмотрел на часы. — Через пятнадцать минут меня будут ждать на трамвайной остановке.

— Вы что, не можете отменить ваше свиданье?

— Не могу и, главное, не хочу.

Ответ, неслыханный по своей дерзости. Смотрите, какая цаца! Он, видите ли, занят, у него, видите ли, свиданье! Да он должен быть на седьмом небе, что я снизошла его пригласить. (Идея, что я самая умная, красивая и талантливая, внушалась мне с детства как аксиома и в доказательствах не нуждалась.) К тому же во мне проснулся охотничий инстинкт. Глядя на его удаляющуюся спину, я поклялась, что не далее, чем через неделю, отличник Анатолий Даргис будет у моих ног. Весь вечер я обдумывала стратегию и тактику обольщения, но перед глазами стояла его мягкая улыбка, в ушах звучал его тихий голос, и все планы рассыпалась в прах. На следующий день я изучила расписание его занятий и после лекций попалась ему на глаза:

— Привет, Толя, Женьку, случайно, не видел? Он позарез мне нужен.

— Только что был здесь. Позвать его? — И пошел искать абсолютно ненужного мне Женю.

Через пять минут они появились вместе, и я пригласила их в Эрмитаж на выставку Пикассо — главное событие в культурной жизни Ленинграда за последние 60 лет. Толя сказал, что как раз был на этой выставке вчера и что «если я пропущу, будет очень обидно...». Пылая злостью, я поплелась с Женькой в Эрмитаж, чтобы в третий раз полюбоваться на ненавистного Пикассо... Еще через день я пригласила Толю на наш факультетский вечер. Каждый год в институте устраивались конкурсные факультетские вечера, на которых разыгрывались пьесы, ставились «капустники», приглашались оркестры. Администрация горного института, славящегося относительно либеральными традициями, позволяла на этих вечерах пародировать профессоров и отважно намекать на отдельные недостатки системы. Попасть на «чужой» факультетский вечер было почти невозможно, билеты «распространялись» в профкоме среди элиты или добывались по

сверхспециальному благу. Мой геологический факультет слыл самым «левым», самым интеллектуальным, из его недр вышли поэты Глеб Горбовский, Алик Городницкий, Олег Тарутин, Саша Британишский и мой близкий, любимый друг Яша Виньковецкий.

Итак, я раздобыла билет на два лица и снова подстерегла Толю в коридоре:

— Не хотите ли пойти в субботу на наш факультетский вечер?

— Неужели у вас есть лишний билет?

— Л и ш н и х билетов не бывает, у меня есть мой билет.

— Значит ли это, что я должен пойти с вами?

Неслыханная наглость... Любому другому она бы стоила головы.

— Вы ничего не должны, можете взять с собой кого угодно.

— Большое спасибо, это очень любезно с вашей стороны, мы мечтали попасть на ваш вечер.

Кто МЫ, кто это, МЫ? Я надеялась, что МЫ — это он и Женя.

Толя Даргис явился на вечер с тощей брюнеткой, безобразной, как «дамы кисти Пикассо». Одета она была в белый свитер и красную клетчатую юбку. У нее были красивые ноги, осиная талия и непропорционально длинная шея, за что я немедленно наградила ее прозвищем Выя. Это прозвище неотступно следует за ней через века, моря и континенты. Когда начались танцы и объявили дамское танго, я, как пантера, бросилась к Толе и вырвала его из Выиных рук.

— Как вам, Толя, понравилась самодеятельность, не скучно было?

— Нет, что вы, совсем не скучно.

— А почему у вас скучный вид, то есть такой вид, как будто вам скучно?

— Напротив, мне очень весело.

— Но внешность у вас сегодня скучная, — продолжала настаивать я.

— Боюсь, что это от меня не зависит, — сухо сказал Толя и до конца танго не проронил ни слова...

Через десять минут они с Выей ушли, а я забилась в гардероб и прорыдала до конца вечера...

Прошла неделя, и две, и три, а Толя Даргис все еще не поддался моим чарам. Разведка донесла, что он меломан и обладатель Баховского абонементы. Я тут же прониклась мессами и фугами и зачастила в Малый зал консерватории. Едва войдя в вестибюль, я уже чувствовала, что он там. Ярче сверкали люстры, торжественнее выглядела толпа, любезнее улыбались тетки с программками, в воздухе носились миллиарды наэлектризованных протонов и мезонов. В общем, его присутствие я ощущала каждой клеткой обезумевшей

души. Иногда он бывал там с Выей. В этих случаях мы церемонно раскланивались в антракте. Иногда — один, и тогда после концерта мы вместе выходили на мглистую Театральную площадь. Нет, он вовсе не провожал меня, просто нам было по дороге... Через месяц я перестала есть, спать и заниматься. Сидела на лекциях туманная и задумчивая и выводила на полях тетрадей: Т. Д., Анатолий Д., А. Даргис, Анатолий...

Я дошла до такого падения, что записалась в научное общество, где Толя был председателем, и сделала доклад о кругосветном путешествии Крузенштерна и Лисянского. На какие безумства не способна любовь? Толя поздравил меня с блестящей работой, но ликовать не пришлось. Оказалось, что Выя — поэтесса и член литературного объединения. Не сочинять же мне было ей в пику «Песнь о Гайявате». Я предприняла отчаянную попытку сокрушить соперницу: я распустила слух, что у нее деревянная нога. Заведомая глупость, она обладала 1-м разрядом по художественной гимнастике... Я терпела поражение за поражением, пока однажды...

Как-то Толя обмолвился, что мечтает прочитать Дос-Пассоса и не может его достать.

— Ничего нет проще, — сказала я небрежно. — Стоит у меня на полке.

— Неужели? Вы не могли бы принести книжку завтра в институт, дня на два?

— Почему бы вам не заехать ко мне?

— С удовольствием... В котором часу?

«Сейчас, немедленно, сию же секунду», — хотелось мне крикнуть, но я сказала:

— Около трех, если вы свободны.

Никакого Дос-Пассоса в доме не было. Я обзвонила знакомых, друзей и врагов. Роман «42-я параллель» обнаружился у папиного приятеля, профессора Самарина.

— Из дома выносить не разрешаю, — сказал Юрий Александрович. — Приезжай и читай на здоровье. А из дома ни на шаг, у меня уже полбиблиотеки растащили.

Я выскулила книжку на три дня и потащила за ней в Павловск. Я пила компот с его тугоухой тещей, выслушивала басни об их кошке Алисе и спаниеле Турандот, рассказала содержание фильма «Королева Кристина», клялась, что берегу книжки как зеницу ока и, наконец, прижимая Дос-Пассоса к груди, едва успела на последнюю электричку... Когда я вернулась домой, оказалось, что «42-й параллели» в сумке нет... Где я ее оставила? Я обзвонила таксомоторные парки, побывала в бюро находок Витебского вокзала, разругалась с родителями и проплакала до рассвета. Утром я разыскала по телефону книжного спекулянта Аркашу Бусина и закли-

нала до 3-х часов дня достать мне из-под земли «42-ю параллель» за любые деньги.

— Зачем за любые? — удивился Бусин. — Я не гангстер. Старик Дос-Пассос стоит три сотни... Приезжайте.

На занятия я не пошла. Помчалась на край вселенной к нашей Нуле, единственному человеку на свете, который безропотно давал в долг. Потом к Бусину, в парикмахерскую, в Норд за пирожными и в Елисейский за бужениной, на рынок за цветами... и все это на такси.

К двум часам квартира была вылизана, полы натерты, в вазах благоухала сирень.

— К нам едет ревизор, — флегматично сказал папа.

Я огрызнулась и притворилась, что учу палеонтологию. В половине третьего папа заглянул в мою комнату.

— Надеюсь, ты оценишь нашу с мамой деликатность. Я ухожу на заседание кафедры, а твоя мать в издательство... А могли бы, между прочим, остаться дома... Жалко, у нас нет арфы, тебе бы очень пошла арфа. Или цитра.

— Не дразни тигра, — раздался из передней мамин голос.

Наступило три часа, четыре, половина пятого... Сперва я пыталась читать проклятую «Параллель», но строчки расползались, как муравьи. Потом я уселась на стул в передней, чтобы услышать, как хлопнет в подъезде дверь... И вот послышались шаги... Его шаги... Раздался Его звонок.

На пороге стояла мамина подруга Софья Борисовна... Представьте себе моложавую, следящую за собой Бабу Ягу. Крашеную крючконосую блондинку. Папа замечательно имитировал ее визгливый голос и привычку задавать идиотские вопросы, около сорока в минуту. Мама ее страстно защищала: «Соня добрый, исключительно порядочный человек».

Итак, на пороге стоял добрый, исключительно порядочный человек. И почему ее всегда приносит не вовремя и без звонка?

— Здравствуй, Таточка, мама дома?

— К сожалению, нет, — я закрыла собою дверь, как Александр Матросов свою амбразуру.

— А где-е-же она?

— Понятия не имею... — Гостья сделала шаг вперед, а я, естественно, шаг назад.

— Как? Ушла и не сказала куда? — Небольшой нажим, и Софья очутилась в передней.

— Не промолвила ни слова.

— Странно как-то. Я так не поступаю. Гуля и Нолик всегда знают, где меня найти, — и она расстегнула пуговицы на пальто.

— Софья Борисовна, я очень занята.

— А когда она ушла?

- Часа два назад.
- А когда она придет?

Я проявила необычайную сдержанность и только пожалала плечами.

— Знаешь, детка, я, пожалуй, ее подожду. Из нашей глухомани выбраться целое дело, а я как раз оказалась в двух шагах от вас. Не возражаешь?

В мозгу пронеслись все мыслимые способы расправы: четвертовать, посадить на кол, повесить на дерево вверх ногами... От ненависти я замычала.

— И поставь, лапуля, чайник, у меня маковой росинки с утра во рту не было.

Желая ей сгореть, предпочтительно в муках и корчах, я поплелась на кухню. Баба Яга следовала по пятам.

— Как ты, зайчик, справляешься в институте? Мой Нолик от этих курсовых воет волком.

— Извините, Софья Борисовна, но я должна погладить белье.

— Кисочка, мы же свои люди, не обращай на меня внимания...

Гладить я пошла в ванную. Гладильной доски у нас не было. Я положила на края ванны чертежную доску, а сверху байковое одеяло. Доска занимала половину ванны, в оставшееся пространство можно было влезть. Я включила утюг и начала гладить блузку. Софья стояла в дверях и бубнила про «миленькое голубенькое платище», которое она достала в комиссионке для своей дочки, дебилки Гули... Я боялась, что раскрою ей голову утюгом.

— Софья Борисовна, не могли бы вы посидеть в комнате, я хочу принять душ.

— Неужели ты меня стесняешься, ласточка? Впрочем, все дети одинаковы, Гулька тоже меня из комнаты выгоняет... Ну, ладно, уйду, уйду...

Я закрылась на крючок, разделась, пустила горячую воду и влезла в оставшуюся половину ванны. Наконец, я нашла место, где можно предаться отчаянию без посторонних глаз. Почему он не пришел? Слезы, мешаясь с горячей струей, текли без остановки, и сквозь шум воды я не услышала звонка.

— Не беспокойся, я открою, — пропела за дверью Баба Яга, и вдруг раздался Толин голос:

— Простите, пожалуйста, Таня дома?

Я вскочила так стремительно, что свернула чертежную доску, и раскаленный утюг съехал на мою мокрую спину. Я задохнулась от боли и собственного крика и не помню, в каком порядке развивались события. Софья Борисовна пронзительно верещала, Толя высадил дверь ванны и сорвал с моей спины утюг вместе с лохмотьями кожи и мяса, потом появилась «скорая помощь», потом родители... Даже сейчас,

двадцать пять лет спустя, имеется у меня на спине «особая примета»: коричневое пятно, имеющее размер и форму советского электрического утюга...

День Утюга считается днем начала нашего романа. Первые две недели он протекал в травматологическом отделении больницы им. Куйбышева. Толя навещал меня каждый день, притаскивая, по папиным словам, «груды оранжерей». В день выхода из больницы он приехал за мной вместе с родителями. После обеда он сделал мне предложение, и оно было принято. Я только попросила, чтобы Толя, соблюдая формальности, поговорил с родителями. Папа ушел читать в свой кабинет, мама уселась на телефон оповещать приятельниц о благополучном исходе утюжной эпопеи. Толя крутился вокруг нее, чтобы улучшить момент между звонками, я от страха выскочила на лестницу. Вот мама повесила трубку, и тут Толя набрал воздуха в легкие и выпалил:

— Наталия Павловна, я хочу просить у вашей дочери вашей руки...

Мама поперхнулась, подвывая от смеха, уронила голову на телефон:

— Толя, я в некотором роде... уже замужем...

Честно говоря, и папа, и мама, встретили новость как национальное бедствие. Вызванная ими на помощь Нуля встала за меня горой:

— В толк не возьму, чего вы оба взъебурились. Кудахчут и кудахчут... А девке замуж пора. Мужик, что и говорить, неказистый, вылитый стрекулист, но зато еврей и потому, наверно, головастый. И вроде не пьет. А некоторые на убийцах женятся... и то ничего, живут, детей растят...

Мы подали документы в загс в середине мая и 1-го июня должны были «расписаться». Видя траурные родительские лица, мы решили не усугублять драму и свадьбы не устраивать. Все равно медовый месяц откладывался до осени. 3-го июня мы разъезжались в разные стороны на летние практики. Он — на Урал, в Березники, а я — в Армению, на Севан. И договорились о романтической встрече: 15-го августа, в два часа дня, на вокзале в Новом Афоне. Накануне похода в загс папа с мамой сказали, что с нами туда не пойдут, потому что «не могут перенести, чтобы их единственная дочь ни с того, ни с сего...».

— Но я его люблю! — закричала я.

— Мало кто кого любит, — хором отвечали они. — Это что, основание, чтобы сразу нестись под венец?

Однако к часу дня, когда мы собирались ехать «записываться», совесть их разыгралась. С отсутствующими лицами, но в парадных туалетах, они бродили по квартире, поглядывая на часы. Ни в час, ни в два, ни в три Толя Даргис не появился. Их лица светлели на глазах. Каждые пятнадцать

минут звонил папин брат Виктор Иванович и осведомлялся, «прорезался» ли жених. Даже теперь, приближаясь к серебряной свадьбе, я холодею, вспоминая тот день. Но надо отдать должное и силе Толиного характера. За двадцать пять лет, невзирая на мольбы, угрозы и скандалы с рукоприкладством, он так и не научился ни к у д а и н и к о г д а приходить вовремя. Загс закрылся в пять часов. Толя Даргис явился в семь с корзиной божественных белых роз.

— Простите, я, кажется, опоздал немного, — смущенно сказал он. — Ездил далеко... Я привез эти розы из Колпино.

Будучи романтической натурой, мама прослезилась:

— Ты привез эти розы из рая... — И поцеловала Толю в нос.

Постепенно начали съезжаться неприглашенные гости. Сперва Виктор Иванович с бутылкой шампанского, логарифмической линейкой и гидравлическим справочником в качестве свадебных подарков. Потом друзья из моей и Толиной группы с копченой колбасой, шпротами и сардинами. Мы плясали и пировали до утра. Случилось это в пятницу. В субботу, как известно, загсы закрыты. В воскресенье мы разъехались в разные стороны, а, вернувшись осенью домой, пойти туда поленились. И «расписались» мы пятнадцать лет спустя, перед тем, как подать документы на выезд в государство Израиль.

Окончив практику в начале августа, я села на поезд Ереван — Москва и отправилась в Новый Афон навстречу медовому месяцу. В купе за мной бурно ухаживал конопатый грузин. Угощал клубничкой и вишней и прозрачно намекал на свое высокое общественное положение. Узнав, что я — «молодоженка» и надежд на любовь с первого взгляда нет, он повел себя вполне разумно, а именно, превратился в преданного друга.

— Слушай, зачем тебе ехать в Новый Афон? Чего ты не видела в Новом Афоне? Там стоит скука, там преобладают монахи. Нормальные люди отдыхают в Сухуми. Сухуми — столица, развлекайся до утра, и снабжение как в Москве. И не буду хвастаться, но Шотик имеет там койкакой вес.

— Я вам верю, Шота Георгиевич, большое спасибо, но я никак не могу остаться в Сухуми, через два дня в Новый Афон приедет мой муж. Я еще должна комнату найти.

— Обижаетесь... В Сухуми тебе и пальцем шевелить не придется. Поселю как королеву. Чтобы никакой шантрапы вокруг не было.

— Но муж будет ждать меня в А ф о н е.

— Ждать... Ждать... Заладила, как попугай. Скажу ему, чтобы ехал в Сухуми, и поедет как миленький... На цыпочках прибежит, сама увидишь. Скажи только, откуда едет и когда?

— Из Березников, 15-го августа. В Афоне есть для меня телеграмма.

— Телеграмму доставим в Сухуми. И поселю вас в пансионате Синоп. Там — море и солнце, там пальмы и волны. И слово мое — закон природы. Обещал и сделал. Я этим известен, клянусь, и никогда еще не подкачался!

Его атака была столь решительной, что я невольно подчинилась и вышла с ним в Сухуми. У вагона дожидались двое военных. Они почтительно Шотика приветствовали. Мы вчетвером пересекли здание вокзала и подошли к белой Волге. В машине Шота преобразился: напыжился, надулся, задрал подбородок, прищурился и сквозь зубы процедил:

— Дня начала в контору.

До «конторы» было метров 200. Мы подкатили к дверям, и я увидела табличку:

СУХУМСКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Шотик с удовольствием покосился на мое окаменевшее лицо. Мы поднялись на второй этаж, прошли по мрачному узкому коридору и остановились перед обитой черной кожей дверью. Шота Георгиевич распахнул ее передо мной.

— Прошу входить и чувствовать себя непринужденно. Считай, что — дома.

Жестом усталого полководца он указал мне на кресло, а сам уселся за стол. Все в этом кабинете, кроме портретов Дзержинского и Хрущева, было обито черной кожей: и диван, и кресло, и оба телефона, и лампа, и даже чернильный прибор. На вешалке висела черная кожаная куртка. Шота достал черный кожаный портсигар, вынул из него французскую сигарету Голуаз, постучал ею по крышке портсигара, щелкнул черной кожаной зажигалкой (при этом она издала музыкальную фразу из «Сильвы») и, откинувшись в своем кресле, сладко затянулся. Затем он снял телефонную трубку и заговорил по-абхазски. В ту же минуту зазвонил другой телефон. Шота приложил трубку ко второму уху, не вынимая изо рта сигареты. Это было виртуозное па-де-труа. В первую трубку он смеялся, в другую кого-то отчитывал. Потом грозно рывкнул в первую и заворковал во вторую. Потом первую положил на стол, и оттуда доносилось тихое кваканье. Второй он, вероятно, расказал анекдот, потому что сам захохотал, раскачиваясь в кресле, и вдруг спросил по-русски: «Понимаешь всю пикантность, представляешь?» В трубке, очевидно, поняли всю пикантность, потому что Шота закивал головой:

— Учти, родной мой, подобные ошибки стоят головы.

Потом он положил на стол и вторую трубку, и она продолжала тявкать рядом с квакающей первой.

— С этим Гаргадзе просто умора... Такой болван, что будто и не грузин вовсе.

— Чем вам не угодил Гаргадзе? — вежливо спросила я.

Шота не ответил. Встал из-за стола, подошел к книжной полке, сунул руку между 7-м и 8-м томами сочинений Ленина и достал оттуда два бокала и бутылку армянского коньяка.

— Предлагаю выпить за начало счастливой супружеской жизни.

— Шота Георгиевич, вы забыли повесить трубки, и у вас телефон все время занят. К вам, наверное, не дозвониться.

— Телефон занят, потому что хозяин занят... Первую трубку он бросил на рычаг, а второй что-то приказал... Среди непонятных гортанных звуков я уловила слова Афон и Даргис.

Мы выпили коньяка, и тут снова зазвонил телефон. Шота выслушал сообщение.

— Слушай свою телеграмму: «Буду Афоне пятнадцатого скорым Москва — Тбилиси зпт проверь время расписанию зпт безумно соскучился трудом дотягиваю последние дни нежно целую твой Толя».

— А как же тайна переписки, Шота Георгиевич?

— Ой, не смейся, — замахал он рукой, — лучше дай краткое описание лица.

— В каком смысле?

— В прямом. Как он выглядит?

— По-моему, прекрасно. Но вам-то какая разница?

— Боюсь, что — дура. Мне нужно, чтобы его узнали, встретили культурно и попросили ехать до Сухуми.

Толин словесный портрет был тотчас передан одной из трубок. По дороге в Синоп Шота рассказал о том, как опростоволосился неизвестный мне Гаргадзе, оказавшийся начальником сухумского ОБХСС. Раз или два в году в нем просыпалось служебное рвение и охотничий азарт. Например, три дня тому назад он узнал, что готовится вредительская для социалистической системы хозяйства акция, и поспешил выслужиться. А зря... Некий молодой человек осуществлял связь между совхозами и продовольственными базами. Он приехал к поставщикам, нагрузился ящиками яиц и, вместо того, чтобы чинно благородно везти их в Сухуми, повернул в ближайшие субтропические джунгли. Кажется, это был Государственный им. Шота Руставели Ботанический сад. Там молодой человек вынул из кармана незаконно изготовленный штамп и начал ставить на яйца печать «диетические» и дату. Плебейские яйца продаются 90 копеек десятком, диетические же 1 р. 30 коп. Вот и сосчитайте выручку. Гаргадзе эту махинацию выследил. Он лежал, притаившись, в кустах рододендрона и фотографировал молодого человека. Когда же тот кончил штамповать свои яйца и собрался двинуть дальше, Гаргадзе выскочил, как леопард, и его арестовал... А зря... Юноша оказался племян-

ником тогдашнего премьер-министра Абхазии, чего ленивый Гаргадзе не потрудился выяснить заранее. Более того, в камере молодой человек симулировал самоубийство, слегка порезав бритвой руку около локтя. Небезынтересно знать, как в камере оказалась бритва... Гаргадзе в тот же день полетел со своего поста. И правильно, знай, кого арестовываешь...

— Самое большое, на что он может рассчитывать, — сказал Шота, — это получить вшивую должность редактора журнала «Правоведение». И не у себя дома, в Сухуми, а в какой-нибудь провинциальной дыре...

На дверях дирекции пансионата Синоп висела табличка:

ДО КОНЦА СЕЗОНА МЕСТ КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Директор встретил нас почтительными поклонами и лишь осмелился спросить, мысля ли я комнату с видом на море или на их «всемирно известный розовый сад». Я сказала, что мысля комнату подешевле. Этот ответ показался моим благодетелям вульгарным. Шота назидательно сказал, что во время медового месяца деньги не стоят ничего.

— Деньги в о о б щ е ничего не стоят, — сказал директор и, подняв к облакам выпуклые глаза, мысленно пересчитал свои миллионы. Затем он повел нас по Синопу, и я выбрала очень славную комнату с двумя кроватями, двумя тумбочками, двумя стульями и раковиной. Примерно так выглядит американская казарма. Шота лично принес из Волги мой чемодан и велел до вечера отдыхать. А в 7 часов 15 минут он заедет за мной и повезет ужинать в Эшери... Как пишут в английских романах, «утомленная долгим путешествием, не снимая дорожного платья, я бросилась на кровать и крепко уснула».

В семь часов пятнадцать минут в комнату постучали. На пороге стоял незнакомый господин с иссиня-черной щетиной, в кепке «аэродром». Он протянул мне руку и мрачно сказал:

— Ашот, трикотаж.

Я спросила, как это понимать.

— Буквально... Ведаю абхазским трикотажем.

— А где Шота Георгиевич?

— С пяти в Эшери. У него неожиданное ЧП, комиссия из Тбилиси. Покинуть их не мог, велел вас привезти.

Мы сели в ту же белую Волгу и отправились в Эшери. Ресторан этот совершенно прелестный. Расположен он в гротах на уступах гор, и между столиками журчат и вьются горные ручейки. Разноцветные, спрятанные в замшелых камнях лампочки освещают галечное дно и мелькающую форель, бросают таинственные блики на кусты родедендрона и лавра. Выбитые в скале ступени соединяют главный

зал с маленькими «кабинетами». В один из кабинетов и привел меня Ашот-трикотаж. Стол был накрыт на троих, и, Боже, что это был за стол! Пир запахов и цветов. В центре высилась башня маринованных закусок, перевитая, словно плющом, кинзой и тархуном. На блюде покоился жареный поросенок, дымились хачапури, лобio и сациви издавали аромат нездешних трав. Между блюдами мерцали бутылки коньяка и дивных грузинских вин. Мы начали ужинать в полном молчании. От главного зала нас отделяла лишь бархатная портьера, и хотя я не видела, что там происходит, до нас доносились голоса, смех и звон бокалов. Но вот заиграла музыка, задвигались стулья. Портьера отодвинулась, и в кабинете возник Шота. Рыжие кудри ореолом вились вокруг его головы, конопатое лицо побагровело и лоснилось. Шота был более, чем навеселе.

— Кушай, не стесняйся, и не заботься, и не торопись, — сказал он. — Тебе предстоит провести тут пару часиков. Скоро велю подать шашлыки и табака... лучшие в Абхазии и в мире. А я, как разделаюсь с начальством, так и присоединюсь.

— С кем ты там любезничаешь, Шота? — Из-за портьеры выглянул стройный седовласый человек с наружностью светского льва. Увидев меня, он сделал круглые глаза и тихо свистнул.

— Школьные друзья, абсолютно ничего интересного, — забормотал Шота, оттесняя седовласого плечом.

— Да неужели? А по-моему, очень даже интересно, — светский лев шагнул в кабинет. — Это Ашотик-то школьный друг? Ну и чувство юмора у тебя... Специфическое... Ашот, ты хоть знаешь, что значит слово «школа»?

Ашот стоял, вытянувшись по стойке «смирно», и отвечать не осмелился.

— А барышня откуда? Я в твоих курятниках ее раньше не встречал.

— Не барышня она вовсе, а жена закадычного друга, гениального математика из Ленинграда. Он завтра к нам приезжает.

— А пока ты барышню развлекаешь... Похвально... Сниму-ка я с тебя часть заботы. Можно с вами потанцевать? — обратился он ко мне и, не дожидаясь ответа, добавил: — Пойду закажу вальс для начала.

Седой вышел. Трикотаж все еще не смел шевелиться.

— Это Павлик Берзеншвили, генеральный прокурор Грузии, — скороговоркой выпалил Шота, — развратник и угодник, практически бонвиван. Не вздумай с ним связываться.

Он сунул руку в карман, вытащил револьвер и ловко бросил его мне на колени. От неожиданности и прикосновения холодного металла я вся сжалась и успела лишь при-

крыть револьвер полой скатерти, как прокурор появился опять.

— Не откажете? — Он протянул мне обе руки.

Я взглянула на Шоту. Он задумчиво смотрел вдаль поверх моей головы.

— Спасибо, не могу... Вернее, не умею...

— Ну, извините... — Прокурор нахмурился и вышел.

— Рисковый вы человек, Шота Георгиевич, — впервые раскрыл рот Трикотаж.

— А-а, пустяки... Старый, проверенный трюк... Женщина не может танцевать с оружием на коленях.

— Но женщина может переложить оружие с коленей на стол. — Испуг прошел, и я обозлилась.

— Порядочная женщина — никогда! Посуди сама, головой своей посуды. Если увидят, что я бросаюсь револьверами, скинут со всех постов и лишат потом заработанного имущества. Не говоря уж о том, что придется отсидеть... В первом приближении лет пять, не меньше. Порядочная женщина с моральными принципами этого никогда не допустит. Знаю, будучи психолог. Давай обратно игрушку. У меня без нее карман пустой.

— Сами возьмите, я боюсь даже трогать его.

— Да он не кусается... Разве что стреляет... И то не во всех. — Одобрив хихиканьем свою остроту, Шота спрятал револьвер в карман и оглядел стол: — Всего хватает? Или дополнительно распорядиться? — И он исчез.

Вечер тянулся бесконечно. Трикотаж пил коньяк и мрачнел все больше и больше. У него был такой вид, будто час назад он похоронил семью и возлюбленную. Наконец я попросила, чтобы он отвез меня в Синоп.

— Шота Георгиевич не распорядились.

Музыка в главном зале замолкла, зашаркали подошвы, стихли голоса. Бал кончился, Шота не появлялся.

— Вы всю ночь собираетесь меня тут держать?

— Не знаю, — трикотажное лицо выразило растерянность. — С одной стороны, было велено сторожить и развлекать, с другой, не было приказано до какого часа. А вдруг он имел планы?

— Какие еще планы? Немедленно везите меня домой... Или будете отвечать!

Мы вышли из ресторана. Было душно, в черном небе висели звезды, в кустах дребезжали цикады, воздух был напоен ароматом душистого табака. На стоянке, кроме нашей Волги, машин не было.

— Какие планы имел насчет меня Шота Георгиевич?

— Разные... Кто их знает... Например, отдохнуть в домике. — И он махнул рукой в сторону невидимых гор. Не успели мы отъехать, как нас ослепили фары, и из крошеч-

ной тьмы вынырнул военный газик с Шотой за рулем.

— Прекрасно и удачно, что застал. Не обижайся, дела есть дела. Отвезу тебя в Синоп собственноручно, а ты, Ашот, перегони «козла» в гараж.

— В каких это домиках вы отдыхаете, Шота Георгиевич?

— Я? Я отдыхаю? Да кто тебе сказал такую глупость? Ашот тебе сказал такую глупость? Ашот — ты азиат с низким культурным уровнем. Мне стыдно, что ты носишь национальность абхазца.

Подъехав к пансионату, Шота выскочил из машины, обежал ее, помог мне выйти, проводил до дверей и на прощанье поцеловал руку... Продемонстрировав тем самым высокий культурный уровень.

— Завтра в четыре будь готова. Поедем на вокзал встречать мужа. По дороге заскочим в Ботанический, я распорядился, чтобы настригли роз... Чао.

...Скорый Москва — Тбилиси подъезжал к вокзалу Нового Афона. Толя вышел из купе и в нетерпении пританцовывал в коридоре рядом со своим чемоданом. В тот самый миг, когда вагон дернулся и замер, в него с двух сторон вскочили вооруженные солдаты и пошли навстречу друг другу, выкликая:

— Даргис! Анатолий Даргис!

— Я — Даргис, — выдохнул Толя побелевшими от ужаса губами.

Взвод сгрудился вокруг него, намертво закрыв выход, и старший лейтенант КГБ повертел перед его носом служебным удостоверением.

— Вам приказано следовать до Сухуми, — сказал он.

— Почему? Что случилось? — Толя сделал попытку шагнуть вперед, но наткнулся на живую стену.

— Гражданин Даргис, соблюдайте порядок, а то мы будем вынуждены применить силу. Это не в ваших интересах.

— Но одну минуту! Меня здесь встречает жена! Она где-то на перроне, я должен предупредить ее!

— Вы должны подчиняться приказу, а приказ есть не выпускать вас в Афоне.

— Ну, можно, я хоть крикну ей?

— Я тебе крикну! Я тебе так крикну! — потерял терпение лейтенант.

Поезд тронулся. В сопровождении военного эскорта Анатолий Даргис отправился дальше. Его затолкали в купе, куда вслед за ним набились солдаты с целью неусыпного наблюдения...

— Скорый поезд № 17 Москва — Тбилиси прибыл в столицу солнечной Абхазии, город Сухуми. Стоянка поезда 12 минут, — прохрипел громкоговоритель.

Едва удерживая колючую охапку роз, я бросилась вдоль

вагонов. Шота семенил следом. Со ступенек вагона № 5 соскочили двое солдат и встали по обе стороны двери. За ними спустился офицер, увидев Шоту, вытянулся в струнку и отрапортовал, что задание выполнено. Потом из вагона высыпали остальные защитники родины, и, наконец, в тамбуре показался Толя.

— Привет, Толяй! — закричал я. — Видишь, как замечательно все получилось?

Он стоял, не шелохнувшись, и смотрел на меня затравленными глазами.

— Да выходи же, наконец, приехали!

Толя медленно спустился со ступенек вагона. За ним последовал охранник, неся Толин чемодан.

— Здравствуй, милый, здравствуй, родной! С приездом! — И я протянула ему розовый куст.

— Это твоих рук дело? — спросил Толя бесцветным голосом.

— Конечно, чьих же еще? Вместо того чтобы тащиться в Афон, я...

Толя размахнулся и закатил мне пощечину немислимой силы. Розы рассыпались по платформе, я с трудом удержалась на ногах. В глазах заскакали золотые искры, в голове загудел Царь-Колокол. Солдаты подбежали к Толе и скрутили ему за спиной руки.

— Отставить! — взвизгнул Шота Георгиевич. — Отпустить, но держать! Не по нашему это ведомству! Мы бандитами не занимаемся! Солонидзе! Багатурия, вызывайте милицию! А то приезжают, культурные, и хулиганничают!..

Так начался наш с Толей Даргисом медовый месяц.





Редкая амазонка
долетит до середины Амазонки

ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ. Круг творческих, профессиональных интересов Зои Богуславской очень широк: она — кандидат искусствоведческих наук, преподавала в ГИТИСе; автор статей и книг о театре и кино; журналист и прозаик.

Ее первый роман «И завтра», посвященный физикам-атомщикам Дубны, был опубликован в журнале «Знамя» и переведен практически во всех странах Восточной Европы. Потом написаны романы «Семьсот новыми», «Гонки», «Транзитом», «Защита», «Близкие». Герои романов Зои Богуславской — наши современники, ученые, актеры, врачи, адвокаты.

Зоя Богуславская — драматург, автор двух пьес: «Обещание» и «Контакт».

Зоя Богуславская пишет статьи об известных деятелях западной культуры, со многими из которых она давно дружит. Все они объединены в серию «Невыдуманные истории».

Нашим читателям мы предлагаем фрагменты из новой книги Зои Богуславской «Американки». Книга эта написана по следам многочисленных встреч и бесед с женщинами США разных социальных уровней — от Первых леди страны до тех, кто живет за чертой бедности или опустился на самое дно преступного мира.

Глава из книги, которую мы предлагаем читателям, рассказывает о бывшей хозяйке Белого дома.

Зоя Богуславская

АМЕРИКАНКИ

Еще вчера — Первые леди

Хозяйки Белого дома всегда притягивали к себе внимание американцев. Вызывая восхищение, кривотолки, желание подражать им или дискредитировать их, Первые леди накладывали неповторимо-индивидуальную окраску не только на ритуал Белого дома, но и на психологическую его атмосферу. Будучи свидетельницами целых периодов истории Америки, они сами принадлежат ей.

Мне довелось познакомиться с тремя женами президентов, каждая из которых играла исключительно важную роль в Белом доме: с Жаклин Кеннеди-Онассис, Бетти Форд и Нэнси Рейган.

Я расскажу об одной из них.

ЖАКЛИН

Тот день, когда Жаклин Кеннеди-Онассис — женщина, пережившая одну из самых невероятных трагедий современной Америки, — появилась в доме министра торговли Питера Питерсена и его жены Салли, был не совсем обычным. Накануне прохладного ноябрьского вечера 1977 года газеты сообщили, что в машине, откуда только что вышла дочь Жаклин Каролина, взорвалась бомба. К счастью, девушка не пострадала, она успела подняться к своим знакомым.

Просторная квартира Питерсенов на Грэйс Сквер, хорошо известная в интеллектуально-художественных кругах Нью-Йорка, была обставлена с редкой изысканностью и выдавала любовь хозяев к модерну, живописи начала века, современному дизайну. Салли Питерсен мечтала приобрести Кандинского.

В гостях кроме Жаклин Кеннеди было несколько университетских профессоров, молодой сенатор с гуманитарным уклоном, издатель «Нью-Йорк таймс» и хорошо известный у нас писатель Курт Воннегут. Мне выпало сидеть между Жаклин и молодым профессором Колумбийского университета Весли Фишером, специалистом в области русского языка. Сохранились любительские фотографии, сделанные Дэвидом — сыном хозяйки. Мы — за столом, у

деревьев, растущих из пола; сегодня эти снимки представляют особую ценность, поскольку Жаклин Кеннеди многие годы избегает лишнего фотографирования.

Мне было трудно в обычной обстановке воспринимать эту женщину, ставшую легендой. Для меня, как и для многих в России, убийство Джона Кеннеди в 1963 году и последовавшие за ним события были сильнейшим потрясением, изменившим в определенном смысле восприятие современной Америки. Нам, не ведавшим меры беззакония в нашей стране, казалась невысказанной безнаказанность, с какой уничтожались свидетели и улики, как только они обнаруживались по ходу следствия, мы не верили, что «дело Кеннеди» будет завершено без обнаружения и наказания всех преступников, причастных к убийству. Это разочарование в правовом демократизме Америки, длившееся полтора десятилетия, кончилось лишь в пору Уотергейта, когда вера в престиж судопроизводства и силу общественного мнения американцев была в наших глазах восстановлена.

Пока я вслушиваюсь в плавное течение беседы за столом в нарядной гостиной Питерсенов, услужливая память высвечивает кадры кинохроники: кортеж во главе с открытой машиной президента в Далласе на пути с Мейн-стрит к Элм-стрит, непроизвольные движения Джона Кеннеди вперед после выстрела, с лицом, залитым кровью, его жену, только что ослепительно улыбавшуюся, в розовом костюме с букетом ярких цветов, а теперь как бы сползающую вслед за ним из машины с остекленевшим взглядом. Вспоминаю я и череду последовавших событий: удар, быть может, не меньший для Жаклин, чем смерть мужа, — как эхо близкое, убийство Роберта Кеннеди, брата президента, долгое и мучительное расследование, страх за детей, — весь этот поток несчастий, связанных с насилием и бессилием, быть может, повлиял на решение — заключить новый, многим непонятный брак с крупнейшим судостроителем греческим магнатом Аристотелем Онассисом в 1968 году и уединиться с детьми под надежной охраной на его острове Скорпиос. Когда и это безопасное уединение оборвалось смертью второго мужа, миссис Онассис вернулась в Нью-Йорк и вскоре начала сотрудничать в издательстве «Вайкинг», где, в частности, выпустила интересную книгу об истории русского костюма.

Очевидно, в связи с публикацией книги беседа за столом коснулась истории России. Американцев поражает убранство царствующих особ, неповторимый узор тканей, своеобразные драгоценные украшения на платьях, головных уборах, поясах. Жаклин отвечает на вопросы, с большим знанием отзывается о недюжинном уме и образованности императрицы Екатерины II, о ее силе воли, кто-

то приводит в пример переписку ее с Вольтером и другими просвещенными людьми века. Затем разговор переходит на последние газетные новости, касается предстоящей выставки советского авангарда и возрождения интереса в мире к Петрову-Водкину, Кандинскому, Филонову, Малевичу, Гончаровой, Серебряковой.

В какой-то момент наступает затишье, ковровые настилы поглощают остатки голосов, и тут я все же решаюсь и задаю вопрос, который мучил меня весь вечер:

— Что же случилось с вашей дочерью Каролиной?

Гости спешат разъяснить происшедшее в Лондоне, высказывают предположение о том, как могла попасть бомба в машину. И сквозь все это моя неуместная настойчивость, желание проникнуть в психологию женщины, чья трагедия все еще не кончается:

— Как вы поступите теперь? Наверное, небезопасно ей оставаться в Лондоне?

Впоследствии свидетель этого разговора профессор Весли Фишер, усмехаясь, заметил, что вряд ли кто-нибудь другой из присутствующих мог заговорить на эту тему с Жаклин, на подобный вопрос могла отважиться только иностранка.

По лицу Жаклин проскальзывает легкое неудовольствие.

— Я думала об этом, — поднимает она широко расставленные, всегда чуть удивленные глаза. — И первым моим побуждением было немедленно потребовать, чтобы Каролина вернулась. Но я остановила себя. Поразмыслив, я пришла к выводу, что, заставив ее вернуться, я навсегда передам ей мой страх. — Жаклин медлит, подбирая слова и переводя взгляд с одного собеседника на другого. — Каролина не должна испытывать страха, иначе она не выдержит. Моя дочь обязана знать, что это может случиться, но при этом не испытывать страха, ведь она — Кеннеди. — Наступает пауза. Мы никогда не узнаем, о чем подумала вдова президента в ту минуту. — Я спросила дочь по телефону: «Что ты собираешься делать?» Каролина ответила: «Ничего. Все нормально». И я не стала настаивать на возвращении.

Много позже, узнав обстоятельства жизни семьи Кеннеди, когда некоторые «свидетели» событий пытались оценивать поступки Жаклин с точки зрения мещанских, бытовых претензий, я поняла, как она права. Упрочение престижа семьи Кеннеди, с ее нескончаемой Орестеей, за которой следил мир, вызывая у одних восторг на грани обожествления, у других — ненависть (как к клану), было самым надежным способом самосохранения. И Каролина должна была жить с высоко поднятой головой.

Прошли годы.

Сейчас Джекки Кеннеди-Онассис, как рассказывают ее друзья, по-прежнему живет довольно уединенно, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, она пользуется уважением и любовью, сотрудничая в издательстве «Дабл дэй», отказывается от интервью. Только что появилась книга Дэвида Хейманна «Женщина по имени Джекки».

Мне не повезло снова увидеться с ней на этот раз. Быть может, потому, что приезд совпал с тревожным временем — 25-летием со дня убийства Джона Кеннеди, датой, широко отмечавшейся по всей Америке, поднявшей на поверхность не только старые воспоминания, но и новые свидетельства.

Так совпало, что путь мой лежал именно в Даллас. Все кипело вокруг предстоящих через три дня выборов нового президента. Моя переводчица и спутник в путешествии американка Мишель Берди (Мики) очень радовалась, что мне повезет наблюдать предвыборные митинги, затем само голосование, да еще в Далласе! Но мне хотелось еще и пройти по улицам, которые еще хранят память о последних днях и часах покойного президента.

В самолете от Лос-Анджелеса до Далласа нам, как бы для воскрешения в памяти событий тех лет, показали документальный фильм. Плохо смонтированный, немного рекламно-бравурный, но подлинный. Детство Джона Кеннеди: хорошенький мальчик бежит по берегу моря, подросток в окружении братьев, сестер, матери, отца, бабушки, дедушки, стройный молодой офицер с отличной выправкой и с трудом приглаженной светлой копной волос, потом уже — жених, с победным видом шагающий рядом с будущей женой — изящной француженкой, в открытом подвенечном платье, с обнаженными тонкими руками и роскошным водопадом темных волос. Обошедшие мир стоп-кадры: открытая машина с президентской четой, губернатором Джоном Коннэли, крупным планом — пораженный пулей в голову Дж. Кеннеди и его жена, затем уже в самолете Жаклин в том же розовом костюме, забрызганном кровью мужа, рядом с вице-президентом Л. Джонсоном, теперь уже президентом, — все трое, словно подтверждение реальности происшедшего, казавшегося кошмаром¹. И наконец, снятая рапидом, церемония похорон. На белом воинском лафете тело президента, оно плывет над движущейся многотысячной процессией жителей города, над многочисленной группой его семьи, следующей за лафетом, и отдельно высвеченная камерой фигура Жаклин, ее профиль, заслоненный траурной кружевной накидкой...

И вот я стою у скромного монумента, с двух сторон

¹ Мне рассказали, что Жаклин предлагали переодеться, а она твердила: «Нет, пусть все смотрят на меня в этом виде».

огороженного белой балюстрадой, в небольшом сквере, расположенном рядом с улицей, на которой его убили. По свежезеленой траве, не тронутой увяданием, ползет луч солнца. Редкие в этот час туристы разговаривают вполголоса. Читаю надпись под монументом:

«22 ноября 1963 года, Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов, посетил город Даллас. Кортёж с президентом ехал на север, на Хьюстон-стрит, а потом свернул на запад на Элм-стрит, когда в 12.30 раздался выстрел, ранил президента и тогдашнего губернатора Техаса Джона Коннэли. Исследования комиссии Уоррена показывают, что выстрел был совершен из окна шестого этажа здания Техасского школьного книжного хранилища, которое находится на углу Элма и Хьюстона. Президент Кеннеди скончался в больнице Паклэнд-Мемориал, в час дня».

— Я очень хорошо помню все пленки, — помолчав, замечает Мики. — Это, по-моему, любитель снимал. И кортеж, и то, что случилось. Все присутствовавшие слышали не сколько выстрелов. Но они сомневались: один ли это был выстрел, отозвавшийся множественным эхом, или это были несколько выстрелов. Я помню, что мне показалось непонятным на снимках это движение вперед жены президента в открытой машине, она как будто увидела что-то вылетевшее, гильзу, пулю или что-то еще, и автоматически двинулась туда, чтобы это взять. Потом она объяснила, что совершенно ничего не помнила, не знает, почему она это сделала. Из комиссии Уоррена кто-то подтвердил, что нашли еще одну гильзу и что эта гильза была не из винтовки Освальда, поэтому, мол, стрелял не он один. Но это все до сих пор покрыто тайной.

Потом мы пытаемся войти в дом № 411 по Элм, где располагается бывшее Техасское школьное книжное хранилище. На красном терракоте здания с полукруглыми окнами в черных рамах (словно прицел с мушкой) прибиты вывески нового офиса. Несколько окон на 6-м этаже, откуда раздавались выстрелы, приоткрыты. Нам не удается подняться. Объявление гласит, что посещения не разрешены, так как мешают работе офиса, но что в будущем году откроется музей, и тогда доступ в верхние этажи возобновится.

Словно помогая осмыслить увиденное и узнанное, случай подбрасывает в день отлета свежий номер журнала «Женский дом». Впервые двум журналисткам — Марне Блиф и Джейн Маррел — удалось получить интервью у Марины Освальд-Портер, вдовы убийцы Джона Кеннеди. Впервые за 25 лет Марина заговорила о происшедшем в ноябре 1963 года, о том, что «изменило всю американскую национальную историю» и ее собственную жизнь. В свое время

под влиянием шока, когда она узнала о поступке мужа, и ужаса перед опасностью быть уничтоженной с детьми, как это случилось с другими свидетелями, вдова Освальда дала зарок молчания. И вот новый человеческий документ, полный боли и горечи, заставил взглянуть на те давние события по-иному. Во всю страницу на меня смотрела круглолицая, еще молодая женщина с умным, все испытавшим взглядом немислимо ярких синих глаз.

«Я жила многие годы с ощущением страшной вины, — прочитала я на первой же странице. — В течение стольких лет я пыталась себя: могла ли я что-нибудь сделать, чтобы не произошло убийство в 1963-м? В своих мольбах я всегда испрашивала прощения у Джекки Кеннеди, я думала о моей роли жены убийцы и приходила к выводу, что все, что я могу, — это желать ей самого лучшего».

Так переплелись для меня в неожиданной точке судьбы столь разных по происхождению, положению в обществе женщин, до 22 ноября не ведавших о существовании друг друга. Кто же она, Марина Освальд-Портер? Русская американка, попавшая в водоворот истории, что она знала и думала о муже? О мотивах преступления? Как жила в чужой стране, окруженная стеной ненависти к покойному мужу?

Родилась Марина Проскурина в Советском Союзе. В 20 лет она познакомилась в Минске с Ли Освальдом, не раз бывавшим в России, затем они поженились. Вскоре у них появилась одна дочь, потом другая. Всего за семнадцать месяцев до страшного дня убийства Марина с мужем переехала в Техас, поселилась в Далласе (где и сейчас живет) с двумя детьми полутора лет и четырех месяцев.

В тот день по телевизору она видела покушение на президента, но, когда вошел полицейский и сказал, что это ее муж — виновник случившегося и это ему предъявлено обвинение в убийстве, она испытала такой ужас, что все последовавшее долгое время выталкивалось из ее сознания. Несчастье усугублялось плохим знанием нового для нее языка. На первом же допросе она подтвердила, что оружие принадлежит мужу, и, следовательно, признала, что он виноват... «Я была тогда, как слепой котенок, — говорит теперь Марина. — Мне было так страшно. Одного я не могла понять: зачем Ли понадобилось убивать президента? Ведь он не раз говорил мне, что очень уважает и любит Кеннеди». Потом она многое вспомнит, что ей казалось странным в поведении мужа перед покушением: «Он как будто бы специально появлялся то в одном, то в другом месте, чтобы потом кто-то мог вспомнить об этом и это всплыло». Анализируя прошлое, Марина теперь говорит и о двух моментах, которые казались неубедительными в официальной версии, согласно которой Освальд все это за-

думал и выполнил один. В канун убийства ей припомнилось, что вдруг возник какой-то человек, которому понадобилось выдавать себя за Ли Освальда, чтобы запутать потом следствие. К примеру, свидетели подтверждали, что видели Освальда, который хотел купить новую машину, пил в баре... Однажды человек из ФБР повел ее в магазин, где Ли якобы купил оружие и кто-то даже описал Марину, сказав, что женщина, схожая с ней внешне, носила платье, подобное тому, что носят беременные. Такое платье было у нее на самом деле. Но Освальд никогда не пил и не умел водить машину. А она никогда не была в том магазине, где якобы ее видели с ним. Это были подставные люди. Ведь кому-то понадобилось, чтобы Джек Руби убрал Ли и никогда не раскрылась правда. Сейчас она думает, что Освальд был пешкой в каком-то замысле, кому-то было нужно, чтобы убили Кеннеди, и мужу поручили это. До сих пор Марина не уверена, что убил президента именно Освальд, это окончательно не доказано. Не доказано, что его выстрел был смертельным. Подтвердилось, что Ли выстрелил из окна шестого этажа дома, но нет доказательств, что из многих выстрелов именно выстрел Освальда был смертельным для президента. «Незадолго до 22 ноября, — рассказывает Марина в интервью, — Ли хотел отправить меня с детьми в Союз обратно, я тогда решила, что у него появился кто-то и что я ему мешаю. Я отказалась ехать, но теперь я думаю, что он просто хотел защитить меня и детей от того, что на нас надвигалось. Теперь я думаю, что он был агентом, работал на американское государство. Может быть, разведчик, работал на ЦРУ или на другую госслужбу, как шпион, но он не был одиночкой, который сам принял решение убить президента. Ему это было поручено. У меня осталось на совести, что я не сумела найти доводы, чтобы защитить Ли, а сразу все признала. Потом, когда они его убили и некому стало его защищать, мне было особенно тяжело. Он-то уже не мог себя защитить. Я очень горевала, когда он умер. Я не говорю, что он не виноват, конечно, он участвовал в сговоре, знал обо всем, но я не знаю, вылетела ли та пуля, которая убила президента, из ружья Ли. Это был сложный заговор, гениально выполненный, неужели только один человек мог все это организовать? Ведь само убийство Освальда от руки Джека Руби и гибель других свидетелей были частью того же прикрытия...»

Проходит два года со дня убийства, и Марина Освальд выходит замуж. За фермера Портера. И Марине Освальд стала необходима защита мужчины, который возьмет на себя ответственность за нее и ее двух детей. Но, какется, настанет день и «кто-то из правительства скажет: «Извините». Она уверена, что пока никому — ни ей, ни народу —

не сказали всей правды об убийстве. «Не имеет значения, сколь вы богаты или бедны,— добавляет она,— две женщины чувствуют одинаковую боль, Джекки несет в сердце свою, я — свою. Я желаю ей благополучия. Когда ее дочь Каролина родила малыша, я была в восторге. Я слышала, что ребенок здоровый, и радовалась, что это так. Я хожу на могилу с прежней уверенностью, что Ли восторгался Джоном Кеннеди. Откуда, по-вашему, я тоже научилась любить его? Теперь я уже не та девочка, которая попала в чудовищную ситуацию, у меня взрослые дочери и сын. Я счастлива быть женой и матерью, мой муж заботится обо мне. Но я верю: когда-нибудь я узнаю правду, потому что прекрасная страна Америка стоит того, чтобы ей сказали правду, она достойна правды, и я тоже должна узнать правду».

Я надеюсь, что когда-нибудь и из уст Жаклин Кеннеди-Онассис мы узнаем многое, о чем еще не пришло время говорить открыто.





Νινιργυ-νινιφ

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА. Очень приятно и одновременно трудно писать о себе, приятно потому, что вроде бы как и сюжет известен, и герой весьма симпатичен; трудно же оттого, что навыка нет, да и скромность, знаете ли... Но все-таки:

Татьяна Морозова: родилась и все прочее в Москве, училась в школе, институте культуры, ныне учится в Литературном институте. Долго-долго Татьяна работала в библиотеке, отсюда — любовь к книгам и процессам, с книгами связанными. Она книги читает (часто), книги пишет (частями), книги иллюстрирует¹ (впервые, если не считать собственных — рукописных).

Татьяна Морозова, к сожалению, совсем не умеет петь, что находит отражение в ее творчестве. Зато она неплохо рисует, тому подтверждение: персональная выставка в галерее «Сан Микеле» Алекса Козмини (Триест, Италия, август 1989 г.), выставка графики в галерее «Линка» на Принценграхт (Амстердам, Нидерланды, июль 1990 г.).

¹ Т. Морозова — художник книги, которую вы читаете.

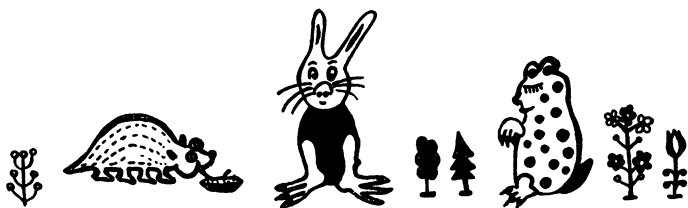
Татьяна Морозова

ХРАБРЫЙ-ХРАБРЫЙ ВОЦЕНЗУК, или ИСТОРИЯ О ТОМ, ПОЧЕМУ СИРЕНЕВЫЕ КРОЛИКИ ВСЕГДА ЛОЖАТСЯ СПАТЬ РОВНО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Много-много лет тому назад, а может быть, и вперед, а может быть, и как раз посередине, в королевство сиреневых кроликов пришла беда, и беда эта вскоре стала слишком похожа на катастрофу.

Вот справка: королевство сиреневых кроликов находится в Цветной стране, которую очень легко найти, если очень далеко идти и очень часто сворачивать в сторону — важно только определить, в какую, — ну, а там уже совсем рукой подать. Позади королевства кроликов, что находится в Синем лесу Цветной страны, течет Красная река, такая широкая, что кролики считают ее морем. По реке этой можно приплыть к Синему лесу, а можно конечно же и уплыть в далекие неведомые страны, но кролики, надо сказать, плохие путешественники, особенно по воде.

Справа от Синего леса расположилась Розовая лесостепь, там живут-поживают желтые бурундуки, смешные и неуклюжие животные, кролики почти совсем не дружат с ними, потому что желтые бурундуки слишком заняты своими делами: они роют норы и спят в них. Не дружат кролики и с левыми соседями — белыми хомяками. Белые хомяки, конечно, милые существа, но зачем они все время едят и засовывают еду за щеки? Разве можно поговорить о чем-нибудь стоящем с тем, у кого щеки плотно заняты едой, пусть даже питательной и полезной?



А впереди владений сиреневых кроликов раскинулось тяжело дышащее Бурое болото, кто живет в этом болоте, вы сейчас и узнаете, для этого не нужно так любопытно

ПОРТРЕТ
КРОЛИКА



ПЕРЧАТКИ
НА,
,

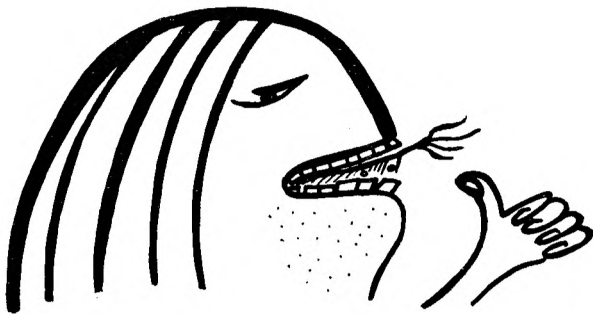
ИМ
ЖЕ

И НАРИСОВАНИИ

И
Ы
И

заглядывать в строчки не по порядку, ведь прежде чем открыть правду, нужно немножечко к ней подготовиться. Дело, видите ли, в том, что именно из Бурого болота и пришла к кроликам та страшная беда, которая свергла робких сиреневых жителей Синего леса в панику и смятение.

Однажды погожим весенним утром кролики заметили, что возле болота выросла какая-то гора, как вскоре выяснилось — живая и прожорливая. Это был страшный зверь Грхмб..., нет, выговорить его имя нет никакой возможности, просто — зверь, чудище болотное. Сначала чудище смяло и проглотило всю ближнюю растительность, оно вытягивало из бурых складок свою руку, типичное щупальце, и вырывало с корнями траву, кустарники и даже одну молодую березку, а затем бросало такую прелесть в свою дикую развернутую пасть. А еще затем щупальце побагровело и схватило упитанного добродушного кролика по имени Рукавичкин, который мирно завтракал вишневой корой на безопасном, казалось бы, от Бурого болота расстоянии.



В королевстве началось легкое беспокойство, испортилось не то два, не то три аппетита, король сиреневых кроликов Хрумст Третий издал приказ, чтобы каждый завтракающий, обедающий и ужинающий кролик сначала смотрел направо, затем налево и уж только потом бы приступал к трапезе.

Беспокойство улеглось, кролики верили в силу приказов короля, но следующим утром чудовищным щупальцем был изловлен степенный кролик Нарукавников, смотрящий как раз направо перед вторым завтраком. Сиреневые ученые определили, что диапазон возможностей Грхмб... явно возрос.

Тотчас возродилось беспокойство, постепенно перехо-



дящее в настоящее волнение — королевский приказ не помог! не спас! Уже по лесу бегал маленький вредный кролик Перчаткин и кричал тоненьким голосом: «Караул! Спасайтесь, кто может!» Причем бегал он поблизости от жилья глухого кролика с красивой двойной фамилией Рукавичкин-Нарукавников. Тем самым злодей Перчаткин намекал на наличие интеллекта у бесформенной бурой горы, у этого тупого и прожорливого негодяя, у этого Грхмб..., словом, чудища болотного.



Пришлось Хрумсту Третьему издать следующий приказ. Приказ гласил: «Я, Хрумст Третий, король Синего леса, призываю население к спокойствию! Обстановка становится более благоприятной. Принимаются меры. Приказываю всем жителям Леса, в том числе и паникеру Перчаткину, носить синие накидки в цвет леса. Это послужит делу маскировки и обманет болотного зверя с непроизносимым именем!» Такой вот был приказ.

Ранним утром следующего дня чудище поймало умы-

вающегося Хрумста Третьего, не посмотрев ни на синюю накидку, ни даже на то, что Хрумст был не просто третьим, а — Третьим. К чести погибшего надо признать, что он был съеден как герой.



Противный маленький Перчаткин (болтливая и ядовитая личность) с непонятным звоном бегал по лесу и распространял дикие слухи криками: «Погибли! Мы все погибли!» Перчаткин мешал Совету сиреневых мудрецов решать, как же спасти жителей Синего леса, что находится в Цветной стране.



Долго думали мудрецы, шевеля сиреневыми ушами и подкрепляясь калорийной вишневой корой. Наконец встал главный мудрец, самый старый и самый сиреневый кролик

(у кроликов с возрастом окраска становится все более и более сиреновой, это очень удобно для определения старшинства, а значит — так у них считается — и мудрости).

— Да, — сказал главный Мудрец, — придется доставать волшебную дудочку.

Мудрецы зашумели, но даже самому глупому из них было ясно, что без дудочки не обойтись.



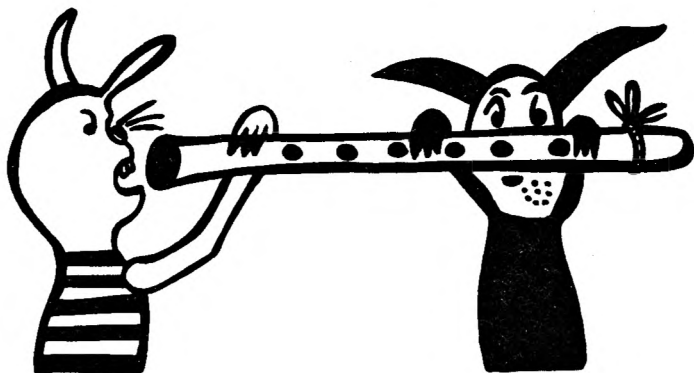
Лишь один раз в истории королевства использовалась волшебная дудочка, когда по непонятно чьей вине (подозревался кролик из семейства Перчаткиных) загорелся синий куст, а за ним пытался загореться и весь Синий лес. Тогда из потайных подвалов, где, по слухам, ждали своего звездного часа неисчислимые запасы вишневой и черешневой коры, была извлечена серебряная дудочка с золотым ободком. Тогдашний главный мудрец дунул в нее и... пошел дождь: так был спасен лес. Да, нужна была дудочка — иных выходов не было.

Три старых почтенных кролика принесли замечательную дудочку, так и не запывившуюся за такое долгое время! Не то, что мебель в квартире, чуть ли не каждый день протирай, да протирай.

Главный мудрец благоговейно поднес дудочку к губам и...

— Плывет!! — услышали мудрецы и все остальные громкий крик вездесущего Перчаткина. И действительно, по Красной реке на серебряной лодке с золотым ободком плыл бесстрашный рыцарь, всемирно известный ратными подвигами — храбрый-храбрый Воцензук. Ах, как он сверкал на солнце, этот удивительный рыцарь, его длинная

борода (целых два сантиметра!) развевалась по ветру, за поясом у Воцензук искрился кинжал с розовой пластмассовой ручкой.



— Где этот Грхмб... или как там его! Клянусь голосом моей восхитительной Онсапоенго, меня не волнует его имя! — закричал Воцензук, спрыгивая на синюю землю. — Я вызываю тебя на бой, злодей, как бы там тебя ни звали! И да увидит рыжеволосая невеста моя Онсапоенго, как мирно и счастливо заживут ленивые сиреневые звери!



Они бежали к болоту. Первым бежал храбрый-храбрый Воцензук, за ним на приличном расстоянии не очень спешили перепуганные обитатели Синего леса, что находится в Цветной стране. Навстречу им бежало крово-

жадное щупальце болотного зверя. Быстро и расчетливо выхватил Воцenzук свой кинжал за пластмассовую ручку и с возгласом «Онсапоенго!» отрубил хищное орудие чудовища, погубившее лучшие умы и судьбы Синего леса. Хлынула в землю бурным ручьем побежденная болотная кровь, и на месте бесформенной горы на краю Бурого болота выросло мрачное красивое дерево с мертвыми черными ветвями. Дерево выросло как памятник храброму подвигу безупречного рыцаря Воцenzука.

Вот так праздник начался в Синем лесу! Вот так фейерверк! Были разбужены и приглашены сонные желтые бурундуки, пришли и щекастые хомяки, вот тут-то и произошел пир и цветной хоровод! Меня тоже пригласили на тот пир, ну там соответственно мед-пиво, но вот по усам не текло — не растут у меня усы, увы!



— Оставайся у нас, о рыцарь, — сказал Воцenzуку сиреневый мудрец, — будешь в лесу самым Главным и самым Любимым.

— Самым главным не хочу, — сказал скромный Воцenzук, — в вот любимым — пожалуйста! Только скорее приехала бы моя обожаемая рыжеволосая, ни с кем не сравнимая Онсапоенго!

— Плывет! — закричал в тот же миг проныра Перчаткин, и все увидели, как по Красной реке на зеленом плоту к ним плывет необыкновенная красавица с круглыми серыми глазами и огненными волосами — невеста храброго Воцenzука, боготворимая им Онсапоенго.

— А, вот где мой кухонный нож с розовой ручкой, — сказала Онсапоенго, спрыгивая в объятия Воцenzука. — Я-то ищу его по всей квартире.

И Воцenzук с Онсапоенго поселились в Синем лесу. Кролики полюбили их больше, чем самих себя, и даже больше, чем вишневую кору, но... Только одно НО смущало и приводило в волнение стройные ряды сиреневых жителей. Дело, видите ли, в том, что... как бы это помягче сказать... В общем и целом: у восхитительной Онсапоенго обнаружился один (всего один!) ма-а-аленький



недостаток, которого не замечал храбрый-храбрый Воцензук. Не замечал потому, что был очень храбр. Правда, не настолько храбр, чтобы считать этот недостаток достоинством своей невесты, в чем сама Онсапоенго не ведала и тени сомнения.



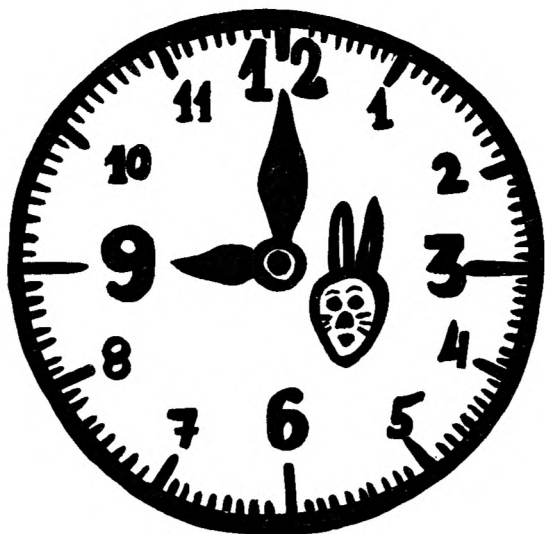
Так вот в чем дело: по вечерам Онсапоенго пела. Она знала четыре песни и ровно в девять часов вечера начинала распевать их на весь лес. Впрочем, если бы она знала три или даже две песни, это ничего бы не изменило, ведь песни довольно и одной, во всяком случае, в исполнении Онсапоенго.

В первый же вечер от ее пения пострадали подслушивающие маленький Перчаткин и его брат, еще более маленький Перчаткин. У них завяли уши. Это такая очень тяжелая кроличья болезнь, она лечится долго и горькими лекарствами. Кролики схватились за головы. Был срочно созван Совет сиреневых мудрецов, вот что решил тот Совет и записал печатными буквами:

«Ровно в девять часов вечера, когда Онсапоенго начинает свое пение, все сиреневые кролики во избежание заболевания должны закрывать ставни своих домиков и ложиться спать. Эта жертва приносится нами в знак любви к храброму нашему спасителю Воцензуку и к любезной его невесте, прелестной рыжеволосой Онсапоенго!»



Таково было решение Совета, единственное и верное.
Вот почему сиреневые кролики, жители Синего леса,
всегда ложатся спать ровно в девять часов вечера, и делают
они это неукоснительно!





СО Д Е Р Ж А Н И Е

АПОКАЛИПСИС ПО-АМАЗОНСКИ

Нина Горланова. Покаянные дни, или В ожидании конца света	7
Ирина Полянская. Чистая зона	32
Татьяна Набатникова. Говори, Мария!	52

АМАЗОНКА НЕ ТОЛЬКО МАТЬ, НО И ОТЕЦ

Татьяна Толстая. Ночь	63
Марина Вишневецкая. Начало	70

АМАЗОНКИ — ТЕ ЖЕ ДЕТИ: ТО ПЛАЧУТ, ТО КАПРИЗНИЧАЮТ, ТО СМЕЮТСЯ

Эна Трамп. Дети	101
Евгения Перепелка. Шофера	145
«Как я хочу быть тем мужчиной...»	145
«В плену у кожаной тужурки...»	145

АМА-ЗОНГИ

Нина Искренко. Фиванский цикл	149
Юлия Немировская. Стихи о любви	160
«Вотще, — с листа заметил Пушкин...»	160
«А-а-а! На самую первую букву...»	161
«В булочной-кондитерской...»	161
Мария Галина. « — что такое дорада?...»	162
«За скользской подводною глыбой...»	162
«Беспощадна зелень южных трав...»	163
«Прощай, Фаина! Ты проходишь серыми...»	163
«Если считать от третьих ворот, что справа...»	163
«А меня не убьют, потому что я здесь не жила...»	164
Елена Кацюба. Рождение Евы	165
Вариация на восточную тему	165
Эвелина Ракитская. «Шестого ноября...»	167
Афганская баллада	168
«Когда я буду в Гарварде читать...»	169
Поезд «Россия». 1986	170
«А еще мне снился сон...»	170
«Убьют меня пятого мая...»	171

Маргарита Потапова. Деревня	172
«Я помню ваш упрямый рот...»	173
О новгородской погоде	174
Людмила Абаева. «Мужчина, которого я люблю...»	175
Река	175
«О господи, осень!..»	176
Зимняя дорога домой	176
Море	176
«Все было ничьим и останется впредь...»	177
«Нет замысла и нет спасенья...»	177

АМАЗОНКИ: TODAY-СЮДЭЙ

Валерия Нарбикова. Около эколо...	181
Лариса Ванеева. Антигрех	224

ВСЕ РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ АМАЗОНКИ

Нина Садур. Красный парадиз (Пьеса в I акте)	255
--	-----

АМАЗОНКИ – ТЕ ЖЕ МУЖЧИНЫ, ТОЛЬКО БОЛЕЕ МУЖЕСТВЕННЫЕ

Елена Тарасова. Ты хорошо научился есть, Адам	277
Марина Палей. День тополиного пуха	302

ЧЕМ БЫ АМАЗОНКА НИ ТЕШИЛАСЬ...

Светлана Василенко. Дурацкие рассказы	311
---	-----

ПЕРЕВОД С АМАЗОНСКОГО

Ирина Гривнина. Амстердам	325
Прага. Карлов Мост	326
Людмила Штерн. День Утюга	328

РЕДКАЯ АМАЗОНКА ДОЛЕТИТ ДО СЕРЕДИНЫ АМАЗОНКИ

Зоя Богуславская. Американки	345
--	-----

МИРУ – МИФ

Татьяна Морозова. Храбрый-храбрый Воцензук, или История о том, почему сиреневые кролики всегда ложатся спать ровно в 9 часов вечера	355
---	-----





Новые амазонки

Составитель

*Светлана Владимировна
ВАСИЛЕНКО*

Заведующая редакцией
Н. Буденная

Редактор
Н. Рыльникова

Художник
Т. Морозова

Художественный редактор
И. Лопатина

Технические редакторы
Г. Бессонова, Н. Калининцева

Корректор
Т. Семочкина

ИБ № 4767

Сдано в набор 05.07.90. Подписано к печати 22.07.91.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 2. Гарнитура
«Банниковская». Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,32.
Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 21,48. Тираж 30 000 экз.
Заказ 1401. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8. Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Крас-
нопролетарская, 16.

ХОББИ АМАЗОНКИ

